КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

1925

КНИГА
ТРЕТЬЯ
АПРЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



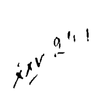
КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3

АПРЕЛЬ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

Гиз № 9495. Главлит № 34822. Напеч. 10.000 экз.

1-я Образцовая типография Госиздата. Москва, Пятницкая, 71.

Медвежатное.

Анна Караваева.

Тень от месяца, как белый тихий горбач в черной колдобине лога. Еще теплели чуть-чуть накаленные за день отрожистые камни. Зауралье кряжистое — ночи прохладны, повевают холодком. Днем камень бурый, медно-красный, иссиня-желтый, трава на нем зелеными плешками. Ночью отроги синевато-серы, а в логу черно. Береза на пригорочке засыпалась серебристой пылью. Филин ухнет — и опять тишина.

Сергей крепко обнимал упругое Натальино плечо.

— Куда торопишься, лапонька? Рано еще.

Наталья поправила мягкую косу.

— Уж рано, да-а! Ночь глыбкая! Пора, Сереженька. Мать хватится — воркоть заведет.

— Нет, нет! Поговорить еще надо.

Наталья сразу перестала торопиться. Губы раскрыла, словно одуванчик желтые дудки — пчелиному рту.

— И то, давай.

— Когда в Совет-то регистрироваться пойдем? Завтра? Давай завтра!

В черной тьме в логу не видно глаз. Зато рубаха залетала белыми холстами рукавов.

— Ой, штой ты, Сергунюшка... Где так-то деется? Надо споначалу сватов заслать!

Повело смехом Сергеевы плечи. Поцеловал в темный глаз.

— Свато-ов? Ну, ладно, для тебя уж.

Шли обнявшись по дорожному раскату. Камушки скатывались, кувыркались под ногами. Внизу — село. Избы спали. Тускнела синева бессветных запертых окон. Наталья прислушалась и покачала головой:

— У Марьки опять гульба.

— Кто это?

— Солдатка одна, заезжая. Мужа в ерманскую убили. Кабак у ей был. Все таючись живет, такая подлая, ведрами варит.

— Притянуть можно, — чего смотреть-то?

— Да-а, притяни. Сам сельской наш второй год с ей хороводится. То-то гладка, словно гусь в мешке.

Большая пятистенная изба стояла в стороне. Щели в ставнях выдавляли свет. Наталья подобралась к угловому окну, приставила глаз к щели.

— Вот, глянь-ка!

Сергей заглянул. В избе плясали.

— Видал? Вот сельской-то наш. Уж и тянет! Гляди, скоро она председательшей будет. Ехидна-а.

— Ну, буде, буде. До всего дойдем.

На белесо-синем небе плавали искринки звезд. Над куполом колокольни, плоским сверху, как тюбитейка, стоял полный, в бледной желтизне месяц.

— Ну, прощевай, касаточка.

Обняла его одной рукой, толкнула калитку, громыхнула щеколдой.

Кузьма обдергивал рубаху и косил глаз на прыгающее щекастое отражение в дрянном зеркальце. Отец посопел толстым носом над дымящимся блюдечком.

— Жени-их тож! Че те рожу-то язвит, а? Все утро в зеркалишко бельма пялит.

Кузьма недовольно фыркнул, обтянул рубахой вислый большой живот и затопотал по крыльцу, длинно скрипя ступеньками.

— Пошел опять таращиться, — не парень, чисто квашня!

И старик опять зараздувал нос над блюдцем.

Мать опрокинула вверх дном чашку.

— Штой-то не пьется. Диви бы вчера че пила-ела, все хлопотала, без девок живем.—Вздохнула, будто бы сбрасывала что с плеч. — Скоро отдыхать буду. Спросватали сынка, слава те господи. Горницу опять, гляди, побелить надоть, Сергунюшка — молодайка у нас будет обрядливая.

— Ага, — весело гакнул Сергей, летая щеткой по сапогу. — Старуха была нынче особенно ласкова со старшим сыном — любимец, да и жена будет под пару, хоть и тихая на разговоры. Тут все говорили про Сергея: „Ломоть резаный. На городских харчах вольготно-де отъедаться захотел“. А вышло напротив: приехал Сергей, хоть и шесть лет с лишком дома не бывал. Четыре — лямку красноармейскую тянул — теперь вчистую. Хорошо бумаги его называют: сознает-де все. А бумаг ворошек целый. Старуха втихомолку гордилась сыном и, боясь показать ласку, влажными глазами провожала Сергееву спину. А он сапогами топнул, цыгарку под русый ус — и на улицу.

На завалинке Натальиной избы кое-кто сидит. С краю она, Натальюшка, сарафан голубой. Рядом Глафира, смуглая черноволосая

жужелица, как есть цыганка. Еще сухощавее кажет в кофте и юбке по-городски. Федор, сын председателя, поставив ногу на заваленку, на колене гармонь растягивает. Кузьма рядом с Глафирой, обмякнув, пучит глаза на смуглый румянец ее щеки. Напротив всех — Сашка, лавочников сын, выводит что-то, блестя лаковыми сапогами.

Сашка увидел Сергея—и смолк. Поджал тонкие безусые губы.

— Спой-ко по-городскому-то. Песня ведь ихняя — ну! — блестела зубами задорливая Глафира.

Сашка — хвастунище. Тянет херувимские, задрав подбородок с жиденькой колючкой, жалостно́ тянет, а мужики с батюшкой не нахвалятся. Главное, не берет денег — искусник без корысти. Староста его после каждой обедни хвалит — надо же чем-то за пенье.

— Спой, што ль! — мотнул рыжими пасмами Федор.

Сашка помахал фуражкой:

— Д-да... я ведь... а впрочем, што ж...

И слегка в нос тенорком:

М-маруся а-а-тра-вилась,
В ба-а-ль-ницу иё па-виз-ли...

Сергей грыз подсолнухи. У Натальи в коленях была их целая кучка, каленых, рассыпчатых на зубах. Брал понемногу, чтобы чаще встречать горячие Натальины пальцы. Сашка кончил, погладил рукой картуз. Глафира глянула на Сергея:

— Ну, городской, какова песня?

Сергей, не глядя, отплюнулся шелушинкой:

— Скушная песня. При царе Горохе пелась. Теперь время другое, песни—тоже.

Кузьма подтолкнул локтем Глафиру и подмигнул нависшим веком с белесой ресницей:

— Он у нас а-а-бра-зо-ванный!

— Получше тебя, ясно дело! — и отвернула от него смуглый висок.

Сашка качался на носках:

— Ка-неш-на, где уж нам уж!

Поклонился низенько одной Наталье, больше никому:

— Прощевайте, Наталья Ивановна!

Ушел посвистывая и оттащил Федора с гармонью. Глафира бросила вслед:

— Ехидна губастая... Ух, и задача же был Сашка, когда при царе еще лавкой жили. Восемнадцатый ему шел, а спесью-то его разбирало! В лаптях в лавку не пустит: и-и, пошла, пошла, не для вас, рванья, пол вымыт... Теперь хвост-от пообрезан.

Раздувала ноздри, как лошадь на свежем лугу, и в губах ёрзала усмешка. Наталья укорила:

— А ты уж и рада!

— И рада, рада, ясно дело!

Сергей засмеялся:

— Молодчина, Глафира Памфиловна! Верно рассуждаешь, совсем по-нынешнему.

Она вспыхнула так, что закусила губу:

— Да уж... как понимам!

Кузьма фыркнул в кулак:

— Сашка-то... прежде все к Наталье... хы... Говорит: иди-де, да иди за меня.

Глафира мотнула головой:

— Сиди теперь, гагара-птица!

А Сергей с Натальей все встречались пальцами в разымчивой подсолнуховой кучке и шептали что-то одними губами. Глафира покосила на них черный глаз — и вдруг встала, обдернув полушалок. Кузьма за ней, неуклюже двинув ногами.

— Уж я с тобой — праздник. Гуляю, хе!

Глафира через плечо:

— По мне што? Иди.

Наталья проводила их глазами:

— Айда, встанем и мы.

— Эх, торопыга ты, Наташенька!

Она уже круглила испугом серые глаза.

— Ой, штой ты, парень! А люди-то... Зря с тобой еще в логу сидим. Увидят — срам.

Сергей смешливо взъерошил волосы:

— Ой, смешная ты, хорошая! Люди... да фу! Надо по себе все делать. Да и люди-то у вас затрухлявели, ей-богу!

Она, не слушая, отряхала уже голубой ситец.

— Нет уж, нет уж, нельзя.

Дошли до угла. Вдруг Наталья оттащила Сергея в сторону. Он не успел спросить — шатнулся тоже.

— Опять начнет! — жалостно крикнула Наталья, застыв на месте.

С крылечка напротив неслась женщина, простоволосая, разметывая по сторонам руки. Мелким, летящим каким-то шагом забегала по дороге. Рвала волосы... Кричала куда-то в небо... Дикий, истошный был вопль. За ней с протянутыми руками, прискакивая неверным бегом, — мужик в вышитой петухами рубахе.

— Закликала опять, — вздохнула Наталья.

Женщина упала на колени, буйными наклонами головы мела растрепанными волосами жаркую пыль. Взметнулась вверх... И начала высоким, захлебистым голосом:

— Ах... а-ах... птицы-ы... птицы-ы-ньки-и... Голс-у-у-шка-а нече-е-са-а-н-а-а...

Мужик забегал с разных сторон, кривил красноносое длинное лицо. Зачем-то обдергивал рубаху и топтался на месте.

— Паранечка... Паранечка... а? Отец — батюшко-о...

Подлетела вдруг Глафира.

Мужика цепко за плечо:

— Ш... ш... нос-клюква! Дай душеньке выплакаться!

Отворились окна все настежь. Бабьи, ребячьи голоса.

Перекликаются через дорогу:

— Ломa-ат!

— Гляди, биться ишо зачнет!

— Ага, а то как!

Мужики на горло скупее. Кто рядышком — те переговариваются.

— А ведь здорово иё трясучая-то.

— К-куд-ды, чисто приставленье!

А женщина уже кружилась на дороге, мотаясь в забвенном плясе. Каким-то высоко-икающим воем:

— О-о... Спа-а-се. Небо-я-я-се... Спасе... Спасе...

Ее волосы посерели от пыли. Улица глядела молча. Кликуша выла скороговоря—и вдруг, рухнув, тяжело подвернув ноги, забилась плечом в пыли. Мужик держался за виски и качался, как пьяный. Как плетью прорезал тишь гневный, резкий голос:

— Дурачье ковровое! Задарма вам гляделки пялить.

И Глафира бросила полушалок Кузьме. Сама, свесив черную косу, подхватила кликушу подмышки. Грозно метнула глазом на мужика:

— Бери, клюква! Твое добро-то!

Глафира согнула худощавый стан и, отмахиваясь от косы, понесла вместе с Петром.

„Молодец девка!“ — подумал Сергей. Подбежал, подхватил под другое плечо: — Давай помогу.

На него вкось метнулся горячий черный глаз на блестяшей желтизне яблока.

Изба у Петра была просторная, с крашеным полом. Вышли с Глафирой вместе. Она хотела что-то сказать, но Сергей быстро перешел через дорогу к Наталье. Она, теребя платок, досадливо отвела его пальцы. Хмурила ровную широковатую бровь над вспыхом круглой щеки.

— Уйди ты!.. За Глашкой на каку стать пошел?

— Н-ну, Наташенька! Родненька... жалко ведь, баба какая горькая!

У Натальи опять пояснели глаза. А Сергей тихонько ее за руку.

— Э-эх, знаешь ведь... Как приехал, увидал тебя... Ты с водой шла. Эк, думаю, неужто она? Помнишь, как у попа мы с тобой малину таскали? А?

Вдруг опять услыхал в ушах кликушечий вопль.

— Ой, страшно за эту бабу! Вчуже, хотя бы... Откуда она здесь?

— В ерманскую приехали. Дальние они, от немца бежали. Палагея-то тогда была крепчущая, чисто свекла, а на голос звонка-а.

А Петр и тогда такой же тощой был, а ревнучий — куды тебе. Че изладилось промеж их, не знаем. А только почал он ее бить. Долго он ее так таскал, а она — выть. А как-то на Пасхе ее забило. Да вот три года и бьет, кличет.

— Эх, черти! Да неужто ж ему, подлецу, никто рук не укоротит, а?

Наталья пошевелила русыми бровями.

— На каку стать? Кто в чужую избу зайдет учить? Бьет — за дело, провинилась!

У Натальиной калитки расстались.

В амбарушке было прохладно и пахло солодом. Сергей чинил сбрую. До страды надо все приготовить. Шило сначала скользило, выскакивало из рук, потом пошло. Сергей разгладил складки, выбоинки на коже и крепкими зубами тянул дратву.

Сквозь мелколистье берез сверху, с зеленоватой голубизны — солнце. Листья весь край двора разубрали живыми пятнами. Возле крылечка клевались куры.

— Благодать.

Стукнула с разлету калитка. Руки в карманы, босоногий шел Федор, крепко прижимая к земле широкие ступни. Рыжий, лобастый, он заулыбался Сергею голубыми глазами.

— Слышь, Серега, брусок у тебя есть?

— Айда, найду.

Федор взял брусок и вертел его в руках. Разнес улыбку широко по лицу.

— Жарынь божья. Что-то ленишша. Хы, больно тебя вчера Сашка ругал. Озорной он, а обидчив — куда. Кузьма ваш тоже тебя знатно ругнул: такой, сякой, немазаный...

Сергей переметнул хомут:

— А ну их! Нашему брату к ругани не привыкать.

— Ух, ерепенился вчера Кузьма, а Сашка поддакивал: большевик проклятущий.

Присел на ларь, подергал пасмы над лобастым лицом и впился глазами в Сергея:

— Я с тобой говорнуть хотел... Ты, верно, в большевицкую сторону?..

Сергей улыбнулся:

— Давненько уж, с германской войны. Да ты чему удивился-то? Ведь отец-то у тебя тоже партийный?

Федор завихрастил копну на голове:

— Оно да, партийный... Да разность кака? Мы сиволапые, он сиволапый. Мы деремся, он дерется... Мужики с тятькой уважительны; а Сашкина мать в праздник — его на пирог. А тебя ругали вчера — у-ух!

— Удивительно все ж, как это отец у тебя председательствует?

Федор поиграл брусом.

— Да, мил человек, знаешь ведь: сторонка наша — четыреста верст чугунка ходит. Дорожки наши — лесищи, болотищи, недаром Медвежатное... В город когда поедешь? Далища ведь. Говорят вот, белые были, Толчак и все такое...

Сергей усмехнулся, давя иглой в кожу:

— А у вас?

— И-и... у нас тихота такая: работали, пили-ели, чо больше. Хронтов этих самых не слыхивали. — И опять впился глазами: — Ты, поди, по-другому жил?

С Федором уже несколько раз говорили о том, о сем. Сергей рассказывая много, как он был ротным политруком. Рассказывал и видел опять свое, чем прожил столько лет: длинный книжный шкаф у стены, некрашеный прилавок перед ним, пестрота плакатов, красное полотнище знамени с золотыми кистями в углу, столы, лавки, а возле двери широкий стол — на нем гора касок со звездами, ребята набросают, приходя в свой клуб-читальню.

Сергей загорался, говорил иногда сбивчиво, отходя в сторону, но для Федора дело было вовсе не в этом.

— Вот она загвоздка-а! Это не нам чета-а! Другим пахнет, д-да!

В особенно неожиданных местах Сергеевых рассказов звонко трескал себя по коленке:

— Ах, ты, язви вас в душу.

Открыв рот, слушал про окопы за Невской заставой, про Юденича, Кронштадт, про англичан... Еще про то, как в 19-ом году Сергей с длинными мандатами ходил по буржуям, чтобы отбирать у них лавки и дома для Республики.

Федор сидел и все лобастой головой набалтывал.

— Так, значит. Вот как есть, как я прошлый год в заморозки в город ездил. Видел, как с флагами народищу шло, песни пели — гул такой стоял. Я чисто одурел — не видывал этакого. Вот и ты рассказываешь: ух, мудрено это, паря. Городским, не нам, грязноносым!

И жалостливо схлопал руками о бока:

— На кой ты чорт сюда-то прикатил?

Сергей, посмеиваясь:

— Сам говоришь: сиволапые, Медвежатное — далища, глушь... А надо в ногу, как в песне. И Медвежатное, и Москва — вместе, рядышком. Я в ногу попривык ходить — буду медвежатников подучивать.

— Чо делать-то будешь?

Сергей, вспыхнув, подмигнул весело:

— Эх, да мало ли? Народный дом устроим, читальню, неграмотных выучим газеты читать... что там, охота была бы! Буду товарищей набирать.

Федор засиял исподлобья, руку падает:

— Я! По грамоте кумекаю, остальное узнаю.

Сергей подбадривался:

— Дай страду кончить, в дело пойдем.

Мать сухонькая, темнолицая, как ядреный спекшийся в ровной жаре грибок, суетилась по избе, месила пудовую квашню.

— Ярмонка, слава те господи. Видно, к хорошему поворачивать будем... Уж не чаяла...

У самой под руками пищало и хлопалось о края тугое тесто. Выгнала всех из избы:

— Провальте — разоставиться негде!

Сергей вышел за ворота. На улице тихо. В обе стороны избы. Будто все одинаковы: окошки со ставенками, два, три, а то больше. Выпячиваются вперед, как ворчливая губа, заваленки. Ворота со скатом. За крышами позади березы, ивы, кое-где, в огородах. В конце улицы ребята кувыркаются. Из многих труб дым — к ярмарке все стряпню навели. От домов зубастая тень падает на дорогу — спадает припек. Одна улица наперекрест вверх — к горе. Там тоже дым. Натальюшкин дом за тенью — нет ли дыма из ее трубы?

На нагорную улицу сбегал лес. Тут он зеленый, а кругом синий, в серых туманах над макушками... Леса... леса... Все сосна, ель, пихта. Нагорья, как каменное кольцо вокруг. Тишина и глушь. В берлогах, в лесах привольно еще плодятся медведи. А кругом — тишина.

Где-то недалеко вспорхнул бабий голос, высокий, повизгивая жалобился:

Су-у-дарыня свекро-о-овушка,
Бого-да-нная моя ма-а-тушка...
Я ль тебе не покорлива...

Взял топор и стал подколачивать доску у банной двери. Поскрипывало дерево, упал топор. Бабы больше не было слышно.

Утром до зари поехали смотреть всходы. Было прохладно, не пылила дорога. Стучали колеса, и тело подбрасывало на досках.

Отец шутил над Кузьмой:

— Ишь, сидень! Нос до брюха виснет... Хрестьянин по названью... Глянь, Серега...

Кричал старшему сыну, разевая широко полубеззубый рот:

— Уж я рад был, што в городу ты растяпой не стал, ей-бо... А мы со старухой кумекали: заживется в городу Серега, куда ему к медвежникам, к нам, ехать...

Сергей смеялся:

— Вот, вот... Глуше, дальше — потому и охота тропинку проминать.

Буланый махал хвостом. Сзади начало припекать робко низкое солнце. Отец, трясясь худыми, острокостыми плечами, выкрикивал под колесный стук:

— Ты т-так... А вот учитель к нам приехал в позапрошлом году... Школа-то у нас сгорела, спалили пьяным делом в Петровки... Где, грит, школа у вас? А придсядатель и смекнул: псарня у нас коль времени, не один десяток, пустая стоит. Так и так-де, господин-товарищ, — это учителю-то обсказывает. Тот плечи вот эндак — ну, да што ж? Пошли. Нюхнул — да ка-ак въярится: А-а, я вам скот, ведь тут дух песий, вонь и все такое. Свернулся — и укатил, побрезговал. А мы чо—с простой души, можно сказать!

Посмотрели всходы, густые, ровные, как крепкий, здоровый волос на голове. Едучи встретили Глафиру. Стояла на коленях у передка телеги — и неслась. Обожгла углевыми глазами, сверкнула зубами, вспыхнула румянцем до смуглой шеи:

— На всходы ездили?

Уж нет ее. Подняла столб пыли. Отец чихнул и одобрил:

— За мужика действует.—Помолчал и добавил: — Вот сношенька будет у нас — голубь.

А Сергей засмеялся, потому что к сердцу прихлынула кровь.

Дома мать уже подкалывала платок.

— Ин, ладно. Во-время приехали.

Гукнул колокол.

— Иктинья началась, пойду.

Отец с Кузьмой переменили рубахи. Подпоясались. Отец помял кусок серой, как куделя, бороды.

— Ты чо, Серега, зарекся в храм ходить?

Сергей, отфыркиваясь от воды:

— Я туда не хожу.

Отец сплюнул сквозь зубы и застучал сапогами в сенях. А Кузьма, колыхая обтянутым рубахой животом, остановился в дверях.

— А с Наташкой-то как венчаться? Она без попа ни на порог к тебе... не то што... в постелю... Хо... Хо!..

Сергей отмахнулся:

— Засохни!

Запер дверь и стал разбираться в сундучке. Складывал книжки стопочками, всего понемножку, сто с лишним, больших книжек нет. Курил и, помахивая руками, гологрудый, босой, с мокрыми после рукомойника волосами, ходил и думал. За окном бубнили колокола.

Возле коновязи Сергей встретил Наталью. Она шла простоволосая, держась за концы платка на шее. Улыбнулась, потупясь:

— Я с мамонькой.

Позади мать ее, круглая, приземистая, как обабок. Замахала на них короткими руками:

— Ладно. Подите буди. Мне не угнаться.

Сергей тихо дотронулся до ее руки:

— Что покупать будешь?

Она глянула засиявшими глазами:

— Да уж куплю!

Хотелось ее косу, гибкую, ровную, положить на руки живым жгутом. Но она хмурилась:

— Ну, не гляди! Люди на-округ! Совестно...

„Голубь" — подумал Сергей.

— Наталь Иванна, к нам пожалте!

Сашка в голубой рубахе улыбался, высоко поднимал фуражку над прыщеватым лбом. Наталья всплеснула руками:

— Ишь, ку́пец!

Смешливо сложила губы:

— Покажьте-ко товары-то!

Сашка тряс лентами, цыркал пальцем о гребешки (до того крепки!), гремел пуговицами и бусами. Ноздри раздул, сам пот на носу — платочком.

— Буски на шейку...

— Да уж куда?

— Может мыльце духовое?.. Сделайте почин... Што ж скупы, Наталь Иванна, ведь дело невестино.

Наталья засовестилась, выбрала ленту. А Сашка выкинул другую, алую. Улыбается криво и язвительно:

— Вот-с, от сердца. Как вы жена комиссара будете...

леру вам... В городе-то где ни плюнь, там комиссар.

Отошли.

— Злой парень, — сказал Сергей.

Возле коновязи целая толпа цыган, — их в здешних местах много. Нагнали лошадей, обхаживают их, зубоскалят, хлопая курчавыми шапками о сборчатые синие и черные штаны. В золотую жарынь их черные жирные волосы блестят, как свежий деготь.

Тут повстречали Федора. Вместе с отцом он смотрел зубы лошади и отчаянно спорил с цыганом. Цыган ломил шапку на бок и вертел черным глазом по сине-белому яблоку, а сам старался перекричать всех:

— Ты нэ гавари, хазаин, нэт. Сторона глуха — вэрна, у тэбэ денег нэт, у мене тож... А конь у меня — умрешь, коли дэнь поездишь, заносит...

Председатель давно глядел на Марьку. Она виляла боками, распускала губы, щурила глаза, заигрывала — цыган был хоть черномазый, а красивый.

Председатель вдруг жмякнул Марьку как рыхлое тесто об стол, повалил ее на землю, дал два хороших тумака, потом отбросил погрозив:

— Ишь, кобыла!

Прошла кучка деревенских. Погоготала, глядя, как злобно плюется Марька.

— Залезла хвостом в сметану!

— Игрунья больно!

— Туда и дорога!

— Жиру поспадет — этак раз-другой!

Сергей отвел председателя за рукав:

— Ты что же это драться выдумал?

Тот вздернул в гримасу потное, красное лицо:

— Экой ты парень... Мы по-свойски жить любим... А ты чо тычешша?

Федор подтолкнул Сергея:

— Глянь: тесто с кочергой!.. Кузька да Глафира идут.

Утаптывая пыль, находя нога на ногу, брел, отдуваясь, Кузьма. Глафира сбросила на руку красный платок — и беглым шагом к ним, сама кричит:

— Много ли напокупались?

Глаза спрятала, опустила веки:

— Как ярмонка деревенская глянется, Сергей Васильич?

У Натальи на щеках стух румянец. Сергей ответил сухо, будто нехотя:

— Ничего.

Взялись за руки и отошли. А Сергей еще чувствовал на спине взгляд Глафиры.

„Экая девка глазастая!“

Наталья уж тащила назад домой: „больно девки глядят!“. Хотели уж итти.

Вдруг... как черные пятна закружились в золотой теплыни. Крик высокий, изнемогающе-блаженный, взлетел и закачался... Понесся над пестрой мелкотой сутолоки, падая и поднимаясь, как мотающийся лёт птицы с надломленным крылом.

У Сергея ёкнуло сердце.

— Опять Палагея эта! Сидите вы по избам и не видите, как человека загубили.

Наталья вздыхала:

— Доля наша!

Одну сторону улицы задернуло сизой тенью. На другой верхние звенья окон горели, как плавь на огне. Крался по стенам прозрачный желтый свет — уходила дневная теплынь.

Встретились с Натальей в логу.

— Ненадолго я, Сергунюшка... Ох, у нас-то все пьяным-пьяно. Ярмарошники, поди, опять зелья достали у Марьки.

— Погоди, осенью начнем от самогона да попов народ оттаскивать.

Наталья усмешливо, как с ребенком:

— Да один-то ты чо натворишь? Люди чать на десяти перстах ходят, а не на одном.

— Пустя-ки! В бока-то можно и одним подтыкать, ничего.

Когда вышли из лога, в селе было уже шумно, галдёж, вперемежку: тараракали гармони, перекликался разноголосый хор песен. Перед избами, выбивая пыль, топтались пьяные. С посвистом, гиком, уханьем, турхая гармоньями, разгуливали по селу парни. Ловили на ходу девок. Те визжали, отбивались тумаками. Из окон в теплую темень неслись, ныряя разухабисто из пересмякших глоток, воющие, тоскою взметанные песни.

Вызвездило, когда Федор подбежал к Сергею. Тот курил за воротами. Федора чуть покачивало. Темный, обдавая легким запахом перегара, он наклонился к Сергею:

— Будь друг, айда тятьку от Марьки вытащим — там едва ль не до поножовщины дойдет!

У Марьки, верно, было кутерьма: еще не доходя до избы, услыхали топот, визг и ругань. Дверь в сени была открыта. Под потолком густой и едкий махорочный дым. На столе залито, накрошено, набросано объедков. Два ведра на столе — самогон.

Председателя держали несколько мужиков. Пыхтя, он разевал мохнатый, взъерошенный рот... Его не было слышно: перегнувшись через стол истошно и грозно орали два мужика.

Посреди комнаты, зыкая на мужиков, стояла Марька и яростно переругивалась с двумя бабами. Пьяная, в распластанной рубахе, она трясла головой и визжала в быстрой скороговорке:

— Мурло-о! Я у тя мужика споила-а? Я-а? С-сука-а!

Бабы с перекошенными от крика ртами сцепляли голос с голосом, задевая Марьку дрожью кулаков:

— Бессты-ы-ж-ж-ая-я! Ы-ы!..

— Всех, хто толкнет, себе под бок... Ы-ы, п-подлая.

Председатель вырвался и схватил Марьку за косу:

— А-а, с-с-а-бака, я-яззва, с к-кем? А?

Марька закобенилась:

— Я те жана?.. Ну-кось, вдарь, ну! Попробуй! На пор-рог не встанешь... У, мотай сопли на кулак один... чо взял?

Председатель выпустил косу — и весь обмяк, стух... Тут его Сергей с Федором под руки и — к двери. На пороге он еще остановился и в пьяном возмущении колотил себя в грудь:

— Да к-как т-ты, п-подлая... а? Я — все село можно-о ска-зать... Я кумунист, ер ка пе!

Бабы галдели и тащили кого-то из-за стола.

Председатель вис на руках, икал, отплевывался и косноязычил пьяным языком:

— Все-е село — я... Д-да к-как она смеет. З-за кого кров-вушку л-лили? А?

Федор покрикивал:

— Н-но, шагай, тять, шагай!

Утром бабы, которые трезвые, пока мужики с мутью в глазах опохмелялись, жалобились у колодца, считали синяки, ушибы, расквасы в кровь от вчерашней гулянки. Рады были за Марьку: бабы таки ее потрепали.

— Нос-от ей к уху бы надо...

— То-то была бы краля.

За Марьку все были рады.

Такая же ровная жара стояла и сегодня. Вольготно просыхала земля после майских дождей, запекаясь темной корой.

Сергей строгал доски. Из-под рубанка вырывалась юркая, желтая стружка, пухлой горой завитков ложась на землю. Вышла мать, понесла пойло свинье. Напоила и села на бревнышко — посыпать проса курам. Сама раззевалась, кося к уху обмякшие без передних зубов губы:

— У-ох! Замаял старик. Выпил и мутит его, все в амбарушке лежит; рот разинет и охат, я его квасом — ки-ислый, словно уксус. Всю ночь протуркалась с им... Тут ишо Кузьма — его тож дурманит... язви в пятку! Ох, восподи-и... мальчонком был вздутой такой, трухлявой, думала — не жилец будет... А он на-кося: напился вчера, Глашку игде-то пымал, а она его так отшахнула-а... То-то, поди, в три перевёрта от иё летел — девка нравная...

Сергей переменил доску:

— С чего это он у нас такой?

Старуха отшугнула кур. Вздохом подняла иссохшую грудь:

— Доля наша, сынок... Отец-от твой гульнуть любил. Уж жись така была. В младости-то он у графьев в медвежатниках служил. Тебе где это помнить? Н-ну... воля этта уж да-авно вышла, а село наше все как бы бариновым себя считало. Сеяли мы мало, на кой прок? Все село чистехочко у графьев в медвежатниках. Потом укатили они, когда еще войны с японцем не было... В те поры графья охоту ба-альшущую держали, все на медвежье... Его и посейчас на полтора али десяток сколь хошь... Што народичку бывалыча наедет! Закусок, еды этта всякой воз навалят — и гужом все в лес к берлогам. Ух, ты батюшки мои! Гику-то, шуму-то, как едут назад... А медвежатники в шапках медвежьих, а верхушка-то суконная, зеленая, — едут этта наши мужики и парни округ подвод, а на них тушищи косматые. Все село сбежится — потеха! А ишо уморушка, как медвежатникам на двор графской водки бочоночек выкатят... То-то пили,

восподи милосердный! Утром начнут, к вечеру кончат... Все под шумок к стакашкам привалятся... Водка завсегда была даровая, милай.

Журчала стружка. Припекала старушечью спину суховедрая теплынь.

— Д-да... Как раз тогда графья последнюю охоту делали. Хо-ро-шо с мужиками прощались, за медвежатину важно угощали. Сам граф старый на шастерке приехал, хороводы велел скликать, девок дарил... Было тут кутерьмы, восподи твоя воля... Я в те поры с Кузькой ходила. Пришел твой тятька домой до-толь налился — меня за медведиху принял, гонялся с рогатиной острой, измял всю, глаза, што плошки... еле вырвалась... Вот и сладилось со мной... я хиреть, хиреть... А Кузька вот этакой простокишный и уродился... Вот каки дела, сынок! Буйные наши места, глушина... Силу некуда мужичью девать...

Сергей сказал сумрачно, развивая стружку:

— Да уж это, конечно, ясно видно: все вы, как Кузька — запростокишели... Свежего ветра нет... Эх! Людей новых — во!

— Дите ты на возрасте, не забижайся, Сереженька! Хто, нераскаянная душа, сюды поедет?

— Да вот я же приехал?.. Не зря тянуло... Сюда книга нужна, знание, картины — и все такое.

Мать стряхнула с фартука остатки семян:

— Оно чо, для робят всяки показки занятно...

Заползали тени. Густо-золотое переливалось между листьями деревьев. Подергивалось тенью голубое облако над колокольней. И видно было, как горбатый звонарь перебирает веревки; в тишине предвечерней над опохмеленным селом робко перекликнулись мелкорослые колокола.

Поп важный, посвистывая носом-дулей и раздувая полы вишневой рясы, уже прошел в церковь.

Закрестились бабы: „Всенóчная!“.

А мужики кое-кто, подставляя осовелую еще башку под нос рукомойника, потом причесавши редкозубым гребнем мокрую скобку, — шли по кирпичной дорожке к деревянной линялой церкви, — уж так и быть, постоять, што ль, грехи, все ж! А на клиросе седой псалом и несколько девчонок уже гундосили: „Свете тихий“.

Таяло солнце за синими пилами леса. Шли коровы, сытые, большемордые, встряхивали на ходу тугое розово-белое вымя и побрякивали колокольцами на мягких шеях. Пастушонок бежал возле и щелкал кнутом. Бабы за воротами топырили руки, чмокали губами из окон каждая своей корове:

— Тпрусеньки, тпрусеньки-и!

Вылезли понемногу из домов, еще не проводив из крови дурманный, хмельный гомон. Мужики, покряхтывая, щурились на закат. Вяло

бросались словами. Лениво затихали после пьяного устатка. Сидели на лужке возле колодца на бревнах. Сергей с Натальей ближе к краешку: можно незаметно широконькую горячую ладонь стиснуть, и пальцы девичьи ответят вздрогнув, шевельнутся тихонько в руке. Тихо хлюпала гармошка Федора: ты-ры, ты-ры.

Проголосили, брякнули последний раз колокола. Махая шапкой и что-то крича, шел к бревешкам Петр.

— Ишь, набукла клюква, задохся весь,—сощурилась Глафира.

Петр снял шапку, раздул ноздри и весь качнулся вперед.

— Дождались, православные, граждане... чудотворная едет. Батюшка седни за всенощной объявил... Скоро прибудет.

Крестился на тоненький крест колокольни и, весь суматошный, дергаясь пьяной краснотой носа, повторял:

— Чудотворная... Владычица сама... Слава тебе, сподобил еси нас...

Шмыгал носом, мигал мокрыми ресницами.

— Надежда наша, пречистая!

Кругом тихонько загуторили оживясь: ведь что чудотворная, что ярмарка—одно в конце концов: праздник. А Петр совался от одного к другому:

— Пред очеса пречистые... Паранечку... Паранечку бы. Да пошлет исцеленье!..

Глафира сказала с тихим смешком:

— Ты бы допреж о Паранечке эк-ту заботился! Глядишь, и богородицу бы не тревожить!

Глаза у Петра стали узкие, две щелочки:

— И-и-ш-ш... Жужелица змеючая... Язык-от у тя по тятьке-голышу...

Глафира руку в бок:

— Ты вот на деньгах сидел, да бабу от вольготной-то жизни в мякиш сырой превратил... То-то теперя тычешься: вла-а-дычица-а!

Петр взмахнул руками, выпучил глаза, фыркнул наотмашь, шумно высвистнув носом, и со свирепой жалостью поднял высоко голос:

— Люди-и! Правосла-авные!.. Слыхали? Мы-ста, умники... нам што?.. Владычице в очи плюнем! Хи-хи-и... Ах, ты щепица, змея черномазая... Отчего Глашку Памфилову никто не берет? Очень просто Этаку паскуду никто...

— Ну-ко-ся ты... одернись малость... Нельзя этак...—тряся реденькой сивой бороденкой и болезненно разводя брови на худом лбу, Памфил дернул Петра за рукав. Сквозь темные веснушки на Памфиловом лице проступил пятном румянец. Прижимая руки к груди, оглядывал всех пытливо и беспокойно кивал головой на нетерпеливо сопящего носом Петра.

— Злость-та откуда?.. Каки у тебя права девку мою порочить?.. А? Аль она гулящая какая? А?.. Есть которы и гулящи: пьют, гуляют, других спаивают, нет им уему ни от кого... Она, Глафира-то, по-чело-

веществу судит... Бабу ево тоись, православные, рази не жалко... Дюже горемышная баба!

Петр клюнул головой вперед, забрызгался слюной:

— Баба моя тебе не указ... Наше дело!.. А вот девка у тебя каки имет права, штоп на дело божье плевать... Этаки змеины души людей сомущают завсегда...

Топнула Глафира ногой о мураву, уперлась руками в бока и подступила к Петру:

— Ах т-ты, образи-ина-а... Сам-от ты больно хорошо все про себя знаешь! У-у! Гадюка-а!.. Тебе на людях важно правым быть, да про гнев боженькин разговаривать... А бог-от, видно, тебя боле терпит, чем нас... Ты бабу забил, а сам себе все по хозяйству обновки справляшь?.. А у нас лошадь валится совсем... А кого мы обидели? А?.. Ан нет, нету сил подняться.

Сергей согласно кивал горячей гневной речи Глафиры. Петр вдруг перехватил этот взгляд. Обвел глазами притихшую любопытствующую толпу на бревешках и, клюнув вперед красным носом, ткнул пальцем в сторону Сергея:

— Вона откудова храбра девка!.. Городской-ет вона как раскивался..

Приседая, качал длинным лицом, кобенился:

— Дескать, та-ак, девонька, та-ак...

Двумя пальцами оттягивал от шеи свой ворот, вышитый алыми цветами, и, гримасничая, лез на спор. Сергей встал, отряхнув рубаху, будто сбросить хотел с себя перекресты взглядов.

— Видно тебе охота всех задеть. Что ж? Мы — городские, не боимся, ежели кто высуня язык скачет...

Пронесся тихий смешок. Сергей сунул руки за пояс, чуть вспыхнув, и сощурился на Петра.

— Из-за чего ты рипаешься так? Ежели спорить охота, надо все спокойно.

— Ты пошто Глашке кивал?

— Верно говорит. Понимает толк, вижу.

Семен-лавочник, такой же длиннолицый, прыщавый, как и Сашка, только с низко свисающим большим животом, приподнялся на колене и потряс вверху короткопалой волосатой рукой:

— Был Сережка хороший этакой, почтительной мальчонко.. Теперь нако-ся... Всех умнее, будто над им и нет никого.

Сергей подбоченился, выставив вперед ногу. Тукнулась в сознание резкая мысль: „Эх, зря ляпнул, раззадорился, не так надо! Так вредно!“.

Но вдали тускнело небо — сине-золотое и еще яркое. Четко блестели взгляды — любит народ послушать, кто кого перетянет. Сбиваться было нельзя. Сергей чуть развел усмешливо брови:

— Вот обижаться за меня вздумал ты, дядя Семен. Никого надомной говоришь?

Развел руки и рассмеялся:

— Никого и нету! Нету! Законы республики — вот и все.

Лавочник встал и впился глазами в Сергея:

— А бога, значит, выкинули?.. В помойку, аль куда?

Сергей спокойно свернул цыгарку:

— А куда хочешь.

Дерзил, весело ломил фуражку набекрень, широкогрудый, смешливый. Зубоскалил и оттого легкую нагнал оторопь. Но тут вдруг всколыхнуло всех. Рванул, сковырнул парень что-то больное, упрямое, привычное, приросшее крепко к темному мясу души.

Засаднило, заело, точно каленым прутиком ткнули.

— Зря-я... Молод ты, башка играт...

— Чать, не задарма люди постом себя изводили...

— Пустынники всяки были, в гробах жили...

Прозвенела Глафира:

— Кому хлеб дали, хоть и лежали?

— Че, девка, больно заступашша?

— Все они городски-те этакие!

— Нашански хоть и кумунисты, а богобоязные...

— У нас один и есть... Председатель, а ни на кого не прет вышей людей не суется...

— Деревенски-те бога помнят!..

— Куды-ы! В городах все перевернули. Ребята, говорят, без волос и без ногтев родятся...

— А в главном городе — Москве — так и вовсе без глаз...

— Ага-а... А мне один старичок котомошной сказывал, как этта в Москве-то все мощи выволокли на площадь, да топорами, топорами...

— Х-хосподи-и...

— ...топорами, верь не верь... Плевали, поганили всяко, а потом сожгли...

Лавочник поднял вверх прыщавое лицо.

— Голод-то поволжский и пришел... Кара за это.

Сергей вдруг встал, махнул рукой, брызнул смехом:

— Шишиги вы, ей-богу! Взяться надо за вас во все лопатки...

Навстречу Петр выхрипнул:

— Порча ты... Благодать заслоняшь...

Руки в карманы, задорясь, вперевалочку отходя от бревен на дорогу, бросил ему на ходу Сергей:

— Ты бы жену-то в город, там лечебница есть. Электричеством эту болезнь лечат.

Петр выхаркнулся длинно и злобно:

— Ть-фу-у... Собака-а...

Мимо. Сергей отмахнулся:

— Шут с тобой!

Обошел сзади и тронул Наталью:

— Пойдем.

Наталья сидела на краешке. Встала, обдернула платье и молча пошла рядом.

— Ты што, Наташенька?

— Ништо. Так.

Наталья промолчала всю дорогу. Только перед домом, обняв его, шепнула:

— Ох, неладно ты это... Сергунюшка!

Будто сглотнула слезы. Щека была холодная.

За обедом старуха никому спокойно есть не дала. Беспокойно рассказывала про вчерашнее. По всему селу, где ни послушаешь, про Сергея судачат. Так и костят.

— И штой-то тебя, сынушка, разобрало?

Кузьма, вскидывая глаза над ложкой, хлюпал жирными губами:

— К-какой пророк нашелся!..

Отец супился и бубнил:

— Кто тебя под бок поттыкат?.. В ково ты этакой стал?.. Парень, как парень был...

Кузьма затрясся большещеким лицом:

— Он у нас... а-а-бра-зо-ванный!..

Вечером, в холодку, хорошо Наталью ждать. Шаги у ней тихие и быстрые. Ходит бесшумно, как рыхлая земля под плугом. На улыбки скупая, напоминала она Сергею родную северную землю, вот эту самую, которую не мог забыть ни на минуту, даже на пестром, нарядном южном солнцепеке, куда шли бить Врангеля.

Напоминала Наталья землю, где так рядок и радующ чернозем, где все улыбается неярко, уголком рта, чуть-чуть.

Торопливо шел к логу Сергей. Возле коновязи прошла встречь Глафира, сверкнула зубами и глазами цыганскими, бросила в лицо горячим дыханьем:

— Гуляшь, Сергей Васильич?

Подумалось с беспокойной досадой: „Эк, разулыбалась! Очень уж бойка, чернявая“. Стлались по траве длинные вздрагивающие руки вечерних теней.

Натальи не было.

„Может, запоздала. Подожду“.

Ходил от куста к кусту, нетерпеливо приминая молодую траву. Поднялся месяц и вставал уж над высокой пихтой. Наталья не пришла.

„Не придет“.

Екнуло, будто раскрылось и опять сомкнулось сердце: точно вот опять почувствовал возле лица холодную Натальину щеку. Чего тре-

вожилась, родненька? Чего бояться-то, кого? Не иначе, как мать виновата Натальина.

Вдруг с больной досадой:

— Толстобокая эта матерешка у Наташеньки. Улыбается, будто медом мажет, а сама чуть что — яд тебе в рожу!

И уже видел, как топорщится и ворчит, и машет короткими руками Натальина мать, как круглые ее щеки трясутся, — и даже дрогнул от прилива ненависти, внезапной, как ветряной налет под ясно-небесьем.

Побрел в гору, ведя рядом разболтавшуюся руками согбенную, невеселую тень.

Памфил сидел за воротами. Поманил парня:

— Чо, Серега, помалкиваешь? Вчера вон орлом каким глядел. Ты таперь уже боле на городского походишь, чем на деревенского, а уж раз опять сюды приехал, так от нашей каши не отказывайся.

— Разве отказываюсь?.. А оно, вона что выходит...

Памфил покашлял-покашлял в руку и худыми пальцами постукал по его колену.

— Я к примеру человек махонький, не везучий. Овдовел рано, а баба у меня была б-бой... Н-ну... по переделу обделили крепкие мужички... Не стал хорохориться... Здоровьишко поганое... На тебя вот поглядел, когда ты с девками на заваленке в праздник сидишь, думаю: ну, парень хорош, выровнялся, в зубы не попадись. Да-а... Думаю себе, нашим трясопузым даст при случае аза хорошего... Ведь чо у нас? Глушина, далища!.. В Совете председатель, ну, скажем, кто он? Пьяна рожа как есть начисто. В членáх кто? Семен-лавошник, да отец Натальи, твоей невесты... Тихой мужичок, рот по воскресеньям... — закашлялся и крепнущим голосом опять: — ... по воскресеньям рот открывает... Он, так, для мадели. А те двое все и хороводят... Чаю пьют сообча, у Марьки самогон дуют. И собченья всякие и приказы тоже рука об руку... Я в продналог лошаденку, свинью да половиков два тука продал, штоп налог отдать.

— Мило-ой... А... кхм... кхм... Кашель проклятущой... Беда-то у нас вот кака: мало нас гольтепы-то... Все боле мужик средневатой, ни тебе бедность, ни тебе достаток большой. А ежли он средневатой да ишо умеет лисьим хвостом ходить да с... толстомясыми в сполкоме ладить, ну, тогда ему и вовсе вольготно... А у нас, у кого ни кинь — ни с какой-то стороны не вывезешь... Волось не один десяток верст. Опять же радости мало. Залежится там наша гумажка, в волосте-то. Придсядатель там лавошников деверь, тоже ж-и-ла! Глядел я на тебя и думал: ну, этот себе на шею не даст сесть. Этот виды видал, по справедливости могет, ученой... Уж ты, Серега, как хошь, колом промеж их затешись...

Сергей наклонился к Памфилу:

— Это ты, слышь, Памфил, верно. Вот они дела-то. Надо между них встать и локтями их, локтями. Это работка хорошая.

Памфил сказал медленно:

— Одно ты, паря, подгадил. Круто с ими обошелся... Из-за иконы, из-за богов, одним словом... Мое дело — чо — книжку мало-мало в ребячьи года видел да все забыл. Только уж так жисть прихлестыват, што не задумашша, каки там боги... Не до того. Ну, а вот тут ты распетушился... Много пороху запалил. Задор, конешно, младость. Только они тебе это попомнят... Не выберут.

Сергей тряхнул головой:

— Ни черта. Я секретарем пролезу. Грамотный!

Слабый голос Памфила вдруг опять закреп и сказал почти торжественно:

— Это я те не от себя. Мужичонки... вот этакие лядащие мне препоручили с тобой говорнуть, ущупать...

На завтра, идя из кузницы с подкованным мерином, Сергей увидал Натальину мать. Старуха тащила на плечах самопрялку. Сергей перебежал дорогу и торопливо снял картуз:

— Здрасьте, Дарья Ниловна!

Старуха сморщила пухлый лобик и, не кивая, ответила сухо:

— Здрастуёшь.

Сергей засуетился и хотел-было снять самопряху с плеч старухи:

— Дайте, я помогу. Неудобно вам.

И даже удивился, каким любезным может быть — и „вы", и все так вежливо, как франт какой-нибудь. Но старуха поняла хитрость. С усмешечкой, отчего лицо стало ненавистным до желания плюнуть, сказала, отворотив плечо:

— Ничё. Сами донесем. Чать, еще живые.

„Та-ак!" — подумал Сергей. Но вечером все же вызвал Наталью. Ждал, колотилось сердце. Наталья выбежала. Опять глаза вниз. Слабо пожала ему руку:

— Ой, что не весела, Натальюшка?

Она подняла запавшие печалью глаза:

— Говорила тебе, вот и выходит. Ругается мамынька: долгоязыкий он, — это ты, — от бога отрекся... Што-де...

Запнулась.

— Ну?

— Што-де в церкву для тебя итти — нож вострый, лба не перекрестишь и другому не дашь... Што ты-де безбожник... Сереженька... И кто тебя за язык тянул? Господи?

— Да разве я не могу?..

— Не знаю, не знаю... А только рассерчала мамонька... Прощевай пока...

— Да что ты, Наташенька?

Упрямо глядела вниз, сорвалась с места и бросила испуганно на ходу:

— Как против своих-то?..

Убежала. Притворила пестрый подол калиткой — вот выдернула. Та-ак. Встала какая-то боль в груди, а в горле засаднило, точно едкая горечь угара. В тот вечер не работалось. Сидел на крылечке и курил взасос до того, что противно стало.

Натальи так и не видал; уже два дня просыпался тяжко, будто жамкалось сердце в старых, тихих, стертых жерновах.

Пробовал так:

— Эх, вы, девки! Все одинаковы, кошачья порода... Перелезай с вами из кулька в рогожку.

Но помнил, какая была ласковая, как ходили с ней в лог. И опять обмякало и ныло сердце. Но подпертая кольями изба Памфила и еще несколько других в овражной стороне, темные, с залатанными досками оконницами, с выбоинами иструхлявевшего дерева, — эти избы „гольтепы", по-памфиловскому, толкали сразу на нужную, важную заботу.

Сергей решил не откладывать решения и пошел под вечер к председателю. В избе в душной тишине над тарелкой непокрытых шанег зудели суетливо мухи, черные, большие, будто нарочно откормленные. Председатель лежал на широкой лавке. Возле него на полу бутылка с мутноватой самогонкой, наполовину початая.

Услыша шаги, прохрипел добродушно:

— А-а... Буян... А вот опохмеляюсь, да все не могу как следовает оправиться...

Сергей сел и сказал прямо:

— Я к тебе с просьбицей.

— Ну?

— Охота приработать как-нибудь.

— Деньжат захотел?

Сергей захитрил:

— Сам знаешь: то, се надо. На табачишко, девкам пряников купить... Мало ль какие расходы!..

— Да ведь мы мукой платим... И-их... Чпхи-и...

— Все равно-о. Продам муку на ярмарке в волости и деньги будут. Я к тебе в сельсовет секретарем проситься хочу. Я хорошо грамотный. Все в порядок приведу. Вам без секретаря трудно.

Председатель, борясь с сонной одурью, чесал затылок:

— Да Семен у нас когда дела ведет... Он по... грамоте... тоже... не плохо...

Но Сергей не отставал:

— Так ведь у Семена лавка! где ему?.. А знаешь, ныне декрет такой вышел, чтобы делопроизводство везде было упорядочено. По

нимаешь... упо-ря-доче-но... Можешь и насидеться где в теплом уголке под запором, если у тебя запущенность обнаружат.

Председатель кряхтел:

— Ух, неотвязной ты, Серега... Ну, как я могу без всех?..

— Ты-то? Председатель. Можешь! Мое дело техническое.

Пьяница вдруг что-то вспомнил и чмокнул синими губами:

— Ты этта... пошто нащёт чудотворной проехался?.. А?.. Всех взбаломутил...

— Н-ну-у... Уж ты-то не можешь таких замечаний делать. Уж тебе-то стыдно! Ведь коммунист ты.

— И-и, парень! Каки наши дела... Темные...

Безжизненно валился на подушку и махал потной рукой:

— Э-э... Я в солдатах ишо... на хронте... Ты потом... потом... зайди...

Сергей окунул его голову в квас, дал отпить из бутылки и подождал, пока тот, выпуча кровяжистые глаза, прочавкался, прокашлялся и стал отходить от нежданного леченья:

— Одначе... ты — оборотистый... Сразу... шло... Ух!

Сергей посмеивался.

— Вот и ладно, давай, не теряя времени, условие заключим. Вот тут бумажку я приготовил... Только вот число проставить.

И, растягивая слова, монотонно прочел:

„Я, председатель Медвежатниковского сельсовета, заключаю условие с будущим секретарем...“.

Сергей кончил.

— Ну, сколько пудов жалованья ставить?

— Ну, пятьдесят в год. Не могим больше.

— Ладно. И этим довольны. Подпишись, а то раздумаешь.

Председатель попыхтел над бумагой и заслюнявенным карандашом вывел фамилию.

Лавочник не один раз раздувал грозно ноздри длинного носа и не хотел допустить Сергея к закапанному чернилами столу „для писанья бумаг“. Кобенясь, перепирался, язвил ,и нарочно пялился в окно, всем показывая, что выпроваживает человека, что влез насильно. Сергей чуть не смазал ему бумажкой по носу:

— Меня председатель пригласил. Ты не суйся. У меня условие с подписью. Ты со мной... не шути-и! Я все по правилам.

Лавочник поперхнулся и хлопнул дверью.

А Сергей принял дела в сельсовете. Две засаленных пухлых книги. Больше смотреть было нечего, если не считать ящика, где была свалена „переписка“.

За околицей по тракту, лоснясь лицами, пыля ногами, чихая, обступая передними ногами, отмахиваясь от жирных мух, со свистом раздувая дыханьем потные щеки, шло Медвежатное навстречу иконе

между колосистых хлебных стен.—Стояли хлеба плотно, колос к колосу, высоко подняв тугие головы, чуть шевеля длинными усиками. Иззолоченные загаром дозревали хлеба для серпа.—Вправо и влево неподвижная, источающая жар, бело-голубая небесная пустошь. Далеко впереди, за толпой, блестели старой сусалью грязно-красные хоругви, и горела звездой верхушка креста. Стоячая сухая стояла жарынь. Скупо доносилось назад:

— „За-а-сту-у-пнице-е... мо-о-ли-и...".

Бежали струйки пота между ушей. Потный палец, утирая виски, размазывал пыль и пот — и на щеках горели тускло грязные пятна.— Крестились, толкаясь локтями. Жмурили усталые слипающиеся от солнца и пыли глаза.—Сопели, хрипели тяжко дышащие рты. Впереди трепалась грязно-красная ветошь, сияла стертая позолота деревянного креста. Гудящим басом начинал „батюшка", жидким подголоском дьякон, дребезжаще и истошно-высоко подтягивали старушье и бабы, бубнили в бороды мужики:

— „...Не-е-весто... не-е-не-ве-е-е...".

Вдруг толчок, и толпа раздалась, разомкнулась на две стены, заслонив толщей спин загорелые, тугие хлеба. Из-за косогора выплеснулся кусок зеленой и грязно-белой хоругви, ткнулся вверх кончик креста.

Вытянулись шеи и головы. Вздох:

— Иде-ет! Владычи-ца.

Икона вползла на косогор. Она казалась огромной, так что не видно было несущих ее рук.

„Батюшка" макнул крестом. Тужились потные лица, из пересохших ртов плыло в голубую теплынь:

„...ра-адуй-ся-я... бла-а-года-а-атная-я...

Икона сползала, чуть покачиваясь, как большое уродливое туловище на тонких кривых ногах.— Горела на солнце медно-золочеными кусками риз. Острозубый венец над пятном лица выставлялся вперед. Толпа позади иконы колыхнулась и встала. Огромная доска, откачнувшись пятнами и кусками медных риз, стояла уже на холстине. Толпа затихла. Метнулось вверх кадило. Потянуло в ноздри сладко-угарным запахом ладана. Попы, медвежатинский и пришлый, встали по обе стороны иконы. Дьякон, чадя ладаном, кривил рот выкликами молебна.

Вдруг... тонкий, как игла, крик... Толпа расступилась. В пыльный проход, как большой мягкий, тяжелый мешок, вывалилась Палагея... Подогнула ноги—и рухнула на колени. Толпа охнула. Петр без шапки, волосы торчком, как у беса, нос горит, лицо сине-багрово... Подталкивал Палагею, держа за плечи. Она уперлась одной ногой в землю, зацакала зубами и заныла:

— И... и... не п-пой-ду-у...

Свекровь, худая, с разбившимися волосами из-под платка, гнула костлявую спину:

— Сно-шень-ка, да ну же, сношенька.

Петр, подвигаясь с женой вперед, манил к себе рукой черное пятно под венцом:

— Вонми гласу моления моего!

Дышали со свистом груди.—Отливала жаром риз пятнистая наклонная доска на холстине, на пыли между хлебов. Палагея встала на холстину. Шатнулась и рухнула на колени.—Дьякон задымил кадилом.—Петр дернулся вперед:

— Молитесь, батюшки!

Отставая друг от друга, загудел бас, засипели, задребезжали другие голоса. Палагея, лохматая, в белой паневе, извалянной в пыли, выдохнула воздух раздутыми щеками. Поп подтолкнул ее в спину:

— Смотри на пречистую-то.

Палагея закрестилась, наматывая головой поклоны. В висках стучало от жары, мутило, кружило голову.

— Смотри, смотри, кайся!

Ладановый угар ел ноздри. Задохнулась, схлюпнула губами, закрестилась, боясь разжать руку. Вдруг разглядела в пятне головы зрачок, большой черный кружок... желтизну круглого глаза с редкими ресницами. Один ниже, другой глаз выше, лезет ко лбу.

Глаза мигнули близко-близко... и стали коровьими, слезящимися, как коровьи, круглые, выпученные глаза... Потемнело; дрогнула под ногами земля... Рука схватилась за что-то. Укололо пальцы... Падала на голову черная душная мгла...

— ...И-и-и...

Вывела дико и тонко... упала боком назад... Высокий прыгающий крик понесся вверх, в голубое... В углы губ набилась пена... Петр, качаясь, как пьяный, разжимал окровенелые стиснутые руки.

Охала боязливо толпа.

Пришлый поп перекрестился и, пыхтя, начал тихонько выправлять согнутый пальцами Палагеи венец над темным, как старое корье, пятном лица.—А медвежатинский крестом Палагею обмахнул, сам грозно скосил глаза в сторону.

Палагею оттащили.

Тыкаясь в затылки, обступая ноги, шли прикладываться. Клали в большие корзины возле расшитого ризного подола „батюшки" яйца, калачики, куски сала. Угарно пахнул ладан. Безоблачная, палящая стояла над хлебами жара.

Иконы заночевали. Медвежатинский батюшка с пришлым „иконным", как прозвали его бабы,—ходили по домам.—Позади ехала подвода. Дюжий певчий „иконного", плотный, кучерявый, как бараний курдюк, тихонько подхлестывал лошадь от избы к избе и глазел на девок.

— Мир дому сему,—басил медвежатинский, а иконный подхватывал:

— Владычицу-у прослав-авить!

Против Сергеевой избы певчий остановил-было лошадь, но медвежатинский зашептался с „иконным", и оба махнули певчему:

— Правь дальше, рядом.

Старуха выбежала на улицу:

— Батюшки, а к нам-то?

Медвежатинский поиграл пальцами и качнул камилавкой:

— Сынка твоего боюсь. Чего на грех итти? Веру он убивает в народе. Не дал бабе болящей исцелиться... гнев владычицы навел. Так уж не сердись.

Старуха горестно горбила спину. И не видели бы глаза горшечка с крупитчатым маслом и стопки шанег поджаристых и румяных, как девичья щека,—хотела владычице угодить.

Старик, почесываясь, вошел в избу. Рада была, что есть на ком сорвать обиду:

— Вот до чё дожили. Обходят нас все, словно дегтем рыла у нас мазаны.

Старик лениво хмыкнул:

— Этта Серега ево в бок ущипнул... Поп, што пирог, любит, штоб с им вольготно обходились... А Серега, чаю, парень крепкий... Кашу заварил, все село гуторит... он знай цыгарки вертит... Темен я, а скажу: не гнется парень, ядрён.

Старуха не вытерпела и вверх на сеновал к Сергею.— Бестолково, обиженно, все видя перед собой качанье камилавки и горшечек с маслом, бросалась скороговоркой, упрекала и шмыгала носом.

Сергей зевнул и пригладил волосы:

— Не угодишь на всех, мамонька!

— Аль из страны другой прикатил?

— Коли хочешь, вроде как и из другой.

Но тосковали у сына глаза.—Старуха мигом перестала и нагнулась над его измятым от лежанья, точно серым каким-то лицом.

— Сынушко, чо с Натальей-то у вас? А? Ссора вышла?

Сергей дернул плечом и отвел глаза.

— Сам не больше твоего знаю.

Вечером потянуло в лог. Не верилось, чтобы сразу, так по материному приказу, отошла совсем Наталья.—Разве мало было в глаза смотрено.

Но в логу никого не было.

Сжало, сдавило, будто тесную одежду надел.

На полянке перед Марькиным домом лихо оттоптывал кучерявый певчий. Марька вертела крутыми бедрами, стоя возле председателя. Вот-вот пустится в пляс... На лавочке возле ворот вытягивал гармошку Сашка и шаркал по земле лаковыми сапогами.

Сергей подумал: „Компания".

И обогнул поляну. Но председатель расхлябистым бегом пустился к нему и навалился на плечо:

— Сер-рега... ты не гнуш...шайсь... Р-раз-з-ми-лаш-шнай ты...

Сергей упирался. Марька выпятилась вперед высокой грудью и схватила Сергея под руку:

— Чо чванишша, мальченко городской?

И ткнулась в него тугой горячей грудью, а ухо обожгло шопотом:

— Пошто гнушашша, сладенькай — харошенькай?.. Приходи... Тебе рада...

И глаза сквозь пьяную дымку глянули тревожно и покорно.

На утро проснулся от гама под окном.— Спал в сенях. Оделся и глянул в окно. Галдела толпа баб, посреди Петр. Лицо его было перекошено. В углах впавших глаз стояло по слезе, стылой горошине. Он поднимал тощий кулак и раздирал рот срывающимся криком:

— Окаящий, он... убивец... идолище...

Старухи кудахтали:

— Не дал исцелиться... Веру убил...

Сергей уперся руками в окно:

— Чего тебе надо от меня, а?

Петр икнул, подскочил к окну, брызнул слюной, затряс кулаками:

— Чустуёшь, а?.. Чо ты и приехал сюды-ы?.. На погибель нам, а?.. Окаянный, окаянный... Слышь?

И вдруг завыл:

— У-умерла наша Паранечка-то на утре, на утре сёдни-и!.. Маялась, маялась и померла-а...

— Будет горла-то драть! Подь домой, жене гроб принесли...

Сзади на дороге стояла Глафира с ведрами. Упершись в бок рукой, злым черным глазом глядела на Петра. Петр размяк, распустился и вязкими шагами пошел к дому. Глафира, посветлев сразу, кивнула Сергею и закачалась тихонько под полными вёдрами.

Через день хоронили Палагею.—Мать пришла с поминок вся в слезах.

— Ох, и натворил ты, сынушко!

Кузьма захлебывался смехом:

— Натальина матка не поздоровкалась, а девку свою во-как от тебя приберегает...

Старуха, запыхавшись, начала рассказывать:

— Так,—грит,—мы все теперя разобьем,—это Натальина-то матка. А я ей:—али парень у нас не хозяин, пьянчужка какой?

— Не про нас,—бает,—парень ваш. С ним-де не в удаче жить, все бы с места ему сворошить, все-де языки об ево обчесали... Не гож,—грит,—суматошный...

А я уж напоследок: любы ведь они друг дружке...

— Ничё-де, сердце переменчиво...

Горестно вздыхала:

— Девку-то каку носом прошмыгали!

Подоспела страда. Выезжали до зари. Пока трясло на телеге и в лицо дул холодок, думал Сергей о своем, о Наталье, ласковой такой, с румяным ртом.

Упрекать себя было не за что, а то было бы легче. Но когда солнце нажигало затылок, а пальцы привычно пробирались в скользких стебелинках, чтобы обрезать их быстрым взмахом серпа,—тогда глаз видел перед собой только качающиеся усики колоса, желтую щетину срезанной полосы и приметывался, чтобы кучки были равны.

В полдень возле реки варили картошку. Крошили ее в теплую кислоту кваса и медленно жевали, обжигая десны.

Кузьма ел много, оттопыривая бледные синеватые щеки, и редкие волоски у подбородка шевелились.— С Сергеем он старался не разговаривать.— Отец был тоже молчалив, хотя сердца заметно не было, просто иззаботился тоже.

На отдыхе Сергей спускал ноги в воду, а то плавал, медленно загребая руками, и думал:

— Эх, да ладно ли приехал сюда?

Когда ехали с пашни, у околицы увидали двух баб: одна толстенькая, мать Натальина, другая — Сашкина, такая же долговязая и длиннолицая.—Натальина мать пухлый, как и у „той", рот подобрала в оборочку и на Сергеев поклон не ответила. — Сергей глаз покосил и увидел, как вслед ему обе смотрели, головами качали, судачили, уж это—как пить дать!

— Ну, и ладно!

И горькое спокойствие налетело холодком.

На полосе поймали как-то мужики.

Василий Шестаков, большеголовый и длиннорукий, как и все горбуны, говорил быстро, скорча руку щитом от солнца и смотря вверх на высокого Сергея.

— Мы, Серега, к тебе... Нащёт делянок. Ты ето обладь. Ноне с делянками запоздали... Ладно, у кого запашено... А у нас...

Нефед Суторихин пошевелил широкоскулым бородатым лицом и забасил:

— Мы на тебя, как на гору. Там им всякого добра нанесли...

Шестаков размахнул длинными руками:

— А у нас вот нету, нету, хоть выжми...

Подошла жена Нефеда, Марина, темнорусая, когда-то красивая, но уж давно неулыба. В пояс поклонилась, сказала ровно:

— Уж заступи. У тя и грамота, все порядки знаешь.

Нефед, стараясь умерять густой свой голос, уставил истресканный палец в сторону села:

— Помяни мое слово, нам за болотиной делянку отведут. Донись там отводили и ноне метят.

Шестаков ударил себя в грудь:

— А ежели боле мочи нет тамо горб гнуть.

Памфил мигнул бойкими, хотя и запавшими глазами:

— У них тамо планты были... При барах ишо составлены... Ха-арошие планты... Тамо кажный кустик, кажну ямку видать.

Подошло еще несколько мужиков с овражной стороны.

— Дело говорит Памфил!

— По плантам все ястенно видать!

— Они, гляди, по две делянки сухих себе заберут.

— Отступаться-то не надо нам! Ни-ни!

Сергей глядел на потные лица и беспокойно горящие глаза — и вдруг, дрогнув, точно прибаву силы почувствовал, сказал твердо:

— Не сомневайся, товарищи. Я грызться начну, а вы подтягивай, Напролом пойдем!

— Куд-ды! Нашего ору будет!

В субботу с раннего утра, еще до пашни, Сергей влез в окно, что нарочно оставил незапертым, и начал рыться в чулане. В ящике, где были свалены старые горелки от ламп, драные сапоги, щепье и вся дрянь, на дне ущупал плотную связку. Руки были по локоть густо-серы от застарелой, матерой пыли.

Веревка давно сгнила и лопнула сразу, едва задел пальцем. Сдул пыль, зачихался, вытер руки и развернул:

— Ага-а! Вот они, голубчики!

На пожелтелой бумаге в изломанном многоугольнике Медвежатное, а кругом, широко, разными зелеными перебежками — леса, поскотина, делянки.

На других листах только одни делянки. Искусная рука вывела юркими ужами тропки, и каждая делянка глядела живым смолистым зеленым лесным кругом, где каждое дерево взято на счет.

Сергей увязал драгоценные листы в платок и долго переносил их дома с места на место — куда бы спрятать.

Наконец, спрятал на сеновале.

На пашне мигнул Памфилу:

— Планы нашлись.

— Ой ли? Откопал-таки?

— Тебе говорю.

— Делянки-то когда будут пределять?

— В воскресенье.

Пережевывая мягкую краюху, Сергей, плещась загорелыми ногами в теплой воде речки, наставлял мужиков:

— Тут надо политику держать, товарищи.

Он за утро все обдумал, да и молодое самолюбие играло хмелем — старые мужики слушают, боясь слово зевнуть, — и потому знал дорогу делу и говорил уверенно:

— Всем вам надо заранее итти делянки просить... Ничего не смейте нести...

— У-у, как можно?

— Придите, просите, чтобы вам новые делянки дали, что старые никуда не годны. Да все гуртом идите, чтобы со свидетелями...

...Нажигало солнце затылок, с чутошным свистом ложилась гибкая пасма тугого, желтого колоса.

В воскресенье, еле колокол отбрякал, стали собираться медвежатинские на площадь. Ложились на сочную, густую траву, пыхали себе под нос вонючей, крепкой своедельной махрой — занимали заранее места поближе ко крыльцу. Столы вынесли на улицу. Сергей поставил свой столик возле кустика, куда сунул узелок с планами. Председатель и два члена медленно уселись за стол. Упершись тугими позвонками в шатучий стол, председатель начал, отдувая щеки, говорить о распределении делянок.

Семен-лавочник взял лист с фамилиями и, называя ее, тут же тыкал пальцем куда-то рядком, обозначая делянку.

— ...Ефиму Тюрину... э... делянка за козьей тропкой.

— Ивану Курочкину... э... э... на вшивой горке...

— Вадиму Перкачеву... на девишьей дорожке...

— Андрею Смягину... у... у лисьей сторожки...

Пока шло спокойно. Лавочник выкликал, тыкал пальцем в сторону. Сбоку иногда крякали не совсем довольно, или сзади вздыхали смеючись, а то просто молчали.

— Нефед Суторихин... Нефед... у... у дальнего лога...

Загремел бас увесистый и тяжелый:

— А-а... Н-на болотине. Вот они, дела-то...

Высокий надтреснутый голос Памфила крикнул звонко:

— Читай сподряд, игде гольтепа прописана!

Лавочник выгнул грудь в голубой рубахе:

— Ты... не распоряжайся! Как надо, так и читаю.

Бас Нефеда упал тяжело, каменно, за ним вперемежку другие голоса:

— Вы для миру... Чать, не для поглядки!

— Верно, читай сподряд!

— То-то все в одной кумпании окажемся.

— Кишка тонка, самогоном не накачана.

— Читай, брюхо в цепе! Читай.

Лавочник, кобенясь, смотрел на машущие руки, на грозные скоки бровей на потных загорелых лбах и язвительно корчил губы.

Вдруг ошалело хлопнул веками и цакнул зубами: лист вытянул Сергей и, чуть подымая усмешкой румяного рта, уже быстро перечитывал фамилии, а потом сделал округло и широко правой рукой и отрубил четко и громко:

— Всем этим гражданам отвели делянки за болотиной.

— А-а-а...

— Дьяволы-ы! Опять!

Лавочник шарахнулся за председателя от ряда вытянутых кулаков. Сергей вытянул руку:

— К порядку, товарищи. Соблюдайте правила собраний.

Повернулся к кусту, рванул с чего-то тряпку — и огромные светло-зеленые лесные дали вокруг Медвежатного заярились изумрудным кольцом, смолевой, родной деревенской живью. Будто с высоты, из окна большого видишь медвежатинские леса.

Никто не ожидал такого, — загудели, захлопали. А Сергей другой разворачивает:

— Тут все делянки по-одиночке.

И вдруг властно возвысил голос:

— Нигде так не делается, чтобы гражданам неимущим, многосемейным из года в год никудышные делянки давали.

— Пр-равильно!

— Слухай, ребята! Дело порет!

— Если есть что худое, надо сообща, в черед. Тогда не видишь, как сбудешь. Но вот штука-то в чем, товарищи! Наобум все деется у нас, все как есть наобум... У меня, товарищи, док-каза-тельства... Нечего делянки за болотиной в зубы людям силом совать... Мы распределяем неправильно. Глядите-ко...

Нервными пальцами отломил веточку и, водя по зеленым пятнам и изгибам, высчитывал, отмечал, спрашивал. Эти большие, сгибающиеся без морщин листы, эта ярко-зеленая выписка родных лесов, цифры и знакомые названия, покорили всех. И когда Сергей, обводя прутиком зеленое пятно, говорил, что „этаку делянищу“ трое могут взять, толпа поддакивала, посмеивалась.

— Всем хватит, товарищи. Неча на зверей походить: я, мол, сосенку, да березку буду на зиму готовить, а ты гнилушки, да хворост.

— Чать, мы понимам!

— Отчё не поделиться?

— Да леса-то вона-а.

К обеду делянки поделили так, чтобы заболотная сторона осталась не при чем.

Когда расходились, увидали, что никого за председателевым столе не осталось. Так никто и не видал, когда они все трое ушли.

Сергей увязывал планы. Памфил мелкими ласковыми ударами похлопывал его по плечу. Запавшие глаза светились — так солнце выглянет из-за рваных тучливых облаков.

— Ну, Серега, удружил ты, ох хорошо!

А Нефед защерканной и твердой, как кора, ладонью сжал руку Сергея.

— Таку тяготу ты с шеи снял!

Дома узнали про Сергееву победу скоро, хотя отец и рано ушел со сборни. Старуха поглядывала на сына, но молчала: запугана была за последнее время голова, маленькая, седая, с ломким, сухим волосом, завязанным в козурьку на затылке под черным, горошистым платком.

Устанный, но светлый был взгляд у сына, будто умыла его большая, взмытая пенно радость.

Но как только поднялся Сергей после обеда на пышные, свежие, еще недавно завялые и сохнущие прямо и остро наметы сена, как только увидел в окошко сеновала дразняще - голубой клок неба и песню где-то схватил чутким ухом, — вспомнилось уже в который раз, что один, без Натальи.

Прошел уже устаток дневного волненья, но сердце все токало. Вот однажды таким же вялым, сонным цветеньем пахла Наташенькина щека. Тогда спросил, не отрываясь от теплой кожи, в глаз голубеющий глядя: „откуда цветом таким?", а она — губы дрогнущие под его губы: „да на сеновале залежалась, о тебе задумавшись".

Давил голову горячими ладонями; вспоминалось все больше и память все сохранила, как скупой хозяин добро: каждый огонек глаз, каждую складочку на белом Наташином лбу, поцелуи тайные, торопливые у калитки на прощанье и долгие в логу.

Крепко щипал пальцами веки глаз, чтобы утомиться и заснуть, но в глазах звезды пошли: белые, зеленые, синь-малиновые вспыхи — и в них явственно — круглощекое, в румянце тихом, светлоглазое Натальино лицо, а длинные русые ее брови, как ласковый навес над спокойно-любопытным взглядом.

И не разумник, твердый, сельсекретарь перед лесными планами, сегодняшний предводитель „гольтепы" — бледный, закусывая губы, волосы лохматя скрюченными пальцами, взглядом завалясь куда-то вглубь, метался в скользком пахучем сене парень крепкий, здоровьем полный, как кадушка по края пенистым, в черных искрах медовым пивом. — Виснут и томятся руки без девичьих теплых встречных рук. Глаза мутит — надо отраженье свое видеть в горячем свечении зрачка.

Заснул все же тяжелым, смутьянным, неласковым сном. Курлюкал голубь под крышей, а по небу ярко-синему, как гладкий чисто вымытый, по небу вечереющему выбрякивали звонко, выбивали пляс — тили, тили, бом, бом, — глупые, крикливые, дискантовые колокола. От кур-

люканья голубиного, от тонкоголосного перелива медных языков и проснулся Сергей.

И сердце опять зажамкало в тяжелых жерновах упрямой тоски.

— На людях-то легче будет.

Приоделся, звезду на картузе поправил, распахнул калитку — как будто ничего с ним не было. Сами ноги понесли к логу: там, на сыреющую вечерней росой траву упасть, розовые звезды татарского мыла, цветка Наташенькиного, головой примять и пропади все из глаз.

— Сергей... Васильич!

Тихо кто-то, будто робея, окликнул.

Марька в окне. Трезвая, волосы блестят, зачесаны гладко за розовые уши. Шея мягкая и белая выступает из синих краев кофты, а грудь высоко стянуло тугой застежкой.

Глядела Марька покорно, а глаза были как умытые.

— Сижу одна... Така скукота берет!

А глаза, робкие и тихие, говорили: ну, что ж ты?

Сергей вдруг остановился. Токнуло сердце. Кровь ударила в голову, буйно разползся румянец по лицу, залил шею — будто плеснуло откуда пламенем.

„А чем я хуже? Чем она грешней?"

Язык же, заикаясь и обмякнув:

— Что ж... Пить охота... Зайти можно.

В избе затопал ногами и хотел казаться грубым и развязным:

— Ну, что ж?.. Давай уж выпьем... Лиха беда начало...

Но глаза уже встретились с Марькиными ласковыми, влажными глазами...

— Эх, ты какой сумной... А уж милей всех...

И, охнув, крепко прижала его к себе жаркая, без вина пьяная баба.

— Да уж... — неловко сказал тяжелый и липкий язык, а губы в жадной дрожи искали Марькину шею...

. . .

Звезды таяли и удалялись на тускло-зеленом небе. В окно, задернутое занавеской, хлынуло предрассветной острой прохладой. Пели по дворам петухи.

Марька не отпускала. Круглыми, гладкими руками, что пахли духовитым мылом, охватывала Сергея, тянулась к нему побледневшим умоляющим лицом, отдавала губы, полуоткрыв их, будто жаждой томилась, и шептала, задыхаясь:

— Ой, куды-ы... голубеночек... ой... не ходи, не ходи-и... родненькой... Перед солнышком ужо пойдешь... С радостью расстанесся, когда опять добудесся? Миленькой, не броса-ай...

Неузнаваема была Марька-самогонщица... С лица спала, засветлелась вся — и до жутко-сладкой боли походила чем-то на Наталью. Подумать было некогда — заливала мысль дурманная, шумная волна

ласк; не один раз выплакала Марька-самогонщица, обнимая его шею, вольную и пьяную свою жизнь.

Так и остался безвольно, усталый от сытости любовной и покорный от жалости к Марьке.

Заструилась по полу первая, узкая, трепетная полоса рассвета из-за косогорья. В последний раз рванулся Сергей, и Марька уж больше не припадала — знала, что сейчас уйдет.

Дернул Сергей щеколду — не поддается. Кто-то нажимал на нее снаружи. Тихое сопенье, возня — и вдруг хрюкающее фырканье. Щеколда сразу поддалась. Сергея шатнуло в сторону.

Калитка приоткрылась и — прыщавое, красное, напруженное сдержанным смехом лицо Сашки и нескольких парней дохнули навстречу сплошным, одним вонявым хиканьем будто выросшего на всех Сашкина гнилозубого рта:

— Ы-ых... Марькин ко-от!.. Ишь, вся башка в пуху...

Кого-то наотмашь, ушибя пальцы...

И дальше — нет до них дела.

Задохнулся от горького, сжигающего вихря, от толчка — обухом в сердце: случилось непоправимое. Ужалить кого первой виной — легче будет дыхнуть. Взбежал на крыльцо, распахнул двери, топнул, ничего не видя. Вскружило голову, как перед пропастью.

— С-сука-а! Это — ты все... подстроила-а!

Долетел, как издали, сквозь звон взбудораженной крови в ушах, истошный, высокий, больной вскрик, оборвавшийся визгом.

Стоило увидеть сквозь кусты метанье Натальиной косы, услышать ровный перещолк воды под бельем, увидеть ее склоненную над сверкающей плавным серебром рекой, увидеть, как волнуется ее грудь, стоило услышать, как она вздохнула — так точно столкнуло с тропинки...

Укололо босую ногу сломанной ветвью ельника. Прыгнул, упал на колени, вскочил:

— Наташенька!..

Она вдруг замахнулась выжатой тряпкой. Глаза загорелись суховраждебно. Верхняя губа поднялась над стиснутыми в спертом вздохе губами... Взвизгнула:

— Ой! Чо-о...

— Наташ...

Выронила в песок тряпку, сжала мокрые, зарозовелые от воды, кулаки, впилась глазами и топнула остервенело, не помня себя:

— Уйди-и... Паскуда... Пакостник... У-у...

— Осень ноне вёдро и вёдро. Обмолот будет спорый. По всем приметам. Можно спервоначалу свадебку сыграть...

Лавочник кашлянул в сторону Сергея. Его распирало от злорадства, что парня этого зубастого можно кольнуть поглубже.

— Прилежной ты человек, Жуков. За все бы схватился. Портит город парней наших. Вернется домой, ото всех в отличку, как белая ворона. И жадность така ко всему на свете. Ну, скажи, с чего ты с бумажками у нас тута возисся?

Сергей поднял схмуренный взгляд: в тенях, запавшей в глубь тоски, были глаза, но глянули дерзко:

— С чего? А делянки помнишь?

— Хи-хи-хи! П-политикан. Верно, куманек?

Но председатель соображал плохо. Вчера лихо погуляли у Марьки. В боку что-то булькало и хрипело, а в голове, гудущей, как удар кулака в пустом жбане, копошилась загвоздистая мысль:

„А с этим парнем... надо востро... Нос по ветру... Проведет и выведет... Посижу коли...“

Из-за Сергея более и зашел сюда сегодня в праздник храмовой, важный праздник. — Побаивался, не навертывает ли куда доносишко, песья душа. — Но когда увидал, что Сергей составляет подробные списки налогоплательщиков, то успокоился и думал о том, кабы —

„Собрать бы... бес с ими... квасом вот голову обмочу... Полегчает...“

А лавочник уж дул опять ноздри (рожа точь-в-точь Сашка) и гнусил:

— Седни вечерком сговор у нас. Сына женю на Наталье.

— Как?

Слово гулко, как отрубленное махом. Щеки у зубастого парня белы — чисто холст в июне. — Но опять тишина. Бьется о стекло муха.

— Та-ак, — сказал Сергей, зевнул, вытянулся и прибавил: — Пообедать, что ль, пойти?

Но был глух и вдруг осип.

Лавочник же, выходя вместе, хихикнул:

— То-то мы невестой довольны! Ха-а-рошая девица! Не то, што иные прочие — в жанихи себя прочат, а сами...

— Будет те задирать-то, — покосился председатель.

Даже тут, возле тыну у околицы, как раз напротив ярко-освещенного на горе Натальиного дома, и то было слышно, как топотали и визжали пьяным хохотом в избе. В желтых растворах окон метались в хохоте, размахивали руками черные фигуры. Натальи между ними не узнал.

— Стоишь?

Тихий голос, даже вздрогнул.

— Спугнула? Это я... Коровёшка в лесу запропала, так вот еле нашла.

Глафира... Лица не видно. Запыхалась — устала. Пошли рядом. Глафира тпрукала на корову.

— Выдают девку. Деньги-то што делают... За лоботряса, за озорника отдают.

Помолчала:

— Чо ты, чо я — одна сатана. За тебя девки не идут, меня женихи... обегают.

— Как то-есть?

Говорить-то не хотелось, но голос девки звенел неспокойно-смешливой дрожью. Видно, и ей не сладко.

— Как? За тебя Наталью вот не выдали за язык острой... за то же бракуют.

Засмеялась невесело.

— Шибко, — грят, — умна. Н-ну... а работать я могу, как лошадь. Может, вдовец какой польстится... Кривой какой, али калечный вовсе.

На повороте подала ему руку и задержала в своей, горячей и сухой.

— Изобьет, испохабит Сашка Наталью. Не будет ей удачи. Он ей тебя не простит ни в жизнь. Охальники наши мужики, сивушны носы...

— А ты почему не на пиру?

— Не звана. Знают, что к тебе... ну хороша, ну... уважаю... Кузька ваш со злости болтал.

Вдруг вскипела, руку сжала и отбросила:

— А любят тебя девки, Сергей Васильич!.. Кисла капуста рот дерет, а свеже яблочко на языке тает.

И вдруг кинулась в темноту переулка. Мычала корова, и безголосо тенькал колокольчик.

— Я тебе, парень, прямо скажу: непокойная жись у нас на деревне. Поди, в других така же морока. Крепки мужички думают: непа, мол, теперь, и я, мол, за непой, как за маткой теля, встану. Ты Семена возьми. Ишо два года пройдет, заделается он опять первым прижимщиком... На тебя вот глядя, понимаем, как по стóящему-то надо поступать... Нету людей-то, большая нехватка людей... Россия-то, бают, чуть не пол-мира отхватила... Тут людей надо — во!.. Ты вот к нам один единственный навернулся, дошлый человек... Мы и схватились. Напирам на тебя.

Сергей усмехнулся невесело. Истосковавшиеся глаза скользнули по худому остроносому лицу Памфила. — Узловатая рука легла на плечо:

— Эх, парень, не куксись...

Сергей рванул рубаху на крепкой груди.

— Э-эх... Памфил — дядя! Все не так обернулось. Дурак я — оно верно... Думал — приеду, книжки свои покажу, вся деревня сбежится, рты все разинут, меня будут слушать. Руки, Памфил, чесались: налажу, налажу, вот, работу. Все, как по маслу пойдет... А оно вон что вышло: поважней, первей книжек дела есть... А книжки...

Махнул рукой:

— ...в сундуке лежат.

Памфил кончил серьезно и строго:

— Очереди дожидаются... Городские вот уж, поди, разобрались, а в деревне клюются. Все равно, вот, как в старой подошве кожа: высохла, ветхая, намокла — вот и топорщится слой от слоя. Кто посильней, покрепче—тот одолевать хочет... А присмотреть некому. Нету людей. — Вот навернется один... ты, к примеру... и должен себе на горб взять.

— Я не отказываюсь... Горько только. Эх, скверно. Я, ведь, по всем привычкам мужик. Землю люблю, работу эту всю. На фабрику бы ни в жизнь не пошел. Конешно, деревня тож такой не останется, ну, да ведь и мы другие будем. Н-да... Думал, устраивается жизнь. Жену себе присмотрел...

— Не по себе только, то и пропадашь...

Глафира стояла, крепко сжав смуглые руки на груди. Оба не заметили, что она уже давно стояла, прислонясь к косяку двери. Голос ее звучал резко, брови сошлись над носом.

Памфил глянул на нее, сощурясь снизу вверх, со ступенек шатучего крылечка.

— Ты о чем это?..

Как всегда, волнуясь, дерзила:

— С чего? Жалко человека... вчуже! Извелся весь, похудел. Я ведь вижу. Как бы девка была настоящая, с карахтером... Цыц, Сергей Васильич, не таращь глаза, я не ругать хочу... У Натальи карахтера нет. Воск. Мять будут, она реветь будет в голос, а отпору не даст... Ей хоть ишо тошней Сашки кого приведи, пойдет с ним, потому боязлива...

— Я знал, знал. Надеялся, думал: вместе будем жить, другая будет.

И Сергей сжал руками голову, точно от себя охота была спрятаться... Вспомнил с болью, что завтра венчают Наталью с Сашкой.

Замолчал Памфил, слюнявя вертушку с махоркой. Сергей раскачивался в такт думам, и до того было горько, что будто все тело начинало болеть. А в двери, вверху, цепко схватив плечи тонкими пальцами, умеряя дыхание, с искаженным нежностью лицом, широко-раскрытыми, любовными, меркнущими от тоски глазами глядела на русый затылок Сергея гордая, дерзкая девка Глафира.

Словно разноголосые бубенцы под дугой — один безголосый, сиплый, другой — гремучий, третий — трезвон серебряный, четвертый — басовитый, глухой, — так шумливо, в гомоне, прошел день в Натальиной избе. И не поймешь, какой: грусть ли, веселье ли, а только от суматошливой суеты шла голова кругом. Только к вечеру угомонились.

А когда укатили жених с невестой в церковь, осталось только на столах расставить. Натальиной матери хотелось холстами похвастаться: белые, синие и красные, в разных камках, тканые за всю

жизнь. Весь угол передний ими разубрала. Темнели стертые иконы в углу молодых. Вверху, над головами, прикреплена иссохшая пасхальная верба — примета нужная, чтоб жизнь была веселая, как в пасху.

Круглую лепешку ржаную с блюдечное донышко, круто соленую, положила старуха к месту молодых: как приедут, ее первей всего должны съесть — тоже примета. Съедят непоморщившись — ладно будут жить, поперхнутся — не жди добра.

Сашкина мать,—длинноносая, худая,—ходила, выглядывала все, мотала головой, будто клевалась. Скрипела больногрудым голосом:

— Девки, хмель-от в кошенки положили?

— Запевало-то, тута?

Натальина мать присела на минуту, подперла щеку круглым кулачком. Вспомнила, как молодую ее „кремнем“ звали — крепка была, а замуж шла — было реву. Видно, не судьба Наталье. Сашка — тот, как люди, все по уставу. Нет уж, быть по сему.

Девчонка из певуний через сени пролетела, кувыркнулась на пороге, как кутенок:

— Едут!

Глянула старуха в окно: Натальина лица не отличишь от белого полушалка. Сашка лихо соскочил на землю, принял Наталью в свои руки. Старухи встали — лица каменные, бровью не двинут. Молодых встречай — важен будь. Свадьба важная — жизнь плавная.

Только молодые головы в горницу, — грянули девки, забрасывая хмелем. Урожай да любовь!

Сели за стол. Лепешку молодые съели, не дрогнув, не моргнув глазом. Вот ладно. Старухи были довольны. Дедовское все исполнили, еще песне надо внять, а потом ешь и пей, кто как хошь. Девки поперли груди руками, завыводили плакуче и тонко:

Бере-ерегла-а ме-ня матушка-а
До годочков шашнадцати-и...
Молодой купе-ец, бро-овь разбойная
У родимушки да подарками,
Да посулами, речью ла-а-ска-а-авай
Молоду меня к себе выманул.

Марька, навалясь грудью на стол, постукивала чашкой со свежей, еще не охолоделой самогонкой и кричала:

— Го-орько-о.

Сашка в Натальины губы. Председатель разинет рот, да рявкнет:

— Го-орь-ка-а.

Сашка опять. Губы тонкие вдавливает крепко, даже больно. Острыми коленками под скатертью жмет.

Высокий, смолявый дружко увязался в пляс за Марькой, хотел-было ухватить ее за манящее в пьяном плясе плечо, да председатель

сцепился с ним... Взлохматили друг дружке бороды, покатились на пол. Розняли.

Сваха, простоволосая, вылупляя налитые пьяной слезой глаза, причитала:

— Ми-лень-ки-и, не дыбачь-теся...а?

И совала отдувающимся драчунам по полной чашке. Визжали девки:

Сапожек с ножки сы-ми, сы-ми,
Молода жена волю чу-сту-ёт.

Все ошалели от жары, махры и вина. Качались и толкались за столом, где красная холстина промокла от разлитой самогонки, чаю, прожирела от лужиц с бараньих ног... Распоясанные, раздирая рты икотой, сидели гости... Чадила лампа.

Под иконами, где свекровь зажгла лампадку, Наталья, вытирая пот на лбу, ежилась и тяжким стыдом горела от вольной и грубой Сашкиной ласки.

Поп, сидя на почетном тоже месте, рядом с дружком и жениховой матерью, сначала крякал и поглаживал бороду толстой рукой растопырой. Потом вдруг грохнул тарелку с куском остывающего мяса мимо стола; тарелка чакнула, но никто не слыхал: широко раздирались ором, песнями и позевотой осипшие, сивушные рты.

Сваха, кружась на сбитых половиках, хлопала в ладоши:

— Песню, девки, песню-ю!

Девки взвыли разноголосым истошьем, надрывным визгом:

Про-ода-али красно-ой то-ва-ар,
Уж мы пропи-и-и-ли де-е-ви-и-цу...

Охнула, вся дрогнув, Наталья, когда муж крепким щипком завернул кожу на груди, расстегнул сарафан, царапал тело твердыми и острыми, как отточенные камни, ногтями и жирной, горькой слюной брызгался в лицо.

— У-ух... ты м-моя с-сладкая-я... Заведем с тобой... пот-тешечку-у...

И, весь трясясь, озоровал жестче и страшнее.

А окна облепили сельчане, глядя на богатую свадьбу.

Что тянуло к лавошникову двору, чего там ждать было? Но Сергей шел медленно вдоль огорода, остро вглядываясь в чащу почернелых голов подсолнухов — не мелькнет ли там белый рукав Натальиного сарафана. Как-то она приживается в Сашкином стаде?

Сегодня видел Сергей Натальину мать. Показалось, что у старухи глаза от слез вспухли — видно, успела дочка уже на третий день свадебной гульбы шепнуть матери такое, что затаенным воем томится круглая в мелкой дрожи спина старой Дарьи Ниловны.

Сначала подумал злорадно.

„Ага-а, карга пустоголовая. То нос воротила, а теперь вот реви..."

Но вспомнил вслед за именем „Наталья", что жена Семена — первая злыдня и сплетница, что Сашка — пьяница и буян, и сразу решил:

— Увижу ее... Была не была! Увижу!

Только зашел за угол — и вдруг... тихое прерывистое всхлипывание. Глянул — и покатилось сердце вниз, с крутого спуска, как вырвавшийся из-под ноги камень. На завалинке возле бани, где переплелась спутанная, полуобдерганная заросль горохов, подсолнухов и малины, сгорбясь и вдоль тела уронив руки, сидела Наталья. Косу ее на две разворошили, и встрепанные, в пушинках от перины, разметались косы на груди...

Бледная, в землю смотрит. Ожгло такой жалостью, как никогда в жизни... Перескочил — и в ноги Наталье. Не испугалась, только глаза запавшие широко раскрыла, точно ждала.

— Наташенька! Наташ...

Захлебнулся — и голову в колени. Когда поднял, лежала голова возле Натальиного сердца, а глаза сияли и наливались слезой. В дрожи губ скорее угадал, чем услышал.

— Сергунюшка-а... пришел...

Будто и не было тоски. И хоть горько видеть на пальце у Натальи кольцо, все равно — тут она, близко, и руки, истосковавшись за все эти дни, обнимали родные эти плечи, гладили разворошенные косы, Натальино бледное лицо брали близко к пересохшему, дрожащему от жалости рту.

Вдруг тихий всхлип на плече.

— Сереженька... Мило-ой! Пошто нас так?.. А?

И зашептала, вся трясясь и прыгающими пальцами отворачивая в сторону шитую рубаху, вчерашний подарок свекрови.

— Гляди, вся в синяках... Испохабил он меня... Измучил... Третий день я, как загнанная... Пьют... пьют... Меня поят. А мне тошно-о. Господи-и... твоя воля-я!.. Словно я поганая стала, поганая...

Впилась цепко в плечи. Рос в затуманенном яблоке глаза черный яркий зрачок.

— Ненавистен он мне... Сергунюшка... Руки на себя наложу... Видеть его... видеть его не в мочь... Соба-ака-а...

Сердце толкнулось, дрогнуло,—и вдруг облегченно пошло работать, рассылая по телу горячую, свежую, радостную кровь: сразу стало ясно, что надо делать.

— Наташенька... родненька... Ведь знаешь... ну... как тебя...

Облачко подернуло ее взгляд.

— А Марька-то?

— Хоро-шая-я. От тоски, от злости это... Ты забудь про нее... про стерву...

Тихонько шоркалось что-то о траву. Оба не слыхали.

Это Марька после пирога рыбного да нескольких чашек с „первачем", разнежилась по пьяному делу и спала бы, толстомясая, да солнце вдруг вдарило в веко — и Марька села на колени. Сергеев, знакомый, так помнящийся голос, узнала сразу — и поползла на ладонях поближе к большому блекнущему малиновому кусту, приминая боком вялую траву. Задышала в ладошку, емко тая в себе крепкую звериную дрожь верной добычи. А Сергей уже решал, и голос опять креп и яснел.

— Наташенька... вы тут зажились, ничего вам неизвестно всем. А я скажу: хорошая ты моя, брось эту сволочь, Сашку прыщавого... брось... Чего головой качаешь, Натальюшка милая? Чего? Все хорошо будет, обладим. Судаканья ты не бойся... Тут ты все равно загниешь. Ты—здоровая, а робость в тебе, какая трусиха ты, хорошая моя... У меня здоровья — во, а зубастым быть смогу... не впроворот будет, пожалуй... Эх, родна-ая.

— А эти-то... Они вдруг...

— Вдру-уг? Ох, ты, ты... Вдру-уг! Ничевохоньки они тебе не сделают. У тебя все права: тошно — и уходишь!

— А ты меня этакую... после Сашки-то...

— Думать о тебе не хотел, да!... А вот видишь, пришел, значит, не могу... Какая без тебя жизнь?..

Обнялись крепко.

— Слышь, приду завтра за тобой и в волость поедем, там возьмем нужное все, чтобы... ну, оформить. — Ну что, значит—уж не Сашкина, а моя жена... У-ух, смелые мы будем, Наташенька, крепкие: поулюлюкают, а мы знай по-своему заживем.

У Натальи лицо уж узнать нельзя: щеки пышут, глаза словно в плясе горят, руки на плечи Сергею бросила.

Марька глотнула слюну, ужалась и, юркнув плечами между гряд, поползла к дому, подкидываясь коленками и подбрасывая по-обезьяньи широкий зад в смятой юбке.

Сегодня к Сашке пришел Петр. После похорон он съездил на богомолье и теперь, продрыхшись вместе с хозяевами, отряхался от пуха пышных и жарких перин длинноносой лавочницы.

Старуха клюнулась носом в открытую дверь комнаты молодых, где Сашка, сопя, надевал сапоги.

— Игде молодушка-то?

Сашка скосил в кровяных прожилках глаз на мать.

— А я как знаю?

Был мрачно-зол, что не слыхал, когда ушла жена. От тихой и покорной слова поперек не слыхал, но зато и не улыбнулась ему ни разу. Председатель с Петром уже сидели за подогретым пирогом, отец подливал. Петр хихикнул.

— Ну-к, молодожен, чибурахни.

Сашка одним духом выпил большую чашку, даже горло обжег. Поднялся нетвердо.

— Я... сейчас... за женой схожу... где-то ее нету.

Вдруг — как большой, сырой, тяжелый мешок, ввалилась с размаху Марька. Надула потные, еще в земле от ползанья, щеки... Закобенилась распаренным вином и злостью задыхающимся телом... Показала Сашке язык... Прыснула, скрюченно выбросив руки... И распялила рот жадным шопотом.

— А жена-то... твоя... с Серьгой, с Серьгой, да!

Сашка болтнулся вперед, всхрипел, но Марька загородила дорогу, забвенно заливаясь курлыкающим смешком, как зажженную паклю на сенную сушь, бросала в оторопевшие лица:

— Милуются... Она: я, грит, на него, на Александра-то, на тебя, тоись, на него, грит, тьфу-у!.. Ненавистен-де, тошно-о... А меня подлюги — стерьвой.,. Уйти собирается от тебя жена-то... Серьга сговорил уж ее... Завтра хвостом вильнет—а ты-ы-ы...

— Назола, — взвизгнул Петр, а лавочник обдернул рубаху, расплывшись в улыбку.

— Погоди, сиклятарь... Будет стыдобушка! На нашу улицу праздник!

Председатель толкнул Сашку локтем.

— Ты чо, паря? Оторопь нашла?..

Марька топнула ногой и поднесла кукиш к Сашкиному носу:

— Беги-и... Разлягутся ишо... на траве-то вольготно... У-у, мокрота-а!..

Сашка прыгнул в сени. Встряслась половица. Сквозь шум в пьяной голове гулом откатилась из угла двухфунтовая на веревочке гирька...

— Гирька-а!.. Погоди-и... о-о-о...

Болтнулась в руке черненькая на веревочке, а Сашка по-кошачьи легко оттолкнулся от крыльца и, согнувшись вдвое, задевая рукой за землю, побежал по грядам. За ним по-индюшачьи, дергаясь, Петр, от нетерпения трясясь, отец, председатель и Марька. Старуха из окна готовилась глядеть на „срамоту“. Сашка продрался через кусты — и вцепился Сергею в плечи.

— А-а... С-сволочь... А-а... Сюда-а.

Сергей вывернулся и вскочил.

— Х-харя. Куд-да-а...

Лавочник повис сзади на руках и сдавил горло. Наталья взвизгнула и кинулась к Сергею...

— Сережень...

Сашка ударил ее кулаком в грудь — и дал под-ножку. Сергей упал. Лавочник сел ему на ноги.

— Будешь теперь... У-у!

Изо рта хлынула кровь, выхаркнул два зуба. Сергей вывернулся.

— Кулачье прокля...

Сашка гакнул и размахнулся... Взлетело в воздух черное кругленькое — и в голову Сергея. Наталья вскочила — ноги не сдержали, рухнула на колени. Хотела крикнуть, но из сдавленного горла только хрип. На русом затылке, где вот сейчас только руки были, вдруг засияло. Красное, горячее. Поползло, охватило голову...

Сергей хотел занести руку назад, но выкатились из орбит остановившиеся глаза... Будто нехотя согнулся, бессильно открыл рот — и повалился на бок... Из затылка пузырилась и квокала густо-красная кровь. Сашка вдруг упал на колени.

— Жуков...

На лбу у него выступили холодные капли. Смахнул их — и вдруг увидал стеклеющий глаз.

— Ба-тюшки...

Наталья поднимала голову Сергея, и рот ее, открывшись, как дно темной пропасти, не замолкая выводил исток ужаса, всю силу последнего своего человеческого, загнанного.

— И-и-и... Сереженька-а... О-ой... оой-й...

Выхлестывало кровь маленькими быстрыми толчками, и казалось, что много-много, без конца ее, упорной, горячей в вытягивающемся теле. Закрасило струйкой щеку, недвижную, странно-белую, с незакрывшимся тусклым глазом — потекла кровь изо рта.

Сашка окостенело стоял на коленях. Увидал струйку, поперхнулся и шарахнулся к широкой груди в полурасстегнутой рубахе, с остывающими кровяными сгустками.

— Кон...чил...ся... Вот тебе раз!..

Бежал, галдел народ. Повалили плетень... Растерянно, оттаптывая ноги, толпились и жались плечо к плечу. Лавочник, будто окаменев, стоял, расставя ноги, и бормотал:

— Да уж как это так... как это... видит бог...

А Сашка, застыв на корточках, тихонько поцакивал зубами, дергая дрожью упавшую нижнюю губу... Пальцы одной руки у него сложились в слабо согнутый неготовый еще кукиш — и куда как смешон бы был чванный Сашка в этом виде, но никто не мог над ним смеяться.

Под последним прощальным солнопеком стыли все и каменели — кончилось самое драгоценное, богатство неокупаемое — жизнь человеческая...

От толчка позади сразу раздалась толпа. Разминая ее, по бокам разымчивую, безвольную, цепенеющую, шагнула через сломанный плетень Глафира. Лицо ее было страшно: сизое от бледности, а глаза горели как два черных, вертящихся в тесном круге, каленых угля. Точно не веря, охнула тихо... И вдруг, как чурбашку легкую, опрокинула ногой Сашку, пнула носком в шею и вырвала звонкий крик, пронзивший тишь смерти:

— Уби-или... Воронье-е...

Толкнула кулаком выпяченное, полное еще самогоном брюхо председателя:

— Пузо-о!..

Метнулась к лавочнику, к Сашке, сгребла у Сашки рубаху на груди, тряхнула его и отбросила.

— Волки... Во-олки... Загрызли... Задушать вас... вошь, плесень смердящая... У-у.

Вдруг стихла — и точно сразу спала с лица: втянулись щеки, заострился нос. Залитую кровью, липкую, холодеющую голову взяла в руки, склонилась низко, глаза мертвые поцеловала — и никого больше не видела.

Дрогнули, сникли плечи. Кругом зашушукались, зашевелились. Встала высокая, смуглая, с закушенными губами.

— Чо глядите-то? С другом богоданным прощаюсь...

Надменно, точно власть тут была у нее, у Глафиры, бросила полуоткрытому рту Натальи:

— Эй, мякиш! Пасхальная свечечка... Хорошо ль в лавке торговать станешь теперя?

Земно поклонилась кровавой луже, что выхлюпала жизнь, потом, опять подняв голову:

— Надо закрыть упокойника. Мухи ведь насядут.

Сашке, не поведя бровью:

— Рогожки новые у вас в лавке есть. Принеси.

Шугнула мальчишек:

— Бегите на пашню за Жуковыми.

Распоряжалась, прямая, твердая, без слез, и все слушали, что приказывала. Ушла только тогда, когда новой чистой рогожей закрыли повернутое на спину тело. Затихало сторожливо и беспокойно село.

Ночью заторкало в окна набатом. Звонарь горбатый, с вечера до одури табаку зеленого пыльцового нанюхавшись (обрадовался подарку лавочника за звон свадебный), крепко заснул старый. Проснулся и сел на постель, оглушенный звонким перещелкиваньем, которое неслось с улицы в темную церковную сторожку. Будто кто-то огромный, великанище из сказки, раскоряча ноги над дрыхнущим после дневного испуга Медвежатным, щелкал изо всех сил сухими и крепкими костями великаньевых пальцев. Звонарь выскакнул на вышку, больно ушибив горб о притолку входа, и весь затрясся: внизу, в легком перехлесте ночного, погожего еще, ветра, под чернотой беззвездного неба — косматилось, щелкало и буйно росло пламя: пылали амбары лавочника, занималась крыша дома.

Очумело ревел набат.

Косматая, красно-рыжая грива огня бросилась, ухватилась, перелеснулась на край крыши, и окна, в кружевах узорных ставенок, залились багровым светом. Внизу люди юркие, черненькие букашки,

малорослые, дергаясь руками и прыгая, кидались ведрами в ревущее, вихревое, хохочущее раскатным щелком хайло пламени. Оно вилось выше, росло, плодило хвостатые разлеты искр, хваталось за черные облака и, курчавясь дымом, пропадало, сливалось с угольно-черной высью. В хвойном кольце лесов, где медведи еще привольно выкармливают детенышей, в каменных кольцах предгорий, в тишине непроезженных дорог, гудел, стонал, взвизгивал, орал истошно набат.

На горбине наката, откуда кочковатая дорога, вихляясь, бежит вниз, стояла на телеге Глафира, крепко натужив вожжи. Далеко видно пламя. Не видно было искр, не слышно воя и криков разметанных ужасом человечьих логовищ... Зато розовым, ярким, юным, грозным полыхал на небе отсвет щедрого костра, растущего вольно и неуемно. На смуглое лицо бросало небо ночной свой румянец. Брови отошли от носа, успокаивался, сглаживал морщины лоб, будто нашла верную дорогу мысль. Затихающее торжество освещало сухое, в меднистых бликах лицо. Прокусанные до крови за бесслезный полубезумный день, губы развела улыбка, широкая, обнажившая сверканье белых зубов:

— Во-от... Та-ак... После гари-то... хорошо помыться будет. Ладно тебе, сокол мой, ладно!.. Може, не по-твоему, а кончила. И-их ты-ы, лошадушка-а.

Лошадь мотнула гривой, и телега съехала вниз.

Когда Глафира повернула к лесу, на ту дорогу, что к волости, и въехала в просеку, полыханья уж не было видно. Несло от села горько-сладковатый дух обильной гари, а над головой стояло спокойное, будто уснувшее, черное небо.

Цемент.

Роман.

Федор Гладков.

(Продолжение).

VII.

Отчий дом.

I.

Книжный червь.

По серому карнизу, над тремя облезлыми колоннами, выпукло резались каменные слова: „Народный Дом". А за колоннами, в глубине, в вестибюле, на огромной дубовой двери в трещинах четким квадратом белела бумага. Сергей поднялся по выщербленным ступеням и близоруко уткнулся в исписанный лист. Рука отца... Что-то старческое и очень юное в причудливом сплетении улыбалось ему в буквах. Глубоко, неясным вздохом, прошла через сердце волна грустного напева о детстве... Снежно цветущий миндаль под окном, в саду, бледная молчаливая мать, которая целует его и примеривает новую рубашку... Это было давно и похоже на туманные образы сновидения. Давно не видел отца — с тех пор, как ушел из семьи навсегда.

Библиотекарша Верочка, его бывшая ученица, всегда изумленная и растерянная, нашла его в городе (только одна она может его найти). Никогда она не умела с ним говорить, а глазами и нервной дрожью только от него ждала слов. Как всегда, она могла только пролепетать:

— Это вы?.. Я, Сергей Иваныч... я искала...

И в руках ее птичкой дрожала бумажка.

— Вы — от отца, Верочка?

— Иван Арсеньич... да, да...

И улыбалась и не сводила с него круглых глаз, сияющих изумлением.

— Вы все еще в библиотеке, Верочка? Еще не надоел вам мой батя своей болтовней о всяких глубоких пустяковых вещах?

И не могла ему ответить, а только струилась в него изумленной улыбкой.

В старческом, детском почерке отца он прочел:

„Сын мой, когда подумаешь, что бытие определяется сознанием, это — великая победа моей бессмертной мысли над капризами становления. Но, когда почувствуешь примат бытия над сознанием — ничтожен есть в гордыне своей человек. Почему сие так, узнаешь, когда найдешь в себе мужество зайти ко мне в книжную храмину: хочу тебя видеть по обстоятельствам ничтожным, а посему и жутким (ничтожное — всегда жутко). Сижу в капище, среди книг (они шевелятся, как тараканы), улыбаюсь и читаю Марка Аврелия. Книжный червь и, волею случая, твой отец".

И когда Сергей читал эту записку, сам улыбался ласковой улыбкой.

Шел в библиотеку с тревогой и смутным предчувствием. Видел голову отца, такую же лысую, как у него, с пепельными волосами в пышном ветреном разлете, и борода торчком вперед, под прямым углом к подбородку. Что-то ребячье было в его голове и что-то дряхлое и беспокойное в невысказанной мудрости.

Через прохладный сумеречный вестибюль, угарно смердящий мышами, в открытую половину двери увидел Сергей огромную пустоту в пыльном полусвете, с далекими рядами книг на полках.

В этом зале когда-то был синематограф, и пол немного покато спускался к задней стене. На весь зал было всего два узких и длинных окна. Потому — и грязный полусвет, нежилой и сарайно-храмный. И тишина была тоже храмная, древняя, насыщенная тлением. И не было стен, а только — книги от пола до потолка в струящихся параллельных рядах. Зачем так много книг? Разве можно прочесть их человеку за короткую пору его сознательной жизни? Не потому ли они так плотно сжаты на полках, что человек устрашился их множества, грозящего пожрать его жизнь, жадную до солнца?

Верочка смотрела из-за вороха книг на прилавке и улыбалась в восторженном изумлении.

— Сергей Иваныч... неужели же?.. Иван Арсеньич...

Перед задней стеною стояла иконостасом посреди комнаты многоэтажная полка в книгах, а рядом с нею дымился седыми волосами отец в длинной холщевой блузе, смотрел на него издали и шевелил бровями. И когда шел к нему Сергей по наклонному полу, сдерживая несущий шаг, увидел, что отец — босой, и ноги у него изуродованы шишками, покрыты пылью и струпьями.

— Любишь, любишь — вижу... Проходи ко мне в алтарь и садись. У тебя такие глаза были и в детстве — одержимые.

Говорил и смеялся смущенным шопотом. А глаза смотрели пристально, остро, в тревожном вопросе.

Сергей улыбался от дружеских слов отца и, как всегда, во время общения с ним, чувствовал себя радостно окрыленным, а его — огромным и загадочно-близким.

Отец шопотно смеялся, и все смотрел на Сергея в тревожном вопросе, с любопытством человека, который проверяет решенную задачу. Вздрагивающими пальцами теребил бороду ко рту и ласково насмешничал. Сергей видел, что он хочет сообщить ему что-то важное и мучительное.

— Тебе не жутко в этой гробнице, батя?

— Судьба всех книг, Сережа, быть тюрьмою для мысли. Каждая книга, это — удавка для человеческой свободы. Не правда ли, что все эти полки похожи на железную решотку? Стремясь к бессмертию, человеческий ум создает книгу — свою надгробную плиту. Роковая обреченность, Сережа: человек, это — перманентный бунт, а бунт — это прыжок из одной тюрьмы в другую: из утробы матери — в утробу общества, в цепи обязательных регламентаций, а оттуда — в могилу. Марк Аврелий был очень неглупый мужик: он умел себя чувствовать свободным, гремя цепями, и имел мудрость смотреть сквозь стены темницы.

— А по моему так, батя: подлинная свобода — только в творческом слиянии своей воли с диалектикой необходимости. Человек бессмертен в динамике творческого коллектива.

Отец пристально посмотрел на него, в строгой улыбке старого скептика.

— Почему ты не спросишь о своей матери? Как ты будешь чувствовать себя, если она сегодня умрет?

Сергей молча, с судорогой в лице, взглянул в глаза отца.

— Она очень плоха? Мне бы хотелось увидеть ее, хоть на минуту...

— Она умирает от скорбящей любви к своим детенышам... Она умирает, Сережа...

Брови его вздрагивали в неудержимой судороге.

— Но я не умру, нет — будь в этом спокоен. Истинная жизнь, сын мой, в свободе от зависимости от приматов. Потому что мир, это — только чистая относительность, а истинное счастье в растворении в миге. Не только Марк Аврелий, но и сам Лукреций Карр мог бы сделать меня своим другом...

Сергею было хорошо — спокойно и тихо на душе. В прорывах напряженных и утомительных дней, которые отравляли бессонницей его ночи, — здесь бы, в этом книжном безмолвии, блаженно раствориться в бездумии, или в думах своих хотя бы на час оставаться недосягаемо одиноким. Его ночи в маленькой комнате в Доме Советов мучительны и кошмарны, насыщены головною болью, потому что нет сна в Доме Советов, и 24 часа угарны от табачного дыма и звонков телефона, а каждая ниточка мозга включена в общую сеть электрических проводов Республики. Нет дней и ночей в Доме Советов — есть маленькая комната, где мучительно чувствуется боль переутомления, сурового подвижничества и обреченности.

— Мой милый Сережа, твоя мать очень больна. Иди к ней, да, да... Если не скажешь ей ничего, то хоть взгляни на нее, как бывало— ребенком. Ты принесешь ей большое счастье.

Сергей заволновался. В неясных словах отца он чувствовал непереносную тоску, и тоска отца насыщала его слова особым значеньем. Всегда было так: в дни детства и юности Сергей души отца не касался — она без остатка растворялась в глубине его глаз. Был он похож на младенца, дни свои уносил с собою в предрассветный сумрак библиотеки, изумленно и растерянно смотрел на деньги, полученные за труд, дома был, как чужой, не имел своего места, смеялся конфузливо, когда говорила с ним мать, и всегда торопился. Весь дом, от кухни до спальни, насыщен был матерью, и даже ночью, в волнах сновидений, мерцало ее лицо, утомленное заботами, с припухшими влажными веками.

— Идем, батя: я хочу ее видеть сейчас.

— Да, да, Сережа... Ты меня очень обрадовал... очень... Но вот что... Если тебя встретит брат Дмитрий, какие у тебя будут глаза и жесты? Твой брат, твой брат... Ты не спрашивай меня о нем: я его боюсь больше, чем тебя. Впрочем, я никого и ничего не боюсь, потому что я, милый мой, заражен любопытством, а это, как тебе известно, не что иное, как мудрость. Жуть, Сережа, не в глубинах, а только в простых элементах движений — в мимолетном взгляде, в жесте, в крике... В этом, друг мой, — распятие человека... этим он проклят...

2.

У постели матери.

Фруктовый сад за забором был в буром дыму: голые сучья и охапки ветвей корчились и прозрачно сплетались в упругие клубки. Только миндаль горел и волновался густыми роями белых цветов. Этот сад насадил своими руками отец и он, Сергей, когда еще был мальчиком. Шел мимо забора, засматривал в щели и видел знакомые деревья, запущенные дорожки и ту беседку из драни в рыжих космах дикого винограда, которую он, Сергей, сколотил еще гимназистом. И каменный дом с мезонином был родным и далеким, как воспоминание о детстве.

— Давно ли ты жил тут и рос, Сережа?.. Ты узнаешь свой чердак?..

Старик смеялся, хватал и отбрасывал руку Сергея, семенил босыми ногами в цыпках, и Сергей видел, что отец рад ему, растроган и конфузился своей радости. И вдруг почему-то сразу и впервые заметил Сергей, как нечистоплотно опустился отец и какая в его глазах ясная и углубленная пустота.

— Ваша революция одна из самых веселых революций в истории, Сережа...

Сад паутинно искрился солнцем и опьянялся солоделою прелью весенней земли, набухающих почек и порхающего цветения миндалей. Вон оно, то окно на мезонине, где он провел свое детство и школьные годы...

В конце дорожки, засыпанной прошлогодними листьями, под снежною пеной миндального дерева (издали она кажется радужной), стоял высокий безрукий человек, с бритым черепом. Белая рубашка, казачьи шаровары и открытая смуглая грудь. Большими черными пятнами резались костистые глазницы и непомерно длинный нос клювом над маленькой верхней губой.

— Я чувствую, батя, что встреча с Дмитрием не даст нам ничего доброго. Мы с ним когда-то расстались друзьями, а теперь встретимся пожалуй, как враги.

Безрукий глядел ни них издали острым птичьим взглядом, и длинное худое лицо его смеялось улыбкой черепа. Он приветственно вскинул единственную правую руку и зыкнул кавалерийским распевом:

— Ага, рыцарю красного образа под мирным родительским кровом — моя душа и сердце... Ха-ха, Сережа... ха-ха, милый друг...

Срывался на радостный хохот вдали, под цветущим миндалем и слова его звенели фальшивым надломом. Он не пошел навстречу Сергею, а твердо и упрямо врос в землю желтыми гетрами.

Сергей ответно помахал ему свободной рукою и с нервной дрожью и угаром в глазах стал подниматься по ступенькам крыльца.

В маленькой комнате матери, по-прежнему темной от спущенных штор, загроможденной одеждой, комодами и ящиками, пахло тем же теплым, душным запахом долголетнего уюта, как и в прошлые дни. И теперь еще, когда Сергей думал о матери, этот запах он чувствовал нудно, до галлюцинаций.

И если бы не было домашнего запаха, не было бы той тишины, которая отстойно дремала в стародавних стенах, впитавших в себя всю историю его жизни. Только мебель и скарб были свалены по углам недавним квартирным уплотнением.

Из пухлой белизны подушки смотрел на Сергея пергаментный череп с черными косицами, прилипшими к яминам щек. Он на цыпочках, в предсмертном полумраке подошел к постели, долго вглядывался в лицо матери, чужое, никогда не виданное раньше. Взял ее руку, и почувствовал струнный трепет, стекающий с косточек в его мускулы.

И эта рука в трепете любви, и этот череп в черных косицах — чужой и близкий и родной до слез. Вдыхая в себя неумирающий запах былого гнезда, Сергей не знал, что делать с собою среди нагроможденных вещей, не знал, что делать с этой угасающей рукою.

Мать молчала и, немая, пристально смотрела на него мутной глубиной умирающих глаз.

А он, Сергей, сам молчал и с внутренней дрожью ждал шопота матери. Не голоса, не крика, а шопота. И не было шопота, а были только глаза, в слипшихся ресницах.

...Дмитрий стоял близко около Сергея и играл насмешливым огоньком, горящим в зрачках. Весь был налит жизнью, широк костью, для которой не хватало кожи, и — хищный в излучинах бровей и изгибе хрящеватого клюва.

Отец улыбался, не угашая ясного взгляда.

— Как странно, что вы — мои дети. И как странно, что вы оба — чужие... и мне, и себе...

Дмитрий насмешливо и отчужденно играл огоньками в глазах.

— Как видишь, Сережа, отец по-прежнему балаганит, как старик Диоген в бочке. Он питается только мухами и своими словами.

Сергей выдержал взгляд брата и спросил у него нелюдимо:

— Где ты был до сих пор? В эти годы о тебе не было слышно.

— Не скажу. Я все равно или совру тебе, или скажу не то, что нужно. Безрукий полковник с германского фронта, а теперь — гражданин без определенных занятий.

Дмитрий быстро взял руку матери и поцеловал, и этот поцелуй потряс больную, как удар. С немым ужасом смотрела она на него и не могла оторвать глаз от его лица.

Дмитрий заиграл огоньками в зрачках и сжал плечо Сергею.

— Я давно не видал тебя, Сережа... с юных лет... Давай поцелуемся, что ли...

Сергей со смутной тревогой отвернулся и отошел от него к отцу.

Дмитрий срывно засмеялся, браво повернулся налево кругом и вышел, блеснув бритым сизым затылком.

По широкому лбу отца, от носа к вискам, черными прутиками полоснули над бровями две глубокие морщины. Дрожащею рукою он затеребил бороду и все норовил положить ее в рот, но она вырывалась.

Бледный, с осовелыми глазами и жалкой улыбкой, он упал спиною к стене.

Что с тобою, батя?

— Будь стоически тверд и не поддавайся соблазнам, Сережа. Но иногда и стоик бывает рабом своих чувств.

Мать с предсмертным безумием поднялась на локоть и опять упала — растаяла в подушке, только в глазах была покорность, тишина и ужас.

Потрясенный, Сергей медленно вышел из комнаты на крыльцо и, ускоряя шаги, пошел по аллее к калитке.

На улице, у забора, он столкнулся с Дмитрием. Брат держа руку в кармане казачьих шаровар и смотрел на него прищуренным острым взглядом.

— Мое почтение, Сережа! Мы еще увидимся... Не правда ли? Мы скоро увидимся, мы увидимся при другой обстановке, Сережа... И тогда поговорим с тобой всласть... Мое почтение...

Он чопорно поклонился и оскалил зубы. А глаза не смеялись: они кололи Сергея острой прищуркой.

VIII.

Горячие дни.

1.

Рабочая кровь.

Дни горели не солнцем: небо было в овчинку, а для груди не хватало воздуха, и город, и горы, и люди, и пристани хлестали ветром в глаза и кувыркались в каменных вихрях.

Только в сердце трепыхались дни, и сердце билось полотном кумача. С задранным шлемом бегал Глеб в Совпроф, в Партком (немедленно созвать общегородское партийное собрание!), в Учпрофсож (товарищи, толкайте подачу цистерн к нефтеперегону!), в заводоуправление, в машинные корпуса завода — там Брынза, там дизеля, готовые к работе.

Жидкий хватал воздух ноздрями и сразмаху шлепал его по спине.

— Чумалыч, чорт тебя дери!.. Запрягай свою силу в завод вместо машин, ты можешь раскачать его на сто процентов. Надо командировать тебя в Европу, чтоб грохнул там хорошую бучу...

— Есть! Кроем Европу и бучу...

И у са́мого Глеба раздувались ноздри от возбуждения.

Бежал к Лухаве. Но, по обыкновению, не было Лухавы в Совпрофе: он не мог сидеть в стенах совпрофской комнаты. Каждый день с утра до ночи бегал по союзам, по предприятиям и на месте входил во все мелочи производства и жизни рабочих, устраивал экстренные заседания, улаживал конфликты, крыл матом лодырей и записывал на красную доску героев труда. Сам носился по учреждениям, по фабрикам и заводам, по хозорганам, продорганам, пухом взбивал бумаги, приказывал, требовал, зажигал, нагонял страх, вызывал бури восторгов. И никогда не был измучен, не знал переутомления, только в глазах неугасимо горели огоньки лихорадки.

Вот чем вошел он в души рабочих.

Глеб оставлял записки:

— Толкнуть Учпрофсож.

— Прищемить Совнархоз за саботаж и волокиту.

— Брякнуть по башкам завком Нефтеперегона.

И Лухава в искрах бронзовой кожи, в огне глаз лстел и туда и туда, и волосы его издали пыхали черными языками пламени.

На заводе электромонтеры приступили к работам по ремонту электросистемы. В рабочих жильях ввернули лампочки (из заводских хранилищ), и их пузыри заблестели выпуклой улыбкой отраженных окон, а с ними вместе взволнованно улыбались и бабы, и дети, и голодная пыль таяла на лицах рабочих в предчувствии больших перемен.

В слесарном цехе не клепали зажигалок. Там шла иная работа: в вихре железного скрежета, свиста, шипенья, звона опять воскресали к жизни детали машин. Из цеха в машинные корпуса и опять по двору в цех, навстречу друг другу в синих блузах, отливающих медью, шагали рабочие. Не было только Лошака и Громады: им: — другая забота — завком. И в завкоме, в подвале, под заводоуправлением, в комнатах, насыщенных цементом и махоркой („дюбек, от которого чорт убег"), — толпился народ — топотали ботами из завкома в завком, из двери в двери, и стены и стекла дрожали от криков и бычьего хохота.

...Завком. Усиленные пайки. Распределение сил. Бремсберг. Металлический вихрь в слесарном цехе. Жидкое топливо. Завтра динамо в работе, а ночью завод откроет глаза...

Глеб (он — уполномоченный от рабочих при заводоуправлении) бегал, брызгая каплями пота, хохотал, сам хватался за инструменты, резал, пилил, сверлил и не мог перегнать своего сердца.

Часто забегал к Брынзе, и Брынза встречал его криками во весь размах машинного отделения:

— Хо-хо, командарм!.. Дело идет... Машины готовы давно... Топливо, топливо, командарм!.. Только — топливо и больше ничего... Раз ты выскочил из преисподней, мы завертим карусель — я так и знал... Твоя башка — такая же машина, как мои дизеля. Топливо, нефть и бензин... только топливо... Если ты не достанешь его за эти два дня, я взорвусь вместе с дизелями... А когда взлечу на воздух, утащу тебя за ноги...

А между машин возились и крякали, ковырялись и бренчали металлом его помощники, похожие на него. Он подмигивал и кивал в их сторону кепкой и радостно скалил зубы.

— Видишь? Братва заработала всеми поджилками. Забыты, друг, пустоболты и чехарда этих годов... Вот что значит сила машин. Пока живы машины — не убежать от них никуда. Тоска по машине сильнее тоски по зазнобе...

И опять кричал на весь корпус, как бешеный:

— Топлива, топлива!.. десять цистерн!.. Для первого разу — довольно. Десять цистерн... или я тебя изуродую вдрызг, командарм...

Вместе с инженером Клейстом, с техниками и рабочими каменоломен шагали по ущелью, по площадкам разработок, заросшим травою. Важный, молчаливый, с провалами в глазах, инженер Клейст исследовал старые бремсберги. Двое техников из старых служак, по привычке к былым традициям, шли на два шага позади инженера Клейста и бросались к нему с рабской готовностью по первому немому кивку головы.

Он не смотрел на Глеба и будто его не замечал около себя, но Глеб видел, что инженер Клейст знает только его и только его силу несет на своей голове и плечах. И, когда говорил с техниками, чуял Глеб, что говорил только с ним, с Глебом, и только от него ждал слов, которых он не может побороть.

Решили: исправить магистраль и от верхней площадки разработок поднять линию бремсберга до перевала, на высоту 800 метров.

И как-то в своем кабинете (уже окно было открыто на обе рамы) инженер Клейст сказал после работы над материальными сметами:

— Если будет гарантия, что сметы будут полностью проведены и рабочие руки обеспечены, мы сможем с успехом выполнить работы в течение месяца.

Глеб нагнулся к его лицу и тяжело хлопнул ладонью по бумагам.

— Товарищ техноруk, работа должна быть выполнена в четыре рабочих дня. Пять тысяч рабочих — к вашим услугам. Материалы по первом требованию — через заводоуправление. Будет саботаж — буду рвать в пыль: мы не такие рвали бастилии. Не месяц, а только четыре дня, товарищ техноруk. Это зарубите твердо и чертыхайте на этот прицел.

Инженер Клейст пристально взглянул на него и впервые бледно улыбнулся.

Бондарный цех сейчас — просто ненужный сарай: стеклянная крыша побита камнями — шалость ребят. На переплетах рам, на уцелевших стеклах, лежат палки, клепки, обломки обручей и всякая дрянь. А верстаки, трансмиссии, диски оскаленных пил в ржавой коросте, покрыты инеем — пыль с гор и шоссе, работа могильщика-ветра. И лазурный всюду затуманенный свет: не от этого ли верстаки, пилы, недоделанные бочки три года назад были сини и прозрачны, как лед?

И сюда забежал Глеб, остановился при входе. Раньше здесь золотые стружки горели огненными спиралями, и бондаря, сами в стружках и искрах опилок, были пьяны и веселы от винного запаха дерева и сиренного пения пил.

Глеб не пошел дальше: здесь заморозишь мозги. Будет день — придет черед и этому месту: опять запылают стружки, опять полетят брызги опилок, опять пилы вспомнят свои молодые песни...

Хотел выйти — работа, работа... но остановился, и на щеках запрыгали гармошки. Савчук. Сидел он спиной к Глебу за своим старым верстаком, оглядывал его, играл ногой со станком, пробовал прочность, бил кулаком, а он скрипел, кашлял, как дряхлый старик.

— Га-га, харчишь, идолова душа?.. А ну, расправляй свои кости и глотку, беззубый!.. Не забыл еще? чуешь?.. га-га!..

Зашагал босявкой к пилам и гладил льдистые диски широкой лапой, а они звенели ему далекими вздохами, будто сквозь сон.

— Га-га, девчатки!.. Рябые стали, неженихатые... А ну, каковые будут ваши песни?.. Выжидай: скоро придут женихи — будем плодить

с вами бочары. То бочары — не бабам на капусту, а бочары — за моря, во все края земли... Они ж понесут не капусту, а цемент на стройку... Га-га, неженихатые!..

Смех щекотал Глеба. Чортов Савчук! Детина — с медведя, и никак его не уколупнешь ни матом, ни лаской, а здесь, в этом проклятом сарае, он причитает и шепчет, как шкет, который втюрился в девку. Чортов Савчук, на него ли это похоже, на лохматого, у которого ноги, как у битюга, а кулаки — с целую вагонетку?..

А засмеяться не мог Глеб: нельзя мешать Савчуку. Когда пробуждаются здоровые силы и наливаются кровью — нельзя накладывать руку:. это — самый важный и глубокий миг в жизни человека...

Глеб тихо вышел из цеха и, когда опять ошпарило его солнце, шлепнул ладонью по шлему и задохнулся от хохота.

— Будь ты проклят, чортов Савчук!.. Вот уморил, окаянный!..

...Днем, когда камни и рельсы плавились на солнце, а пустынный завод дрожал в огне солнечных струй, — с утробными вздохами, бросая в небо охапки пара, паровоз толкал к заводу длинный состав чумазых цистерн с бензином и нефтью. Навстречу, из ворот, в длинных блузах, горланя и махая руками, вышли рабочие.

2.

Прыжок через смерть.

В Исполкоме была получена экстренная телефонограмма, что волпредисполком Борщий избил нагайкой начальника окружной милиции Салтанова, посланного в помощь Борщию по сбору продразверстки, а Салтанов стрелял в Борщия. Сообщалось, что Салтанов с отрядом красноармейцев производил облавы на казаков и городовиков, выгребал зерно из амбаров, выводил последнюю животину из катухов. А потом, когда подводы под конвоем красноармейцев двигались к волисполкому, оркестр музыкантов трубил Интернационал, а за возами шли хлеборобские бабы, бились головами о телеги и выли вместе с коровами и овцами. И вот под музыку произошла в волисполкоме свалка между Борщием и Салтановым.

Бадьин читал телефонограмму с обычным спокойствием каменного лица, а секретарь Пепло, ожидавший приказаний у стола, влажно и румяно улыбался.

— Вот дураки!.. Наскочил чорт на дьявола. Распорядитесь, товарищ Пепло, чтобы сейчас же подали фаэтон. Я сам поеду и разберу дело.

— Слушаю-с.

— Кстати, протелефонируйте в Партком, товарищу Чумаловой, чтобы она немедленно явилась сюда. Она запрашивала о подводе в ту же станицу — я ее отвезу.

— Слушаю-с... Сообщить, что вы поедете вдвоем с товарищем Чумаловой?..

Секретарь Пепло вздрагивающими веками смотрел на Бадьина и румяно улыбался.

Предисполком поднял глаза на Пепло, и секретарь отступил на шаг от стола, а улыбка не блекла и не высыхала на лице.

— Слушаю-с...

Бадьин сидел за столом, грузный, налитый чугуном, опираясь грудью на край стола, и голова его уходила в плечи, будто была тяжелее тела.

И как только ушел секретарь, встал, вскинул руками вверх и в стороны и прошелся по комнате. И уже не было металлической тяжести ни в плечах, ни в голове: был строен, широк костью, с упругими мускулами и упрямым поставом головы.

А в женотделе Мехова догнала в коридоре Дашу и под руку проводила ее до выхода.

— Вот что, Даша: не послать ли вместо тебя кого-нибудь из делегаток? Ты ездишь в командировки каждую неделю, а те только балуются дома. Теперь очень участились нападения по дорогам. Надо тебя поберечь: другой такой не сразу найдешь. Каждый раз, когда ты уезжаешь, я все время боюсь за тебя...

— Товарищ Мехова, тебе стыдно так барахолить словами. Я ж — не маленькая девочка, и свои дела размышляю. Какие ж мы будем, к чорту, женотделки, коли у нас душа в пятки уходит от опаски?..

У подъезда Исполкома блестел черным глянцем фаэтон, и бородатый кучер на облучке сморкался от скуки и вытирал нос широкой полою.

На бульваре, загаженном мусором и измызганном людьми и животными, валялись в пыли двое мальчишек, в изодранных балахончиках, с сизыми лицами, надутыми водянкой. Пыль грязным дымом клубилась над ними и таяла в бурых ветвях акаций.

Даша остановилась у фаэтона, поглядела на бульвар, потом в открытое окно кабинета предисполкома, потом опять — на бульвар.

Чьи это детишки? Что они здесь делают, беспризорные? Что смотрит милиция и почему так слепа и безрука Деткомиссия? Или сама беспризорна, как эти несчастные дети?

Через мостовую подошла к ограде бульвара и долго смотрела на возню чумазых чертят.

— Ребятки, кто хотит хлеба? Я ж знаю, что у вас кишки пустые. Идите сюда.

Мальчики насторожились собачатами — испугались. А тетка улыбалась им ласково, по домашнему, и была совсем не страшной. Но на голове была красная повязка, а в руке — кусок хлеба. Повязка наводила страх (они давно знают, какая сила в этой повязке), но хлеб был свежий и издали опьянял влажным запахом солода.

— Да, да... иди, а ты — в приют...

Один из мальчат встряхнулся в лохмотьях и чучелом забултыхался на утек. Даша засмеялась и разломила хлеб пополам.

— Да идите ж, поросята... не поведу в приют... Нате ж вам по куску... Вот трусливая какая шкетня...

Тетка такая веселая и ласковая (если б не красная повязка!), и хлеб был золотой и вкусный, как мед.

Мальчики, переглядываясь, трусливо и воровато подошли к ней и издали протянули руки. Дала одному, дала другому. Хотела погладить по кудлатым волосам второго. Он заорал и с ужасом в глазах пырснул вдоль по бульвару.

Нюрка — в детдоме, а чем она счастливее этих голых зверят? Однажды она увидела, как Нюрка вместе с другими ребятами копошилась в свалке, на задворках столовой нарпита. Ей тогда почудилось, что Нюрка уже умерла, что она, Даша, — уже не мать ей, что Нюрка брошена на голод и муки по ее, Дашиной, вине. И случайные ее ласки в детдоме — не ласки матери, а пустоцвет. И она от самой свалки до детдома несла ее на руках, и сердце ее рвалось от боли.

Бадьин стоял у фаэтона, тускло поблескивал черной кожей и пристально смотрел на нее из-под костистого лба.

— Товарищ Чумалова, садись — едем.

И сам, не ожидая ее, сел в фаэтон, и экипаж заколыхался под ним всеми рессорами. Даша села рядом с ним и почувствовала, как его бедро и нога упруго придавили ее своей тяжестью.

Бадьин уже не видел ее — был замкнут, холоден и суров, как обычно.

— На автомобиле не проедешь. В горах даже на этой трясогузке придется пробираться черепашьим шагом. Ты не боишься бандитов? Я ничего не беру с собою, кроме нагана. Может быть, взять конных красноармейцев?

Даша взглянула на него — не боится ли сам Бадьин? Но ничего не увидела: лицо было по прежнему неподвижным и твердым — бронзовое лицо.

— Как хотишь, товарищ Бадьин. Коли боишься — требуй. А я привыкла ездить в командировку без провожатых.

— Трогай, товарищ Егоров!

А товарищ Егоров испуганно раз за разом взглянул на предисполкома, порывался что-то сказать, но не осилил. Крякнул, высморкался и заиграл вожжами.

И пока ехали по городским мостовым, молчали, и Даше было необычно приятно и весело качаться в удобной и мягкой качели.

На улице увидела Сергея. Он закивал ей красной лысиной. и кудри его тряхнулись рыжими стружками. А Жук, как увидел их на фаэтоне, так и остановился, пораженный, мутный лицом.

Бадьин брезгливо скривил толстые губы в усмешку.

— Не выношу этого типа...

— Товарища Жука? Вот так... Товарищ Жук — хороший токарь и заботный коммунист. Товарищ Жук не любит наших генералов и бюрократию... и очень беспокоится...

— Товарищ Жук — просто лодырь и склочник. Таких надо обязательно гнать из партии.

— Нет, товарищ Бадьин: товарищ Жук — хороший, и он говорит правду. А когда он изобличает — вы все сердитесь. Разве это — дело? И разве не правда, что вы все, ответработники, видите рабочий класс только из своего кабинета?

— Ты ошибаешься. Кабинет ответработников — ближе к рабочему классу, чем такие сутяги, как, например, твой хороший товарищ Жук, потому что через этот кабинет проходит все, начиная от сложных государственных вопросов, кончая мелочами быта. В кабинете же ответработника я подружился и с твоим мужем.

Он засмеялся, и смех его был не обычный смех, а барабанные слоги: и смех и слова были одно. И этот смех Бадьина всегда смутно тревожил Дашу.

Город уже был позади. Ехали долиной: слева — пологие взгорья в виноградниках, справа — лес, еще голый и сизый, паутинный и туманный от лопнувших почек, и всюду — стволы, толпой бегущие вглубь, в сумеречные пустоты. Они — живые: передние рядами уходят назад, а задние—идут вперед вместе с Дашей, и кажется, что лес кружится, волнуется, выполняет какую-то свою огромную работу, скрытую от человеческих глаз.

— Ну, как ты сейчас насчет семейного гнезда? С одной стороны — супружеские обязанности: общая постель и грязное белье. А с другой — партийная работа. Потом у вас, кажется, есть потомство? Придется выбирать: или женотдел, или — домашние заботы. Муж, вероятно, уже требует особых гарантий. Он у тебя — парень с большим кулаком.

Даша отодвинулась в угол: вперебой сердцу от головы до ног волной прошла через нее тревога.

— Мой муж — сам по себе, а я — сама по себе, товарищ Бадьин. Мы — коммунисты первым делом, а не ерники...

Бадьин опять засмеялся барабанными слогами и положил руку на ноги Даши.

— Ты говоришь, как все коммунистки, а постель-то все-таки остается постелью. Впрочем, у тебя это звучит несколько правдоподобнее: у тебя это бьет из нутра. Я уже знаю, как с тобой трудно найти общий язык.

Даша сбросила с колена его руку и подобралась к самому краешку фаэтона.

— У коммунистов, товарищ Бадьин, навсегда должен быть общий язык при общем нашем деле...

Бадьин опять стал замкнутым и чугунно тяжелым. Он отодвинулся от Даши, и она поймала в его глазах угольки, которые больно обожгли ее.

— Садись свободнее — не съем.

А сказал — исковеркал губы обидной усмешкой.

— Я не боюсь твоих зубов, товарищ Бадьин: мы ж с тобой хорошо знаем друг друга...

И до ущелья, по утреннему сумеречному от скал и лесных зарослей, в гремучих ручейках и кучах разноцветного щебня, они молчали и смотрели в разные стороны. Но Даша чувствовала, как вздрагивал от крови Бадьин и глушил сердце срывным кашлем. Знала, что борется с собою Бадьин и не имеет силы сейчас броситься на нее с насилием. И знала, что он — не укрощен: в глазах его, когда он близко от Даши, бунтует пьяный зверь. Если он не бросится на нее в этот миг, то найдет этот миг, когда будет сильнее ее. И чувствовала, что сама дрожит кровью от ожиданья и не может побороть тревоги и опаски за свою силу. Если бы это случилось сейчас, она не смогла бы бороться с его бычьими взбешенными мускулами: зыбкое бултыханье фаэтона по ухабной дороге ущелья выбивало из-под ее тела надежную точку опоры.

Ущелье тянулось на три версты, за ним — укатанная дорога по широкой загорной долине, и там, в предгорьях, в садах и ветряках — станица.

Горы громоздились в утесах и крутых бурых склонах до самого неба. И склоны, и скалы горели на солнце огнем: обвалы в извивах складок и кучи камней и щебня пересыпались пылающими углями, а ребра гор стекали от вершин расплавленным металлом. Внизу, над лесом и зарослями кустарников, дрожала и волновалась маревом дымная мгла. И небо над горами и лесом — голубая река, и облака — белые льдины. А лес — низинный, сброшенный с круч, непроходный, где перегноем и прелью застойно ползает ночь в трущобах и дебрях, во вздохах и шорохах и смутных предчувствиях.

Дорогу впереди не видать: она ломается в скалах и камнях и вправо, и влево, и вниз, и вверх. Глянешь вперед — лес в путаных веревках лиан, в охапках плюща и кустарников, в глыбах камней — дикое место. А доехали — и лес, и мшистые камни, и скалы, облитые слезами подпочвенных вод, отползали и вправо и влево, проваливались в обрывы и карабкались на пластатые утесы. Уф, какая страшенная высота! Даша не увидела их гребешков наверху, зажмурилась и скорчилась маленькой девочкой. А там — другие предрассветные ущелья, в жуткой рокочущей тишине, где таятся дремучие тайны и разбойничьи логовища...

Товарищ Егоров изогнулся на облучке и хлестнул бородою плечо. Глаза его в густой шерсти бровей и бороды были налиты слизью.

— Товарищ предисполком, зря не погнали провожатой силой конницу... На каюк покроет дикая шатия. Тут мешочников не щадят кажин день, не то ли что... Ошибку дали, товарищ предисполком...

Даша вспомнила, где она видела такие глаза. Много таких глаз, налитых слизью, ползали и барахтались в подвале контр-разведки.

Бадьин, замкнутый, большой, налитый кровью, вздрагивающий от ее животных толчков, с телом, твердым, как камень, сидел глубоко в подушках фаэтона, бесстрашный и спокойный, но в глазах его, из-под тяжелого лба, далеко, за темным перламутром роговиц, вместе с толчками крови, вспыхивало волнение. Опасность ли пьянила его, или угар от близости Даши? И как это может бояться каких-то бродячих бандитов товарищ Егоров, когда товарищ Бадьин так неотразимо силен и смел? Было душно и больно от каменной тяжести Бадьина (Даша сидела неподвижно), и было приятно, что этот стальной человек — надежная опора в лихой час.

Бадьин усмехнулся и в упор посмотрел в бороду Егорова.

— Трусость — опаснее бандитов, товарищ Егоров. Знай свое дело и держи крепче вожжи и кнут в руках. Дорога — не так плоха.

Егоров ссутулился и заробел, как от удара. Он уже не чмокал на лошадей, а только дергал вожжами, крутил головою по сторонам и захлебывался от обильной слюны.

Проехали еще с версту. И Даша чувствовала, как Бадьин вздрагивал всеми мускулами, и было видно, что он изо всех сил борется с своим волнением и скрытыми порывами. Он глубоко вздохнул и всею тушею придавил ее к углу фаэтона. Одна рука обхватила ее за плечи, а другая — около живота.

— Товарищ Бадьин... Ты не смеешь, товарищ Бадьин... Убери руки... Это — позорно...

Он улыбался пьяной усмешкой, и ноздри его раздувались на смуглом губатом лице до бледных вспышек.

— Наоборот, я очень смею... и не вижу в этом никакого позора... Мы — хорошая и сильная пара, и нам не к лицу притворяться и болтать фальшивые фразы... Брось!.. Ты же знаешь, что я никогда не уступаю в борьбе... И то, что я хочу сделать, я сделаю... а в борьбе я пользуюсь всеми средствами...

Даша закорчилась в судорогах, чтобы освободиться от его рук, но при первых же ее движениях Бадьин стиснул ее до удушья и крика, рванул к себе, и она на мгновение увидела его огромную черную голову и взбешенное мосластое лицо. Потом это лицо придушило ее сосущими поцелуями и угарным запахом мужской испарины.

И вдруг почувствовала, что кровь его через руки, губы и ноздри толчками переливается в ее тело, и в ответ на эти бурные толчки истомой прошла по ее жилам волна бабьей слабости, смутного наслаждения и страха. Было только одно сердце, и сердце замирало и не держалось в груди. И еще было: яростно биться, бить, ломать его ру-

ки, вцепиться в горло и душить его, лишь бы освободиться от этих железных нечеловеческих рук...

Их дернуло вперед и подбросило на фаэтоне. Грохнул и полыхнул к небу лес, и обвалом лязгнули скалы.

Даша увидела, как курлыкнул Егоров, заболтался из стороны в сторону на облучке и мешком кувырнулся на бок, на переднее колесо. В то же мгновение Бадьин оторвался от Даши, прыгнул вперед и взмахнул вожжами. Лошади забились и забесновались в дышлах.

— Стой!.. Руки вверх!.. Попались, цаповы души... сукины сыны!..

Из-за скал и из черных пустот зарослей с винтовками в руках карабкались черкески и мохнатые папахи.

Даша видела только эти папахи и глаза в папахах. Заметила хищные прыжки этих глаз, налитых огнем. И еще заметила: близко, около нее, спотыкаясь, кувыркался к лошадям белобрысый казак без шапки, брызгал слюною и выл от хохота, и верхняя губа его дрожала у самых ноздрей, а под губой — не десны, а красные складки и шишки и редкие рыжие зубы, маленькие, тоненькие, как гвоздики.

И в этом мгновении Даша успела только крикнуть одной короткой судорогой в горле.

— Гони!..

И спрыгнула с фаэтона прямо на казака и упала вместе с ним на щебень, в придорожную ямину.

Сразу же ее раздавила невыносимая тяжесть, точно на нее навалилась большая толпа, заплясала по ней каблуками, закрякала и втиснула ее в узкую щель. И одно ощутила — остро-кислотный запах мокрой шерсти и портянок. Били ее — не помнит, была ли стрельба и погоня — не донеслось до слуха. Точно ее бросили в воду, в кипящую воронку, и она не чувствовала ничего, кроме грохочущей глубины и тяжести.

И когда очнулась — стояла у скалы, и целая шайка, сбитая в мясной комок, реготала в нее, дыша удушливым смрадом мокрой шерсти. Ее рвали, крутили руки и драли за волосы.

— Баба!.. Бисова стерва, баба!.. Баба... сука, бодай ее в утробу!..

Фаэтона не было, и только далеко, в ущелье, топотали лошади, будто камни катились по отвалам в каменоломнях.

Через дорогу, против Даши, с задранной ногой на скалу (нога босая, в опорке) в ворохе кучерского кафтана, лежал Егоров, а на самой дороге — растоптанная шапка. Волосы, ухо и клок бороды обляпаны кровавым студнем.

За ребром утеса фыркала и брыкалась лошадь и гремела удилами. Туда и оттуда перебегали в одиночку казаки с потными обалделыми лицами.

— Веди сюда!.. Какого там чорта они голову морочат?..

Одна усатая папаха сналету остановилась около утеса и вытянулась, с ладонью у шапки и локтем наотлет.

— Баба, господин полковник... Хай, повисють ее на ясени и — байдуже. Она, бисова душа, Лымаренку раком поставила... Разрешить, господин полковник...

— Веди, не разговаривай, чорт тебя возьми!.. Вместо нее я вас перевешаю, трусов, вашими же руками... Только на баб ловкачи, мерзавцы...

Оравой, путаясь в винтовках, рыча, поволокли ее куклой (не шла, а болталась на руках) через камни, ямины, по траве и поставили прямо перед лошадью, а лошадь бешено храпнула, выкатила глаза и шарахнулась в бок. Почувствовала Даша влажный горячий запах конского пота и еще почувствовала, как чьи-то суковатые руки жадно елозили по ее бедрам и между ногами. Дребезжали винтовками и реготали.

— Да баба ж, господин полковник!.. Разрешить раздавить комара!..

Даша стояла прямо и всем лицом смотрела на полковника. А полковник, колыхаясь на лошади, тоже смотрел на нее и бычился. Он тоже был в черкеске, с серебряным поясом в висюльках, в серебряных погонах, в плоской мерлушковой шапке-кубанке. Грязный лицом, давно небритый, с длинными черными усами в клочьях, и клочья эти покрывали и губы и подбородок. А нос — курносый, с глянцевым шариком, и выпуклые глаза не то смеются, не то хулиганят.

— Отставить ее!.. Два шага — назад!..

И потому, что стало ей легко и вольно, а воздух сразу перестал пахнуть мокрой шерстью, поняла, что между этим офицером на коне и шайкой она — одна. И все смотрела пристально в лицо полковника (повязка была сорвана и затоптана в сутолоке). Изо всех сил боролась с неудержимой дрожью в коленках — всею шириною ступней упиралась в землю.

— Стриженая... Коммунистка?

— Да. Работница.

— Кто ехал с тобою на фаэтоне?

— То — товарищ Бадьин, предисполком.

— Предисполком? Это — по-каковски?

— А ясно — по-русски.

— Это ты врешь. Русский язык не такой. Этот ваш жаргон — не то жидовский, не то воровской.

— У нас, в советской России, воры не плодятся: мы их жестоко стреляем.

Назади кто-то сорвался на лошадиный смех.

— Вот, бодай ее, бисова баба... Стрегочет, скаженная, сорокой...

— А вот я ее повисю на суку, так пострегочет с другой дыры...

А Даша и полковник не отрывали глаз друг от друга.

— А у вас все такие коммунисты, как этот ваш губернатор? В опасные моменты трусливо бросать своих товарищей полагается?

— То никогда не бывает. То ж я сама сделала...

Полковник трепанул усами, и скулы у него вздрогнули и набухли. Он улыбался.

— Ага, сама... Это что же — с расчетом на нашу глупость?

— А то ж ваше дело, как понимать... Сделала и — на!..

Полковник жвыкал нагайкой и глядел на нее с улыбкой калмыцкого идола.

А Даша все время чувствовала необычайную легкость. Грудь ее дышала ровно, спокойно, и голова была точно пустая — ни мыслей, ни жалости к себе, ни страха. Будто она никогда не была так свободна и молода, как сейчас. И удивлялась: почему это так тянет ее к себе вон та одинокая сосенка на скале, у самой вершины горы (ой, как высоко!..)? Почему она впервые видит такой густой воздух над склонами гор и почему он — в лиловых переливах? И не сосенка здесь важное и не воздух, а что-то другое, родное, глубокое, крылатое, чему она не может дать имени...

— Ты говоришь откровенно и смело, стриженая. И держишь себя достаточно весело... Такой случай у меня — первый. Ваши коммунисты, когда они мне попадаются в руки, извиваются, как глисты... Может быть, ты рассчитываешь, что я тебя отпущу, как женщину? И не думай: я сейчас тебя повешу. Не расстреляю, а именно повешу.

Скулы полковника набухали и вздрагивали, а усы были живые, как пауки.

Не отрывая от нее глаз, поднял к голове нагайку.

— Байстрюк!..

Из шайки вразвалку вышел бородатый казак в черной лохматой папахе. Борода не скрывала губ: они были красные, а глаза — зеленые. И весь он был покорный, немой и тяжелый.

Он взял Дашу под руку, и рука его была тоже тяжелая и рыхлая. И не рука ее вела, а она несла руку, и эта рука казалась ей чудовищной: пройдет минута, и она упадет под тяжестью этой руки.

Сосенка на горе, в густом огненном воздухе (ой, как высоко!..). Так хорошо и пьяно пахнет весной, и листочки распускаются на деревьях светлячками и пересыпаются радугой. И ручеек играет погремушками в камнях. Он тоже в радугах. А тяжелая рука невыносимо тянет вниз. Голова такая свежая у Даши, и нет мыслей, а вместо мыслей — лиловые переливы воздуха. И все так четко, прозрачно и крылато. И оттого, что давила рука мертвым телом и манила к себе сосенка на вершине, что-то хотела вспомнить Даша и никак не могла: что-то нужно вспомнить очень важное, неотложное, полное огромного смысла. Какой воздух хороший — весна!.. А сосенка вся в полете — нагнулась над пропастью и расправила крылья (ой, как высоко!) Да, да... в этом было все... Товарищ Бадьин живой, товарищ Бадьин — очень замечательный работник... А она, Даша, — былинка: была и нет ее...

Рядом с нею сопел и сморкался лохматый дядя. И не видела дядю, а только видела воздух и густые лиловые глубины.

И веревка шоркнула где-то далеко, за шеей, — совсем не коснулась сознания — и не было больно.

Да, да... Глеб... Ведь это было так давно... Милый, глупый Глеб!.. Такой он большой и родной, а такой глупый... Вот он промелькнул, и — не жалко. Ой, как далеко!.. Лиловые глубины и сосенка, и огненный дождь в весенних деревьях...

Опять скользом через сознание шоркнула веревка, и опять — тяжелая рука мертвым телом навалилась на плечо.

Ну, да. Она шла обратно под небом: впереди — бурый пластатый утес, в капели, а за ним — дымные заросли леса, а за лесом, в воздушной глубине, до самого неба — зеленая гора.

Полковник опять посмотрел на нее быком, и усы мокрыми тряпками лежали на губах и подбородке.

Кроме нее и этого человека на коне, никого не было.

— Молодец, стриженная!.. Ты держала себя хорошо... Особенно здорово, что ты женщина... Можешь итти... Тебя не тронет никакая собака.

Он сразмаху ударил нагайкой коня. Екнула селезенка, и лошадь в два прыжка исчезла в кустах.

3.

Цыпленок дутый...

Даша не помнила, как она вышла из ущелья. Не помнила, встречала ли кого по дороге, или шла одна, и как шла — трусливым зайцем, или плелась с последними силами в ногах. Помнила только одно ярко и радостно: сереньких птичек-хохлаток на дороге. Идет — серенькие птички. Упорхнут, а там — опять птички-хохлатки. Поднимут на нее хохолок, пикнут и — упорхнут. Может быть, этого не было в ущелье, а только сейчас: вон они, серенькие птички-хохлатки...

И как только распахнулась перед нею широким размахом предгорная ширь, с пологими увалами и долинами, сразу почувствовала, что она — одна среди этих холмистых далей, что эти голые дымные дали с горящей пепельной дорогой волнуются первобытной жутью, ползут к ней слепой, необъятной пустыней и растворяют ее в невидимую пылинку.

Назади одна на другой громоздилились горы, в обрывах, скалах и зеленых склонах, и чернели широкими провалами ущелья, мохнатые от дремучих лесов.

Тогда — в ущелье — не было ничего, а теперь, среди безлюдного, безголосного холмогорья, в квадратах пашен и зеленей, с пепельной дорогой, разорванной верблюжьими спинами взгорий, она стала беспомощной, одинокой, обреченной, брошенной в бездонную земную пустоту.

Ущелье... Непереносно тяжелая рука... Да, да — сосенка на далекой вершине...

Даша бежала, слепая от страха, с одним сердцем, захлебнувшимся кровью, без воздуха в горле, с обожженными легкими.

Вдали, за волнами холмов, на высоком взгорье, клубилась садами станица, а над ворохами садов белела столбом колокольня с одним черным глазом наверху. И там, за станицей, за взгорьями, облачно дымилась гряда горных хребтов.

Выбиваясь из сил, Даша взбежала на холм. Станица туманилась далью и была нелюдимо чужой и угрюмой: она была слепая, но видела степными глазами, как волчица: она видела Дашу и здесь, и в ущелье. Это она бородататая, папашная, наложила на нее мертвую руку и бросила ее в безлюдную трясинную глушь. Она — слепая, лохматая, земляная, а глаза ее налиты звериною кровью.

Даша споткнулась о камень и упала грудью в дорожную пыль. Очнулась она от боли в коленке и, хромая, отошла в сторону и села на траву, около пашни.

Синее небо, и высоко, над головою, узорчатым инеем облака, а сквозь них голубеет опять небо. И дымные волнистые дали, и тишина — глубже и необъятнее далей. И будто этой тишиной в недрах своих дышит земля.

И вправо, и влево — молоденькая придорожная трава, прозрачная с золотой пылью, и огоньками горят всюду желтые цветочки одуванчика — маленькие, недавние, как цыплята. Они шевелятся и бегут к ней издалека, такие хорошенькие и родненькие...

И как только увидела Даша эти цветочки, всколыхнулось нежностью сердце. Она задохнулась, забилась всей грудью, вскрикнула и захлебнулась слезами. Потом сразу же успокоилась — замолчала, но встать не могла — не было сил. И все смотрела на одуванчики и слушала без дум земную тишину.

И никак не могла понять, тишина ли это звенела в ушах тоненькой ниточкой, или пел жаворонок. Посмотрела на прозрачные перышки облаков — и там переливались далекие струны. Может быть, это поют облака, а может быть, смеются огневые одуванчики..

Галопом вынырнули из-за холма и загрохотали копытами конные красноармейцы с винтовками за плечами. Впереди во весь опор мчался смуглый человек в черной коже. Даша дрогнула и вскочила на ноги.

Товарищ Бадьин!

Красноармейцы издали закричали вразнобой, скалили зубы и махали руками.

Даша тоже закричала и побежала навстречу Бадьину.

Предисполком осадил коня и на бегу соскочил с седла.

— Даша!..

Она обеими руками схватила руку Бадьина, смеялась и плакала.

или красноармейцы и вперебой кричали, не поймешь что.

Один из верховых долго молча смотрел на нее (скуластый, большеротый, с глазами глубоко подо лбом), потом так же молча слез с лошади и положил руку на ее плечо.

— Товарищ!.. Вот — конь... Садись... Давай подсажу...

Даша засмеялась, поймала руку красноармейца и потрепала так же, как руки Бадьина.

— Спасибо, товарищ... Я ж не знаю, какие вы все — хорошие... Из-за меня вы потревожились целым полком... Товарищ Бадьин дюже горячий...

Красноармейцы стояли, терлись лошадиными боками, смотрели на нее изумленными глазами и смеялись. А большеротый посадил ее на седло, оскалил зубы до самых ушей, так же молча сдернул стремя с ноги другого красноармейца и прыжком кувырнулся на круп лошади.

Бадьин ехал рядом с Дашей и всю дорогу заботливо поддерживал ее на балках и кручах, пробовал подпруги, узду и поводья. Даша видела эту его заботу и улыбалась ему ласковой улыбкой.

— Ну, так, что же было с тобою? рассказывай...

— Да нет же, товарищ Бадьин... Ну, покочевряжились и бросили... Им же не с бабами дрызгаться?..

И опять засмеялась.

А Бадьин пытливо смотрел на нее знающими глазами и мягко улыбался (такой улыбки еще никто не видал у предисполкома). И до самой станицы ехал рядом с нею нога об ногу и все заботливо трогал седло — крепко ли сидит на нем Даша.

У волисполкома, на площади, перед церковью, стояли табором телеги и лошади в отпряжку, мотали хвостами и вертели рогатыми башками коровы и овцы. Базарно толпились и орали казаки, выли и выкликали бабы. Мальчишки в папахах и без папах гоняли коники и играли в чехарду. И где-то близко, не то на дворе исполкома, не то, в толпе, пьяный голос хрипло надрывался и плакал.

Цып-ле-нок дутый,
На-гой, ра-зу-тый...

Не хватало голоса на выкрики. Он стонал, задыхался, а все-таки пел, жилился, хрипел одни и те же слова, как одержимый.

Борщий в черкеске с кинжалом метал азиатскими белками, сидел за столом и старательно скрипел пером по бумаге. Он поднял голову, зыркнул белками на Дашу, и лицо его, вояки „чортовой сотни", не дрогнуло ни одной жилкой. И только промычал быковато:

— Ага, счастье твое, что на этот раз смерть оказалась с норовом...

Бадьин грузным шагом, как у себя в исполкоме, подошел к столу и опять стал замкнутым и холодным.

— Товарищ Борщий, потребуй сюда Салтанова.

Борщий упруго и по-женски стройно подошел к двери.

— Товарищ Салтанов, требует предисполком.

И опять с прежней грацией возвратился на место.

И как только вошел Салтанов и стал у стола, Бадьин холодно, сквозь зубы, сказал, пристально глядя на него исподлобья:

— Товарищ Салтанов, ты отстранен от исполнения порученного тебе задания и арестован. Завтра вместе с Борщием отправитесь в город. Там я немедленно передам дело в ревтрибунал.

Салтанов приложил ладонь к картузу, вытянулся и, пристально глядя на Бадьина выпученными смеющимися глазами, сделал два шага назад.

— Я выполнил строго и точно все распоряжения, которые получил в губисполкоме.

Бадьин отвернулся и молча взглянул на шапку Борщия.

— Товарищ Борщий, ликвидируй всю эту музыку так, чтобы использовать этот факт в нашу пользу. Враждебное настроение должно быть сломлено коренным образом. Когда возвратишься из города, сразу подними все пласты с самого низу. Пойдем на площадь.

И когда шли трое: Бадьин, Борщий и Даша, к возам, казаки в папахах, мужики и бабы глядели на них провалившимися слепыми глазами. Возы стояли здесь целые сутки, и целые сутки, не отходя от них, толпились мужики и ночью сидели у костров, как цыгане.

Бадьин вспрыгнул на телегу и оглядел толпу с холодной ясностью в глазах.

— Граждане, казаки и крестьяне!..

Бабы забились и закликали около возов и заглушили его слова. И будто взбешенные бабьим воем и визгом, мужики заорали, замахали руками, и лица их (целые вороха, как арбузы) надувались и лопались глазами и ртами.

Борщий тоже прыгнул на телегу, взмахнул рукою и крикнул по-армейски оглушительно и дико:

— Да молчить же, бисовы хлопцы!.. Слухай, шо буде балакать выщий предисполком... Не регочить же, граждане, бо нема ще горилки... А коли вона буде — тоди рак в барабан заграе...

И оскалил зубы. И этот окрик Борщия (о, Борщий — свой, станишный казак!) волною прошел по толпе и оборвал бучу. В передних рядах блеснули через бороды зубы.

— Граждане казаки! За незаконные действия начальник окружной милиции мною арестован. Запрягайте лошадей и отправляйтесь со своим добром по домам. Дополнительная норма разверстки, которая наложена на вас, по распоряжению власти для Красной армии, для ваших же сынов, которые бьются с панами и генералами, будет с вас снята. Я вам это говорю прямо. Не о войне теперь — наша забота... Мы не хотим, чтобы поля наши поливались кровью... Наша забота о нашем народном хозяйстве... Но не наша вина, а наша беда, коли

паны и генералы ни на час не дают нам спокойного вздоха... Не о крови — забота, а о земле. Не о людях для боя, а о работниках для полей, о худобе, о мирном труде... Не продразверстка — она отменяется, она не будет, вы о ней не услышите больше!.. — а амбары, полные хлеба, распашка всех ваших угодий... Многополье... товары для станиц и деревень...

Бадьин говорил о продналоге, о кооперации, о демобилизации Красной армии, о железе, о мануфактуре, о бакалее... И тут же крикнул о товарище Ленине, который всю свою жизнь отдал мужику и рабочему.

Толпа шуровила, хлюпала, сопела, сбивалась в стадную гущу у ног предов. Бадьин оборвался, вскинул рукой и еще хотел что-то сказать, но толпа заорала, закликала, закопошилась в свалке мужиками и бабами. Кучами, пучками и вразлет забултыхали руками, лезли на воза с лицами, залитыми радостной кровью.

И как только успокоились и отхлынули банные лица и заскрипели возы, Борщий оскалил зубы.

— Так что прошу, товарищ Бадьин, освободить из-под ареста товарища Салтанова. Побесились и — баста. Вперед будем умнее.

Бадьин опять замкнулся и стал чужим и холодным.

— Товарищ Борщий, всякая склока и ошибки ответработников должны служить уроком не только для них самих, но и для других товарищей. Будет сделано так, как я сказал. Сдай дело надежному товарищу. Завтра-ты выедешь со мною в город.

Около них, качаясь на согнутых ногах, пьяненький казак в бороденке рукавичкой с мясными глазами в слезах, размахивая шапкой и надрываясь до хрипоты, выкрикивал, как малохольной:

Цыпленок ду-тый,
Нагой, разу-тый,
Пошел на площадь погулять...
Его поймали,
Арестовали...

Борщий остановился перед ним, молча, в упор, не мигая, стал смотреть на него глазами вояки из „чортовой сотни".

Мужичонко забормотал непонятную чепуху, завихлялся, споткнулся и упал на землю. Схватил раза два черными раздутыми пальцами воздух и в страхе забубнил:

— Ну, ну, ну... Отаман... Успольком... Вы — наши отцы, мы — мертвецы... сукины дети... Ну, ну, ну...

И лег в покорной готовности ко всякому лиху.

День и вечер Даша была у женщин. Был с ней и Бадьин. Он говорил с бабами, и она говорила. А баб было много на радостный день. И Даша успешно выполнила задание. Уф, со станичными бабами работа — самое проклятое дело!..

И никогда Даша не видела Бадьина таким, как в этот вечер. Когда она встречалась с ним взглядом, вспыхивали в памяти золотые одуванчики при дороге. И в этих глазах видела Даша немой восторг и неугасающий огонь любви к ней. И до самого сна не отходил от нее ни на шаг, пристальный от заботливой ласки.

А в комнате для гостей в исполкоме Даша (как это случилось — не знает) провела вместе с ним ночь на одной постели, и впервые за эти годы в эти ночные часы пережила от его бурной крови незабываемую бабью страсть.

IX.

Бремсберг.

1.

Массы.

...Чувствовал не каждого отдельного человека Глеб, а нутряную лавину мускульного движения масс за собою и впереди себя. Купаясь в поту, он по-бычьи выворачивал киркою цементный сланец и шпат. И не сознаньем, а нутром купался Глеб в этой животной силе: она взрывалась не в нем, а волнами плескалась в него через грохот земли — через камни и рельсы — от этой огромной толпы, муравейной гирляндой со стонами и криками идущей в кирках и молотах снизу, от труб и корпусов завода, от каменных отвалов, из дымной глубины, — вверх к обелискам электропередачи.

Белые клубастые облака перекатываются в сини, и по зелени гор искрами мерцают и порхают роями первые весенние цветы. И опаловым дымом полыхают кустарники в камнях и расщелинах. Здесь — и вправо и влево — горы гигантской кратерной чашей стекающие вниз, там — море, небесноголубеющее в безбрежности и взлетающее выше гор миражным горизонтом. И между горами и морем воздушные глубины волнуются от солнечных вихрей.

Не это важно — важно вот это: прибойные шквалы труда муравейно собранных масс. Вот они, перед ним, и их нельзя счесть и ощупать каждого в отдельности, нельзя поглядеть каждому в лицо. И эти несметные толпы — тоже живые цветы. Красные колышутся повязки: это — женщины, как горные маки. Играют белые, синие, коричневые рубахи и куртки.

Вот оно то, о чем думал так недавно Глеб, что он хотел создать в тоске по труду...

Технорук, инженер Клейст, сухой и мосластый, опираясь на толстую палку, сам лично руководит массовыми работами, и степенные техники и юркие десятники постоянно дежурят около него, надрываясь

от усталости, и требуют указаний. А он, сутулый и важный, спокойно и холодно бросает мимо них неслышную команду.

Инженер Клейст... Глеб смотрит на него, срываясь на смех. Инженер Клейст — преданный спец советской республики... Рабочий Глеб Чумалов способен быть другом инженера Клейста...

Он останавливается недалеко от Глеба, сосредоточенный в себе, и несколько раз внимательно озирает весь размах горных работ, и в глазах его Глеб видит гордость и вспышки волнения.

Глеб заламывает шлем на затылок, смахивает брызги пота с лица и весело скалит зубы.

— Ну, что, товарищ технорук?.. Под каковой учет берете вы нашу работу?.. Помните, вы говорили, что эта махина — на месяц труда? А глядите — мы грохаем только третьим разом... Ядовитые люди, а?

Инженер Клейст натужно улыбнулся и, сохраняя привычную важность, разрывая деловое напряжение, сухо сказал:

— Да, да. С таким размахом работы можно делать чудеса. Но это — неэкономная трата сил: здесь нет планомерности и организованного разделения труда. Энтузиазм, как ливень: он непродолжителен и вреден.

— Знаменитый факт, товарищ технорук... Энтузиазмом мы бьем целые горы в текущем моменте. В разрухе только с этого и нужно начинать. А когда оживим всю эту чертовщину, вот тогда будем планомерно учиться процессу производства.

Инженер Клейст встретил играющий смех в глазах Глеба и зябко дрогнул. Опираясь на палку, пошел в гору, к горящим обелискам электропередачи.

Нестерпимо пахло солнцем — каменным накалом и жженой травой. Во рту и глазах горело пылью.

В горах звонили колокола.

Хорошо. Все — огромно и беспредельно. Солнце — живое, как человек. Оно близко, и бурно насыщает кровью каждую клеточку тела, и кровь — живая, поющая солнцем.

Масса — тысячи рук, сплетенных в тысячах взмахов, в реве лопат и молотов, тысячи тел в чешуйчатом могучем движении одного тела... Живая человеческая машина, сотрясающая недра камней...

В высь. Железный путь к солнечным вершинам...

Четкие линии рельс струятся по ребрам шпал в пропасть, на дно разработок, и вверх, в паутинные челюсти электропередачи, к колесам в голубых обелисках. Пройдет час — напрягутся железные струны канатов и лягут на солнце раскаленными нитями, и медными трубами запоют вагонетки — и вверх, и вниз — и вверх, и вниз...

Кучерявая, глазастая Поля Мехова, опираясь на лопату, утомленно карабкалась в гору. Вскрикивала, спотыкалась, ломалась былинкой и смеялась.

Лухава стоял на каменном устое, между обелисками, в черной блузе без пояса, с открытой грудью, в сизом пламени волос. Вот-вот он призывно выбросит руки вперед и крикнет...

Поля смеялась от изнеможения и солнца, смеялась лопатка в ее руках, играя камнями.

— Ой, как же я устала, Чумалов!.. Поддержи меня, слабую женщину...

Бросила руку ему на плечо и оперлась грудью на грудь. И дышала со стоном — не успевала дышать. Задыхалась и вскрикивала от смеха.

Глеб опирался на кайлу, она — на его грудь, и оба смеялись друг другу в лицо, без слов — одною кровью. Слышал, как мягко, через полный налив ее груди, толкалось и обнимало его Полино сердце, и в пьяном переливе ее глаз и влажном оскале зубов он видел бабью ее готовность отдаться во власть его силе. И в каждом ударе ее сердца через полный налив груди, и в игре ее глаз, и в оскале зубов он слышал нутром дразнящие вскрики:

— Ну?.. ну?..

Сильным упором ног, с кайлой на плече, шла мимо Даша. За нею — маковая толпа женщин в смехе и криках (бабы в толпе, это — птицы в полете). Они шли к электропередаче для штопки путей.

— Вот она, моя Дашка... знаменитый поводырь!.. А ведь когда-то была только славная жинка...

Он схватил ее на перепутье в обнимку и прижал к себе. Она засмеялась, вырвалась и взмахнула кайлой.

— Уф, проклятый муж!.. Просажу твое сердце до дна... Завертайся на винт, а то лопнет пружина...

И глаза ее смотрели не так как прежде: уже не было в них холодного блеска — трепетала в них теплая ласковая струйка удивления и радости. И пошла, не оглядываясь с кайлою на плече, в цветущей гуще бабьего смешливого переклика.

— Моя Дашка — молодчина... прямо — чортова баба, ей-право!..

— Она тебя очень любит и гордится тобою, Чумалов. Даша — настоящая большевичка, и я ее очень люблю.

В глазах Меховой играли ручейки.

...Это никогда не потухнет в памяти. Вот и теперь смотрел на Дашу и волновался, и в сердце полыхнула волна нежности к ней. Она в тот вечер говорила не так, как десяток дней назад. Неумело и скупо рассказала ему о своей передряге в ущелье. Говорила и посматривала на него пытливо исподлобья. И при свете электрической лампочки лицо ее и глаза дрожали изумлением, неясным большим вопросом и восторгом. И как только сказала Даша о том, как она спрыгнула с фаэтона и как повел ее бородатый дядя на удавку (просто сказала, с усмешкой), Глеб сам стал дрожать от этого трепетного света ее глаз и от обычно-простых ее неуклюжих слов. Не страх за Дашу, не злоба на Бадьина, не ревность, а мутная боль,

мутная вина перед нею, удивление перед ее обречением потрясли его. И одно он глубоко, навсегда почувствовал тогда: от этого часа никогда он не скажет ей ни слова упрека и не подойдет к ней ни с обидным мужним вопросом, ни с кулаком, ни с назойливой лаской. И хотел бы, да не сможет. Дни, прожитые с ней, от встречи до этой минуты, отравились стыдом и собственным его бессилием перед нею. Вошло это в него сразу, без раздумья, от одного ее неуклюжего слова, без ужаса перед тем, что случилось, без крика и самохвальства. Слушал ее, молчал, вздрагивал и не отрывал от ее лица своих глаз. А потом подошел к ней (а руки — в карманах) — подошел близко, а ее не коснулся.

— Дашок!.. Все мы — дураки и мерзавцы. Не тебя, а нас надо перевешать. Молодчина, Дашок!.. и на меня, сукина сына, не сердися...

И опять отошел и лег на кровать.

И во тьме, когда лежали отлетом — он на кровати, она — на полу, — Даша заворошила тряпьем и ласково подала голос:

— Глеб... ты спишь?

— Молодец, Дашок... прямо одно слово — молодчага!.. А думаю о твоей веревке — дрожу и лопается сердце.

А она засмеялась в одеялку, хотела что-то сказать, но спотыкалась. Не утерпела и опять засмеялась.

— Ну, а если я, Глеб, скажу тебе, что я спала тогда с Бадьиным? Ты мне должен устроить скандал. Ведь ты же не раз хотел мне закинуть ногу на шею.

И Глеб удивился: не тронула его Даша этой шуткой, в которой он слышал тревогу и смутную правду. Ударила словом, а не было больно. Сгорела ли ревность за эти горячие дни, или Даша стала дороже и больше жены — в сердце его только волновалась нежность к ней, как к новому другу, которого он не имел раньше никогда.

— Башка у меня сейчас — чистая жаровня, Дашок... Думаю о веревке и твоей переделке — и у меня болят все печонки... Ну, коли было — пущай было. Мы — сукины дети, и ты меня можешь крыть почем зря... Надо цапать теперь человека с другого боку. Пущай... будет час — научимся добираться на ять и до самого человечьего нутра... А теперь только болят печонки, Дашок...

И опять засмеялась Даша в своем уголке в одеялку.

— Ну, спи... Я не знаю... Будто жизнь начинает заворачивать назад, к молодым моим дням, только заворачивает другой дорогой...

Полежала немного, повозилась и опять подала голос:

— Глеб?.. Ты спишь?

И не успел ответить Глеб, как встряхнулась она на своей постельке, забумкала по полу голыми пятками и кувыркнулась к нему под одеялку.

...Савчук в головке строительных рабочих пришивал рельсы шипами к шпалам, — грохал молотом в пьяном припадке взбешенного

трудом человека. Кровью набухало лицо, кровью горели белки, и толстые жилы на руках и на шее узловатыми веревками оплетали мускулы под кожей, набухшей от натуги и пота.

Глеб вскинул кайлу на плечо и пошел от Меховой в передние ряды.

— Бей, Савчук, чортов бондарь!.. Крой не кайлой, а утробой!..

— Бьем, идоловы души!.. Коли растравил, иди в головке, подлый друг... Найдем огня и для завода...

— О-гой, товарищи!.. Берем горы на ход, чтобы горы заорали урра!..

Он взмахнул кайлою, и от рева у него вздулись жилы на шее. И масса взорвалась кирками, лопатами и молотами, и в гуле и стоне заволновалась, ощетинилась, как армия оружием:

—...рра-а!.. рра-а!..

И с высоты видел Глеб, как могучий, потрясающий рев и грохот прибойной волной животно катился вниз, на дно горы. Там люди были маленькие, как муравьи. Они тоже махали там руками и инструментами и, вероятно, тоже кричали.

Мехова во весь размах глаз смотрела на Глеба.

Последние рельсы клепали и крепили к шпалам. Канаты лежали змеями на блоках и струнно гудели металлом. Колеса крылато насыщались электрическим полетом.

Красноармейцы, опираясь на винтовки, держали караул в седловине перевала. Над ними и мимо них стекали вниз зеленой пеной кустарники и туя. Винтовки и шлемы — ядрены и чутки, и зорко смотрели товарищи красноармейцы на камни и в дремучие провалы по ту сторону гор.

Разбитый, с дрожью в конечностях, с набухшим от крови лицом, выбыл из строя Сергей. Он отошел к Меховой и свалился около нее на камни.

— Ну, что, милый интеллигент?.. Не скажете ли вы, что не всегда сладки корни коммунистического труда?

И Мехова ласково потрепала его за рукав.

А улыбка его засветилась весело, по-ребячьи, и с носа и подбородка огненными капельками скатился на руки пот. Он взял руку Поли и пожал по-дружески крепко.

2.

Ставка на кровь.

Работа к концу всегда напряженно-пьяна: последние удары — всегда разяще метки и размашисто сильны. И когда с электропередачи врезался в массы тревожный крик Лухавы, передние ряды смешались в испуге и изумлении.

Лопался воздух далеко, за вершинами, и осколками падал на землю. Но за грохотом работы сначала не было слышно выстрелов. Красно-

армейцы суетились у перевала: прыгали в перебежке, ложились в камнях и стреляли торопливо, вразброд, без команды.

Лухава взмахивал руками и кричал надсадно, до хрипоты:

— Товарищи!.. спокойствие!.. Все — на своих местах!.. Нападение бандитов из-за хребта... Работы не прерывать!.. Не допускать паники...

Стрельба взрывала воздух; и он осколками падал на землю.

Работы внезапно остановились, и тысячи людей от вершины до дна забуровили лавиной. В центре началась паника: лопнули скрепы, и толпа неудержимым потоком понеслась вниз, падая, кувыркаясь, сбиваясь в густые кучи. Бежали и вправо и влево, и отдельные группы и одинокие фигуры, ложились, катились снопами, опять подымались, останавливались и опять бежали.

Глеб вскарабкался на пластатую скалу и замахал кайлою.

— Стой!.. на месте, чортовы люди!.. Товарищи-коммунисты — ко мне!.. Бей кайлой глухого и труса!..

И головной отряд рабочих профстроя хлынул по шпалам и по камням к Глебу, а за ним в одиночку и артелями бежали другие И вниз по одному и хором завыли голоса:

— Сто-ой!.. сто-ой!..

Люди и вправо и влево катились вниз, кувыркались и брызгами разлетались в стороны, в кустарники и скалы.

Грохотали выстрелы, будто лопались камни в горах.

Глеб бросил кайлу и спрыгнул со скалы.

— Сбегай вниз, Савчук, и ты, Громада, и ты, Дашка!.. Ставь на места! Бери за жабры... в хвост и в гриву чортово стадо!..

И Савчук, и Громада, и Даша, и еще, и еще камнями запрывниз.

— Товарищи-коммунисты — ко мне!.. Бери винтовки, товарищи... на электропередаче... Живее шагай!.. Шуганем горохом, товарищи...

И сам первый побежал за винтовкой. За ним побежали артелью коммунисты, а за ними — беспартийные рабочие.

На устоях работали металлисты и электрики — работали спокойно и молча, только в глазах угарно мерцали угольки тревоги.

Разбирали винтовки и патроны, щелкали затворами, давили и буторили друг друга, скалили зубы и кричали. Рубахи — мокрые на спинах. Умывались потом, стряхивали капли пальцами и вытирались рукавами. Беспартийные рвались к винтовкам, а их отшивали. Митька-забойщик, гармонист, с синим бритым черепом, свирепо задыхался и выл:

— Не махай, махалка!.. Не задавайся на три копейки... Я, может, ждал этого хвакта однажды сорок разов... Пешка!..

Размахивая руками, он пробрался вперед и вцепился в винтовку, оскалив широкие зубы и подмигивая одним глазом.

— Вот она, матаня!.. Крою, товарищ Чумалов!.. Крою, черти пустопузые!..

Удушливой гарью перехватывал горло каменный воздух. Пахло солнцем и жженой травой. Поля карабкалась по камням около Глеба. Он чувствовал ее мягкое плечо и острый запах женского пота.

— Ну, зачем пошла? Такая игрушка стоит мозгов...

— А почему же мне не пойти? Почему ты можешь пойти, а я — нет?

— Я знаю, как ходят в этом разе. У тебя еще ноги приросли к юбке.

Поля сорвалась на смех.

Впереди, в разных местах, перебегали красноармейцы и рабочие, останавливались и стреляли с коленки. Очень далеко — в море ли, за горами ли — пели сирены.

— Ведь это — пули, Глеб... Я уж давно их не слышала...

Глеб шел с винтовкой наизготовку, с ним рядом — Поля тоже с винтовкой. На лице у нее были только одни глаза. Длинные кудри горели золотыми стружками на солнце.

Уж не рабочий был Глеб с винтовкой в руках, а опять боевой красноармеец-военком. Коротко и четко дал дело отряду — зайти с левого фланга, в тыл бандитам, и выбить их из лесочка на лысину склона, под удар красноармейцев на перевале. Сам на виду у обоих отрядов, с вершины, будет руководить боем.

— Слышишь, Глеб? Они — рядом: стреляют из-за вершины. Они шли наверняка — вызвать панику, а потом разрушить бремсберг.

Глеб не ответил. Он браво взбирался на крутизну, часто останавливался и оглядывался на бремсберг. Мехова не отставала от него. Юбку подняла выше колен.

— Гляди: круто ущемила братва... Ставят загоном на место... Давно бы надо такую переделку, чтобы выгнать всех крыс из утробы... Ничего: еще придется порядком побанить братву...

На лице Поли были только одни глаза.

Куполом горела вершина, и железный треножник — геодезический знак — ярко горел красной ржавчиной на макушке.

На четвереньках вползли на острую грань горы, где, за ребром, широким отложьем, в рощах и перелесках, в лощинах и взгорьях, воздушно катились дымные дали, к другим сизо-лиловым хребтам, к тучам, ко льдам, осевшим на горизонте.

Легли у треножника. Легли и — сразу не стало высоты. Не было высоты и грани — под руками были плиты и щебень. Пахло жженой травою и серным накалом цементняка.

— Я ничего не вижу, Глеб... Где они?

Поля поднялась на колени и потянулась к треножнику.

Тинькнула железным жвыком натянутая струнка.

Глеб рваком дернул Полю за юбку. Мягко хрустнула и лопнула на боку гнилая скрепка. Поля засмеялась и села около Глеба.

— Крючок оборвал... битюг!..

— А ты сиди лягушкой... Пришьют — не узнаешь. Я чучел терпеть не могу...

И выпучил на нее набухшие белки. Сказал, а сам на четырках пополз за треножник.

От вершины, вправо, в глыбах развалин, — стена из голубых и желтых пластов. Развалины древних стен и кучи рассыпанной кладки. И в них и между ними — бурые охапки кустарников — туи, кизила и шиповника.

Глеб вытянул шею и распластался на брюхе.

В кучах камней, мызгая в щелях развалин, с ружьем наизготовке, хищно крался загарный казак без папахи. Когда приседал и прислонялся к камням — таял, рассыпался в невидимку.

— Я его сейчас застрелю, Глеб... Я не выдержу...

Дрожали руки у Поли, а на лице были только глаза.

— Только бахни — пришью на месте... Лежи!..

Поля оскалила зубы.

Глеб пополз по камням к кучам развалин, скрываясь в кустарниках. А потом увидела Поля, как Глеб побежал горбуном в расселинах глыб. Стал неслышный и серый: камни тоже окрасили его в невидимку.

Казак остановился, дернул испуганно головой и вскинул винтовку. Присел и опять рассыпался.

Сердце ли билось у Поли, или далеко, в лесу, бухали выстрелы, — дрожала гора, и в недрах ее, глубоко, взрывались породы.

Успел убежать, или заметил и ждет? Подпустит или убьет Глеба?

Зубы дробно стучали у Поли. Сжимала до боли челюсти, а зубы все-таки стучали, и скрипели мускулы под ушами. Вскочить. Побежать. Закричать до надрыва и слепо стрелять, бить, с гарью, с огнем.

Выстрела она не слышала, только гулко полыхнул на нее воздух и ринулся с вершины в пропасть, и осколки скалы зазвенели разбитыми плитами. И в звоне камней звериным оскалом зарычал хриплый голос и задохнулся рвотой. Это — не Глеб: так Глеб не может кричать. Хрипели и захлебывались звери, и плиты звенели разбитым стеклом.

Поля с винтовкой широкими взмахами ног побежала в утесы, — туда, где был Глеб. Не было его следов, но они горели под ее ногами. Гармонные пласты взорвались перед нею щебнем, и пыль вспыхнула пламенем. Брызги камней прыснули ей в лицо и обожгли щеку и лоб.

У скалы, ломая кустарники, извивались в волчьей схватке Глеб и казак. Под ногами Поли дребезгом звякнула брошенная винтовка. Выгибая спину, Глеб выворачивал лопатки и, с распухшим от напряжения лицом, рвал винтовку из рук казака.

С безумными, выдавленными глазами, обмазанный пеной и слюной, казак по-медвежьи вертушкой крутил винтовку, и видно было, как мускулы его натягивались и прыжились буграми под чекменем. Он задыхался и хрипел в натужливой матершине, тащил за собою Глеба под откос — в каменную бездну, изрезанную ребрами и ступе-

нями пластов. Пули вонзались позади них в плиты и щебень и взрывали их дымом и брызгами.

И в то время, когда Мехова нацелила прикладом в голову казака, Глеб правой рукой обхватил его шею и прищемил его голову лицом к ложу винтовки, а другою сковал его руку выше кисти и сломал наотлет. Казак заскрежетал от боли и ярости, взвизгнул и забился в руках Глеба в последних порывах. До дрожи во всем теле Глеб стянул туже узел на шее. И нутром поняла Поля: пройдет еще миг, и Глеб надорвется, и оба они грохнутся в пропасть. Теряя сознание, Поля сразмаху ударила прикладом в бок казаку. Он обмяк и замычал оглушенной скотиной.

— Не можу!.. Каюк!.. Иду до сдачи... Ваша взяла...

Рука Глеба соскользнула с шеи казака и сковала другую его руку. Дремучими кровяными глазами пойманного зверя казак смотрел на Глеба, и в них чернела смертельная ненависть и жуть. Из носа и рта тягучей слизью стекала вместе с слюною кровавая жижа. Выворачивая белки и дергая сожженной башкой, он захлебнулся слюною и кровью и, дыша затравленным зверем, опять промычал хрипло, утробой:

— Да пусти ж!.. Я ничего не можу... Каюк!..

Поля стиснула плечо Глеба и рванула назад.

— Скорее убирайся отсюда, Глеб!.. Разве не видишь — мишень?..

Глеб взглянул на нее через плечо непонимающими глазами и выпустил руки казака. Грудь надувалась, рвала гимнастерку и подбрасывала плечи к ушам. Шлепнул ладонью по кобуре, но револьвера не было.

Истерзанный борьбою, казак хрипло брызгал липкой кровавой слизью. Вздрогнул, оскалил кровяные зубы и змеиным изгибом прыгнул к обрыву.

— И-их, бисовы души, подлюки, взяли казака на кочерыжку!.. Ловите казака в полете!..

Взвизгнул как на джигитовке, и сразбегу кувырком полетел в пропасть.

Глеб подбежал к утесу и на мгновенье увидел, как тело казака кувыркалось далеко внизу по камням, шлепалось о выступы плит, вертелось в воздухе, опять шлепалось и отшибом швырялось в разные стороны.

Рука Поли опять дернула его от обрыва назад.

И сразу же услышал стеклянные взрывы плит в скале в брызгах щебня и пыли. Нагнувшись над землею, побежал за кучи камней, а Поля шла спокойно и молча, как слепая.

С свирепыми белками Глеб прыгнул обратно к Поле и взмахнул кулаком:

— Бахну вот... убью, как гадюку, чортова кукла!..

Поля молча смотрела на него, как слепая. Потом вздрогнула и ударила его винтовкой по руке.

— Убери руку, болван!.. Собери свое оружие — растерял по дороге...

И пошла на старое место к треножнику на вершине.

...Из лесочка бежали врассыпную люди, спотыкались, стреляли, падали, кувыркались... Грохот выстрелов, пыль, огонь и рев за вершиной, где скрывалась цепь красноармейцев. Поля лежала на животе и тоже стреляла. Винтовка больно била в плечо, а она, в бурном восторге, щелкала затвором, целилась и била по заячьим, прыгающим фигуркам вдали.

И смутно помнила, как мимо нее пробежал через вершину Глеб, и глухими вздохами рычала из-за горы его боевая команда.

3.

Электрический зум.

Струнно пели колеса на электропередаче, и чугунные их спицы взмахивали черными крыльями в разных наклонениях и пересечениях. Стальные канаты паутинно наматывались и разматывались на желобах пузатых ободий. Электромонтеры, рабочие и комсомольцы, в головке с бронзовым Лухавой и инженером Клейстом, в немом очаровании смотрели на электрический полет колес и слушали воскресшую музыку машин.

Лавина человеческих масс, стекающая вниз на версту глубиною, по шпатам и сланцам, изгрызанным ветрами и ливнями, по ребрам плит и отекам брекчии, кипела, волновалась, ревела бурливым чревом, умноженным на тысячи, колыхалась в судорогах сплетенных мускулов, и спазмы этих мускульных волн потрясали толпы, как тело гигантской сколопендры. От самой электропередачи до дна, где громоздились пирамиды каменных отвалов, водопад толп полосовался на два потока, и в середине пепельно-огненной дорогой натягивались до звона на бесчисленных ладах четыре горящих струны.

И между этими людскими потоками, далеко внизу, ползла по струнам, вцепившись в змеиную нить каната на ролах, играющих флейтами, кубическая, усеченная снизу, черепаха.

— ...рра-а!.. рра-а!..

И, будто, не рев это был тысячных толп, а вой бури в кратерном раструбе горных взлетов.

Нестройной толпой сходил по ступенчатым пластам с перевала отряд рабочих с винтовками Красноармейцы по-прежнему зоркими птицами занимали свои прежние места. Впереди отряда шли Глеб и Мехова. За ними несли на ружьях тело товарища

Отряд спустился к машинам и побросал винтовки. Лица рабочих были пьяны и заляпаны потною грязью. Тело товарища, с кровавым шматком вместо головы, положили на бетонную площадку в ногах

толпы. И стадом, напирая друг на друга, с разноголосым криком, толпа бросилась к отряду и захлестнула его банным хороводом. Взрываясь хохотом и рычаньем, толпа смяла рабочих, схапала и проглотила Глеба. Болтая руками и ногами, он чучелом взлетел в воздухе и опять упал в гущу толпы. Подхваченный ревом и хохотом, опять взлетел над головами... и опять... и опять...

Около трупа — другая толпа, молчаливая, строгая, с болью и страданьем в лицах. Уже в этой залитой кровью голове нельзя было узнать Митьку-гармониста с бритой башкой, который нахрапом зацапал винтовку и затесался в отряд коммунистов.

Тут же, в месиве толпы, комсомолки перевязывали раны товарищам.

— Побанилась, братва, а рожи краше пороси... Землю роют, черти не нашего бога...

— Хо-хо... пахари!.. Всех покроем вдрызг, к чортовой матери... Горы коровой завоют...

И один голос захлебывался от радости:

— Шкуру спущу... Подавай еще тыщу генералов — вдрызг раком поставлю. Братики мои разноматые, портошные и беспортошные!.. Пой Интернационал... Крышка!.. Бабы, безусловные мамочки, до чего же я зарез имею до женской организации... Подавай мне сюда весь женотдел — распластаю, оближу и высосу...

Подходили новые толпы, кричали ура. Опять качали Глеба. Застывали около трупа и мычали от боли.

Мехова толкалась в толпе и все кричала до надрыва:

— Товарищи!.. Товарищи!..

И на лице ее были только одни глаза.

А Даша прошла мимо Глеба, положила на плечо ему руку и посмотрела на него влажными глазами, и в них не потухала новая радость и удивление.

— Глеб!..

— Дашок!..

Но она не остановилась и утонула в потоке толпы.

Вот оно, самое главное—массы... грохот труда... крылатый полет колес... Ночью завод открыл глаза электрическими лунами, и потухшие льдистые лампочки в квартирах рабочих зажгли свои путаные нити. Завод. Он уже дрогнул, уже подземно гудит в недрах его скрытая сила, и глядит он на него окнами с тоскою, как человек. И массы, которые разбудили горы, умершие в одичании и плесени. Бремсберг, гремящий живым железом. Вон там, из трубных жерл, заклубятся черные облака, и воздушные черепахи залетают на пирсы и сюда, на высоты, пожирать сланец в каменоломнях. Козы... зажигалки... мышиный писк подпилков...

Лухава стоял около машин, что-то кричал вниз и размахивал руками.

Грохнуло железом и звякнуло в колесах. Они дрогнули и остановились.

Глеб сбежал по ступеням вниз, под машины. Большая, покрытая серебристой пылью тления, стояла вровне с площадкой вагонетка-платформа, и пахло от нее плесенью дна.

Он опять выбежал наверх и привычным военным зыком крикнул в толпу:

— А ну, несите труп товарища на вагонетку. С честью спустим вниз. Пущай глядят... все, которые там, до конца...

Труп подхватили много рук. Осторожно и молча спустили по ступеням и положили на вагонетку.

— Товарищи!.. Ребятки!.. Кайлу-то его... винтовочку-то его... Рядом, товарищи... бок-о-бок, товарищи...

Глеб вышел на устои, стал между голубыми обелисками и широко взмахнул рукою.

— Ход вниз!.. Веселее!..

И вагонетка под шум колес поплыла вниз по рельсам, как птица, воздушно и плавно.

Глеб опять широко взмахнул руками над головою.

— Товарищи, слушай!.. Жертва труда... общим упором... не плач и рыдание... победа рабочих рук... завод... то дело — за нами... загремит огнем и машинами... великое строительство рабочей республики... сами... своим животом и мозгами... кровь и страданье борьбы... то наше оружие в победе над миром... Грянем, братва!..

И он первый запел, размахивая руками. Подхватили дальше, нестройно, ревом... ниже, глубже... разрывались горы от рева, заклубился, завьюжился воздух... Дрожали горы от землетрясения. А вагонетка плыла и колыхалась в воздухе, как малая птица в буре и потрясающем громе...

(Продолжение следует).

Страна родная.

(Из романа.)

Артем Веселый.

Окно первое.

Первый веселый снеж засыпал город, петлял иззябший худоребрый лес, сеялся на соломенные головы деревень В степных раскатах потоки снежа переметчивый ветер вязал в тяжелые узлы, сметал в густые девичьи косы, на сугробах играл зачесами гребней переметчивый ветруга в степных просторьях. Дороги направо, дороги налево, снежный разлив.

На окнах настывали первые узоры.

В сетке неторопливых, степных дорог город Клювин бился музыкой и криками. Взводными колоннами входил Капустинский отряд. Дымились, всхрапывали изморенные кони. Покачивались в седлах чубатые партизаны, раскачивались черные, чапаевские папахи, забитые снежом.

Слободскими, кривыми улицами, мимо унылых заборов с гиком мчались ребятишки, вприпрыжку скакали озабоченные собаки, широко, деловито шагали мужики, бабы, задыхаясь, путаясь в подолах, торопливо на ходу оправляли платки, шаленки... своих встречать.

Тревожные переклики:

— Матушка... Заступница, идут.

— И то, владычица, идут.

— Батюшки... Дарьюшка... Ох.

— Слава те...

— Куманька, сон-то мне...

Через базарную площадь встречь войску — железнодорожники, крюшники, ткачи, пекаря — крепко сколоченные плоты голов. Заборы, крылечки обвешаны кистями праздничных глаз, выглядывающих в рядах конницы жданных.

— Мамка, гляи, гляи...

— Эх, бат, силища-то... Народу-то... Я съестолько и на Ярдани не видал.

— Вайна.

— Этих лошадей да под запашку ба...

— Митрошенька...

Стремительно метнулась пестрая юбка: молодая баба грудью ударила в волну лошадей. Задымленный ветрами, горбоносый партизан перегнулся из седла, слету подхватил ее под мышку и под дружный одобрительный хохот посадил перед собой; крепко троекратно поцеловал заплаканное, смеющееся лицо.

— Ура, ура-аа...

Задранные головы, распахнутые настежь рты.

— Кум Ермолай... Кум жа, дьявол те задери.

— Аа, мил дружка, сатоф яблочка.

— Грунька-то об тебе убивацца.

— Миша, Михал Иваныч... Сынка? Петю? — старухины глаза вспыхивали и потухали, ровно копеечные свечки под ветром. — Петю?..

Михал Иваныч — угреватый Мишка Зоб — рвал коню губы и пьяно кричал тетке Мавре:

— Маврушка... Петьку ищешь? Сына?.. Петьку Калабана?.. Душа вон. Упал парнишка, Мавра... Петька — друг до гроба... под Казанью упал.—Зоб в сердцах урезал пляшущую лошадь и ударил в переулок до дому.

Мавра покатилась:

— Петенька... Батюшки... У-ух... Ух...

Ледоплав голов. Песни разрывали широкий, теплый говор. Через главную улицу, через проулки, толпа хлестала в площадь, накатывалась на Клюквинский совет. Из края в край перекатывался человеческий гром, колыхал и рвал сонь городка.

— Подтяни-и-и-сь... Товарищи-и-и-и.

На площади закипал митинг. На исполкомском балконе, по кавалерийской привычке, широко расставив ноги, Капустин ребром ладони рубил встречный ветер, глазами вязал толпу, кричал в буран, будто спорил с ним:

— Земля в наших руках? В наших. Соколовски, Башкировски мельницы, пристаня? Все за нами. Кулаки, купцы, банкиры? Где они? Тю-тю. Вихрем пораскидало, огнем пожгло. В Сибирь утекли за белыми булками, за белыми пирогами...

Передние колыхнулись в хохоте:

— У них с нашего-то хлеба брюхо лупится.

— Верна!

— Ваша благородия, хо-хо...

По всей площади густой рябью потянул гогот. Стрельнул свист. Задние напирали, жались поближе. Спешившиеся партизаны в голых сапогах топтались на мерзлых кочках, грелись куревом. Вполголоса расспрашивали о том, о сем. Рассказывали свое, вчерашнее. Капустина слушали.

— Мужик востроголовый.

— Простецкий челъэк.

— Ну?..

— Пра.

— А в бою жоще нет.

— Енерал.

— Што и говорить, Капустин худого не попустит...

А Капустин кричал в пургу, в многоглазое, доверчиво-бородатое лицо:

— Без слободы жить нельзя... Заварили кашу, нáдо доваривать. Замахнулись — надо бить. Врагов у нас большие тыщи... В настоящий текущий момент вся Расея на дыбы взвилась. Держи-ись!.. Но, товарищи, за гриву не удержимся, — за хвост не удержаться.

С севера из рукавов лесных дорог сыпались обозы со штабами, ранеными. С далеких Уральских гор задирала сиверка. Остро пел жгучий крапива ветер. Хмурь тушила день. Садилось солнце на корень.

Ночью покой притихшего городка охраняли патрули. От скуки постреливали в далекое зернистое небо. Кованным шагом гулко били в мерзлые доски тротуаров. На базарной площади, на стыке трех больших улиц, радовался костер. Сонные дряблые лица огонь наливал дурной кровью. Мягкими лапами огонь щупал винтари, юхтовые подсумки, трепал полы шинели, пачками стреляли искры. Вяло вязались солдатские разговоры. Тут же разморенный жарой бедолага спал на подтаявших кочках: один кулак под голову сунет, другим оденется. Попыхивали закурки, по кругу из рук в руки переходили заявки — сорок и двадцать. В хомутах плеч мотались косматые папахи. Ржавыми гвоздями визжала обшивка лабазная.

— Накинь, Петров, накинь... Разгони тоску.

Петров крошил в костер трухлявые доски и переливчато с захлёбом чихал, припав на корточки, вертел закурку из приказа, сорванного с забора, затягивался и начинал гнуть:

— Гкха... В одной губернии, в одном селе жил-был поп... Было у нё ни мало, ни много шесть дочерей... Нагуляны дочки — пшеничный кусок... Поп не будь дурен, возьми, да и найми работника Чегалду... Ладно. И вот...

Сказка тонула в чугунном хохоте простуженных глоток. Из-за лесу лез рассвет. Старый солдат Онуфрий бодро отбивал часы на каланче.

Обтянутый серыми заборами город закипал с краев. Чуть светок — слободка на ногах. Гремели ведрами, галчили бабы у водопровода. Горбилась мукомольная мельница Башкирова-Соколова. Бок-о-бок макаронная фабрика и обувная механическая. К речке пятилась ткацкая. Швабры дыма месили золу облаков, гася последние звезды. С лесных болот задумчиво брела кисельная тумань. Мычал гудок депо. Откликался жиденький и дребезжащий с лесопилки. Дружно подхватывали мельничные и мощным ревом спугивали дрему утра. Ежась

от свежего холодка, торопливо бежали рабочие с узелками и мешочками. Перешучивались, переругивались не со зла.

Глаза в глаза с хлебным элеватором, в глухом тяжелом доме купца Савватея Гречихина под утро кончалось заседание ревкома. В густом накуре качались головы. Дубовый широкоспинный стол завален ломтями чёрного хлеба, огрызками колбасы, стаканы забиты окурками... Гильда протоколировала...

В соседней светлоглазой комнате лохматый сынишка купца Гречихина — Ефим Савватеич — ерошил густую гриву каштановых волос и карандашил пламенное воззвание к трудящимся Клюквинского уезда.

...Ефим — художник, артист, поэт. С молодых годов с отцом не в ладах жил; с молодых годов на чужой стороне скитался; громовое отцово проклятие на шее носил. Слобода подсекла старика под корень: две лавки отобрали, маслобойку, битюгов завод; рысака Голубчика среди бела дня со двора увели; родовые дедовы сундуки растрясли. Обида: удавился старик Гречихин. В медвяный апрельский день погребали его по старинному обычаю на дому с гнусавым многоголосым пеньем кулугурских попов. Желтым весенним днем пришел Ефим с клетчатым чемоданом на горбу: по родным местам стосковался, по сытному ржаному хлебу, по говяжьим щам, которые варить по-настоящему только на Волге и умеют. Крепко засел в угловой комнате, мотал отцовы дохи и столовое серебро; мазал картинки, лесовал с двустволкой (Клюквин в черном кольце глухих заволжских лесов). Переворот, чехи, мобилизация. Воевать Ефиму — не тае: артист, художник все-таки, сказал же Горький, — не годится ковать лошадь золотыми подковами. Перебрался на жительство в слободку к старому отцову приказчику Ивану Иванычу Хальзову. Скучно житьишко — целыми днями у окошечка торчал; спичкой в зубах 'поковыривал. От скуки и на собрание приказчичье пошел. Раз и другой. С Гильдой встретился, стакался. Шутя увела его за собой в подполье. Она была членом комитета. Ефим не знал этого; запросто принимал от нее поручения, перед ней и отчитывался; больше никого не знал. Вначале бесился.

— Чорт побери, ты доверяешь мне?

— Да.

— Почему же?..

— Ша! — ласково и властно глушила разговор.

Вся подобранная и свернутая, как аккуратная лошадь, она удивляла его своим льдистым спокойствием. И отчаянную стриженую голову и строгий смуглый профиль — когда-то византийские художники рисовали таких ангелов — всю ее любил Ефим и под ее стремительным твердым взглядом готов был с голыми кулаками лезть на всех богов, чертей. В Гильде мерцала память о рижской гимназии, о большом немецком театре, о прочитанных романах, аромат которых еще

не выдохся из сердца. Ефим — поэт, художник, и талант его, может быть, так же широк, как широки его плечи. Как можно не любить Ефима?.. Да и кто мог знать — не сформируется ли из него со временем боевой коммунист и пламенный трибун?..

...Он с азартом вызванивал воззвание, — искры из карандаша крошились. С папками и еще теплыми протоколами в руках вошла Гильда, заглянула через плечо:

— Ого, не думаешь ли ты писать целую поэму?

— Не беда, мужик большой разговор любит.

Упала в кресло, закрыла глаза:

— Устала, с ног валюсь...

— Что слышно, Гильдусенька?

— По фронту хорошо. На-днях исполком ждем. Пока мне поручено инструкторов и агитаторов вербовать.

— Вот как.

— Ефимчик, родненький, думаю, ты не откажешься к концу недели в деревню махнуть?

— В какую к чорту деревню? Зачем?

— Ну, объедешь три, четыре волости, агитнешь по перевыборам... Я на тебя очень, очень рассчитываю... так мало своих людей.

— Я бы не прочь, конечно, но видишь ли...

— Не беспокойся, инструкциями снабжу.

Оборвал строку, выворотил глаза, большие, задымленные недоумением:

— Я буду так скучать, так скучать... Пламенный вихрь...

— Подай в партком заявление; не могу, мол, ехать — влюблен.

— Хорошо, если ты настаиваешь, я поеду... Послушай вот.

Бойко размотал воззвание. Гильда расподдала во-всю: много эсеровской фразеологии — „свободный народ“, „сермяжное крестьянство“ — много непонятных слов; указала места, на которые нужно упереть, дала пару лозунгов и покатилась в сон, ровно в пропасть, полную черного пуха. Ефим обобрал строки, швырнул горячий карандаш и на цыпочках — к креслу. Крупно выписанные, пухлые губы тихонько окунул в русоголовый шелк:

— О, моя радостная песнь, жидким пламенем поцелуев я налью твою душу до краев, через края... Чарующим...

По коридору мерзлые копыта, в дверь по-деловому кулаком:

— Эй!.. Барышня-латышка тут проживают? На собранью.

— Фу, чорт, ти-ше...

В дверь обмерзшие моржевые усы:

— Барышня-латышка! В Бахрушинский дом на собранью... Целый час; наказанье господне...

Заборы ломились под тяжестью приказов:

„На военном. Строго, пьянство, грабежи, виновные, на основании, по законам, вплоть“... Дольше других задерживало воззвание:

„Товарищи и граждане, наш уезд — одна трудовая семья. Общие интересы. Мечта. Да здравствует. Все в коммуну". Оно было отпечатано в 20.000 и разослано по губернии „по печальному недоразумению", как на то последовало высочайшее разъяснение.

У клюквинских жителей, никогда не отличавшихся особенной отвагой, от этих самых приказов голова шла каруселью: зять не узнавал шурина, свекровь — невестку, сват — брата и, подозрительно озираясь друг на друга, торопливо разбегались по своим берлогам.

Единственный в городе авто круглые сутки считал ухабы: комендант, ревком, чека, вокзал, телеграф, ревком, чека. На базарной, теперь на площади Декабристов, митинг подвод: ржали, ревели, кричали. За город гужом с лесом, железом, коровьими тушами, буханками мерзлого хлеба — об эти солдатские булки топоры зубрились. Пересобаченные лошади в нитку вытягивались, хлопали кнуты и ругань. На речке Говнюшке поднимали уроненный белыми мост.

Первую неделю предприятия работали спустя рукава, митинговали, ждали твердой хозяйской руки, зычного голоса. В Народном доме ежедень — собранья и совещанья партийные, профессиональные, продработников: прели фракционно, секционно и объединенно. Вечерами танцы; вертели хвостами модницы, пялились галифе. Чуждые паркету и блеску люстр; как неприкаянные, нигде не находя места, из угла в угол уныло бродили мослы *) в затертых гимнастерках. Более образованные запросто зыбали махорку, харкали, вынюхивали падаль по ветру:

— Эх, вот ба...

— Кругло...

— Вроде разговеться.

— Эй, барышня!.. карамелька ледянистая...

— Какой приятный шарфик... Не из мериканского ли шелку, ха-ха!

— Оставьте, что за нахальство!..

Рев:

— Пардон... Успокойтесь сердечно.

— Ничего подобного... Ваше имячко?

— Леда... Отстаньте...

— Из-за чего вы такая сильно сердитая?

— У меня бабушка умерла.

— Умерла! Ну, и чорт с ней. Ха-ха-ха.

Любительский оркестр дерет, — в ушах звенит.

— Вальс... Вальс Грёза. Позвольте пригласить.

На казанскую торжественно в потоке музыки приплыл уисполком. Подводы с эвак-имуществом на квартал — связки дел, ободранные шкафы, столы, заржавленные машинистки, древние бухгалтера, жены ответственных. Ревком, исполкому — всю полноту власти.

---

*) Солдаты.

Машина на полный ход. С утра до темна со двора на двор комиссии по реквизиции излишков, обследование жилой площади, учету лиц, бежавших с белыми, регистрация домашнего скота и птицы; обыскам и розыскам, переписи населения „на предмет выдачи продкарточек“.

Улицы кувырком: Бондарная — Коммунистическая; Торговая — Красноармейская; Обжорный ряд — Советский. Вшивую площадь и ту припочли — сроду на ней галашня в орлянку резалась, вшей на солнышке били — площадь Парижской Коммуны. Зав. отделом управления, вчерашний телеграфист — тов. Пентюшкин, большой был искусник на такие штучки. Полуюноша, полупоэт, он всегда изнывал от желания творить... То подавал в чеку феерический проект о поголовном уничтожении белогвардейцев во всероссийском масштабе в трехдневный срок, то на заседании исполкома предлагал устроить неделю повального обыска, дабы изъять у обывателей излишки „мучицы, крупицы, сахарку и мануфактуры, несомненно запасенной на приданое дочкам“. Даже самые глухие и жителями забытые переулки — Запланный и Песочный — были им переименованы в Дарьяльской и Демократический. Последнее время Пентюшкин лихорадочно разрабатывал проект о новых, революционных фамилиях, которыми и думал наградить в первую очередь совслужащих, рабочих и красноармейцев. Он всегда боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил его идей, а потому, как всякий мечтатель, чрезвычайно неохотно посвящал в свои планы даже друзей.

Облезлые рожи купеческих магазинов лихо перечеркнули красные вывески: „Распределитель № 1“, „Склад Снабарма“, „Лавка Упродкома“, „Райрыба“.

На главных перекрестках, ровно столбы, вросли в землю милицейские. Большаком и проселками, дымя морозной пылью, как на пожар, поскакали инструктора, сотрудники, чекисты, нарядчики, продовольственники, курьеры и бравая уездная милиция, инструктированная своим начальником Зыковым: следить за слободой, бороться с самогонью и другие текущие дела. Тот же Зыков докладывал в отдел управления: „Всецело соблюдая нравственную сторону вверенных мне милиционеров и дабы привить им воспитательные качества, специальным приказом я отменил пагубную привычку к ругани“. Пентюшкин похвалил его.

Окно второе.

Над оврагом — деревня. В овраге — деревня. Недоезжа леса — деревня. Проезжа лес — деревня. На бугре — деревня. И за речкой — то ж. Богата серая Ресефесерия деревнями.

Зима люто вьюгами пенилась, стружку гнала, рыхлые горы городила, засыпала башку соломенную, под горшок стриженую. Снега вставали на дыбы. Метель гуляла отчаянно и беспросыпно, как распутная баба, зашибленная горем.

Хомутово село. Широко вразмет — избы: пятистенные, шатровые под тесом, под железом. Дворы крыты на-глухо, — сундуки. Ставни голубые, розовые, писульками. В привольных избах семейно, жарко, тараканов хоть лопатой греби. Киоты во весь угол. Картинки про войну, про муки адовы. И народ в селе жил крупный, чистый да разговорчивый.

В бывалошно времячко по воскресным да престольным праздникам село варилось в торжище, как яблоко в меду; красные товары, ссыпки хлебные, расписная посуда, ободья, дуги, деготь, жемки, пряники, гурты скота, степных лошадей косяки, рев, гам, божьба цыганская, гнус слепых и юродивых, карусель, казенка в два этажа, а шалманов и лимонадок не сосчитать — больше, чем вшей в солдатском гашнике... Первеющее было село из всей округи. И война миновала. Которые в городу на гранатный завод попрятались, а кои и совсем откупились — дома на оборону работали и хорошо работали: кажду весну бабы по одному да по два валяли, ровно блины пекли. Слобода хуже горькой неволи подсудобила: торговля хизнула, заглох большак, дела на убыль пошли.

И Капустин Иван Павлыч в Хомутове уродился. Сиротская его жизня была, скудная жизня. Матери не помнил, отца на японской кончили, и довелось с мальчишек конным пастухом бегать. Будучи парнем, у хохлов на хуторах ремеслу выучился и ушел в город. После ездили мужики купцу пшеницу сдавать и слыхали, будто Ванька в острог угодил, а за какие такие дела — толком никто не знал. Погодя видали его на пристанях — крюшничал, мешки няньчил и вроде гулял в Ермаковских рыбачьих артелях лета с два. В войну в дремучем Кудеяровом овраге урядник Кобелев накрыл шайку не то белых солдат, не то конокрадов, и Ванька с ними. Што были за люди, лешак их знает; болтали на селе всячину, да ведь есть, которы врут, ровно в заброд бредут по нижню губу, токо отфыркиваются; спаси и пронеси. В революцию без шапки и с разинутым ртом стояла деревня на распутьи новых дорог, боязливо крестилась, вестей ждала, смелела, орала, сучила комлистым кулаком:

— Земля... Слобода.

Как-то праздничным побытом на кровном рысаке купца Соколова припылил в Хомутово Иван Павлович, товарищ Капустин. Все так и ахнули. На сходке после поздней обедни рассказал, что есть он в жизни самый политический человек, давно революцией тайно занимался и всего неделю как вернулся из Сибирь-тайги. Жалостливые бабы сморкались в подолы, а мужики, которые его когда-то били за поругание над царем, валились в ноги, дремучими бородами вытирали пыль с сапог и Христом-богом молили простить, забыть. Крепкая мордовская кумышка поглушила все обиды. На радостях целую неделю отгуливались. На Красну Горку поехали мужики сеяться, а Ивана Павлыча выбрали делегатом на первый земельный съезд. Хомутовцы

гордились, что у них есть свой башковитый человек, вроде адвоката. Обещали ему избу срубить, земли выделить, а на престол отец Вениамин (мужики по простоте своей звали его Вынь-аминь) отзвонил благодарственный с акафистом за здравие страдальца и мученика за народ раба божия Иоанна. После Капустин скликал со всей волости Красную гвардию, водил ее на казаков, сколачивал комбеды, делил землю, веял по ветру душеньки кулацкие, судил и рядил, разводил и женил, крестил солдаткам ребятишек, дрался с чехами и теперь ворочал всем уездом.

В стороне от тракту, забросанное оврагами, лесами и болотами, проживало Урайкино село. В лесах — развалины раскольничьих скитов, пчельники, зверье. И урочищ стародавних немало: тут клык сожженного грозой дуба — старое становище разбойничье; там — Разин яр — богатые клады есть, сказывают старики, да понять их мудрено. У тех же стариков на памяти и церква выстроена, допрежь липе молились. Мордва, чуваши — трава дикая. В сонной одури, в густе мыка коровьего, в петушиных криках. Избы по-черному. Прялки-жужжалки, лучинушка, копоть, хиль, хлябь, домоткань, пестрядина. Редкая изба ржанину досыта ела, все больше на картошке. Ребятишки золотушные, вздутые заячьим писком:

— Ииисть!..

— Напасти на вас нет, окаянные, передохли бы, што ль. — Колотки по горбу.

Земля — неудобь: песок, глина, мочажина. Лошаденки вислоухие, маленькие, как мыши. Сохи дедовы... Работали мужики — в большие дни по великому обещанию; а то все дома валялись; в затылках скребли, чадили едучим куревом, табунами шлялись из избы в избу; разговоры разговаривали неприподъемные, угарные, как русская лень. Чугунку урайкинцы варили — проезжай все царства и республики — такой не найдешь: хватишь ковшик этой самой чугунки, и не отличишь пенька от матери родной. По праздникам одевали мужики цветные, радошные рубашки; после обедни люто напивались и дрались, норовя сперва разорвать друг на друге рубашку, а потом уже — по рылам; и баб под веселую руку колотили, чтя пословицу: „жена без грозы хуже козы". В долгие деревенские ночи бабы терпеливо мужиков ублажали, вскакивали до зари и до темного мотались и по дому, и в степь, и в лес, всяку работу через коленку гнули крутогрудые, налитые бабы: бурестой, трава дикая... В писаные лапти подобутое, лыком подпоясанное плутало Урайкино в лесах, да болотах. Точили его дожди, качали ветра.

На выкате из леса дремала Вязовка, раскольничье село толку молоканского. Чудно жили: не люди, а какое-то вылюдье. Звались братцами, ни Миколаю, ни Ермолаю ни одного солдата не дали. Обстоятельства крепкого. Замков, запоров не вешали. Народ все самостоятельный. Старики рассказывали, заедет, бывало, в Вязовку торгаш —

покупай, меняй, чего твоей душеньке угодно... Денежный ты челъэк — плати. Скудный — и скудному отказу нет. Вынет торгаш из кисета уголек, и у хозяина на столбе воротнем отметочку засекет: „столько-то за тобой, добрый человек; будут деньги — готовь к Покрову, не будут — подожду"... Старые времена — старые дела...

Хомутовская волость, проводив белых, на пашню кинулась: поднимали степь под яровины, перепахивали и засеивали баб. С Покрова до Михайлова дня деньки держались холодные и ясные, как стеклышко, на току хоть блоху дави, самое для молотьбы время..

Деревня на гумнах моталась до-темна, спала не разуваясь, с первыми петухами бежала на зады, торопливо крестилась на занимавшийся восход, на работу валилась дружно, — поту утереть некогда. Прожорливая молотилка полным ртом жевала снопы, только полога подставляй. Дробно драдракали цепы. Ошалело кружились лошади. Гикали охрипшие гоняльщики. Скрипели сытые воза. Обмолотилась деревня, в жарко-на-жаркой бане косточки распарила, хлебнула самогону ковш, — и устали — как не бывало.

Зашумели свадьбы.

Только и разговоров, что про посиделки, вечорки, смотрины. Там жених с товарищами двумя парами к невесте на девишник поехал; там большой запой. Гостей полны столы. На столах, по обычаю, щи мясные, мяса часть, лапша со свининой, сальники, курники, пироги — завались. Невеста со словом приветливым, да лаской обносит всех. Зевластые бабы рюмочки бойко пригубливают. Девки величают сваху:

Чаво наша сваха
Бела и румяна,
Бела да румяна
Еще черноброва.
Токо нашей свахе
При городе жити.
Торгом торговати,
Кумачом, китайкой...

Величают жениха с невестой, отца с матерью, деверьев, всю родню. За песни щедро сыплются похвалы и керенки. Бьются ленты в девичьих косах, рубят высокие голоса:

На Ванюше шапочка
Осистая, пушистая,
Пушистая
Наперед она
Навесистая,
Спереду ему
Очей не видать.
Эох, да сзаду
Плечей не видать...

Метет шалой бабий визг. Пьяный плетень разговоров.

Спозаранок жениховы посланные на тройках к невесте с повестью... В окна кнутовищем:

— Сбирайте, свахынька, сбирайте.

— Не торопите, купцы, не торопите.

— Все глаза проглядели, все жданки поели.

— Сбирам, сватушка, сбирам.

Невеста с утра вопила в голос. С уговорами, да прибаутками расплетали, чесали косыньку девичью. А там, чу, и поѐзжане катят, с боем выкупали ворота, выкупали косу, разрезали хлебы, с земным поклоном принимали благословенье и, помолившись, шумно вываливались на двор, где коренники и пристяжки, косся искрометным глазом, нетерпеливо переступали, тревожа бубенцы и колокольцы.

От венца — к молодому.

Свекор со свекровью, наряженные в вывороченные тулупы, встречают их в воротах, щедро обсыпая хмелем и житом. А коренная свашенька наливает молодым чарку всклень, приговаривает:

— Столько бы вам сынков, сколько в лесу пеньков, да столько дочек, сколько в болоте кочек... Награди вас, господь, мои голубятки.

На щеках у молодой бурно сгорает последний девичий стыд, а свекор-батюшка бороду поглаживает:

— Ы-ы, дочка, что тут рядиться... В избу айдате.

— Айдате и в избу.

— Перинку в двое рук взбивали... Уж так взбили, так взбили, что те пена бражная.

Под прибаутки и молитвы молодых провожают до постели.

С утра готов горный стол. По улицам радугой радуются свадебные поезда. Под дугой и под сердцем бубенцы. Ленты в гривах разливаются. В лентах, бумажных цветах орущее, ревущее и визжащее. Глиняные горшки бьют; орехи, пряники ребятишкам разбрасывают — молодым на счастье. Бабы, высоко задирая юбки, пляшут, платочками машут:

Я по цветикам ходила,
Я по аленьким,
По лазоревым...
Нини не нашла,
Нини нашла
Эх, ни нашла цветка алого,
Супроти свово милого...
Мой-от миленький хорош,
Чернобров, душа пригож,
Мне пода-арочек,
Подаарочек
Эх, мне подарочек принес,
Подарочек дорогой,
С руки перстень золотой.

Вечером всем аулом к молодой на яичницу. А там, глядишь и раз гонные щи недалеки. Гуляла сытая деревня, днями помахивала, ровно писанным подолом сарафана.

На Михайлов день Хомутово проскакали двое верховых — Карпушка Хохленков и Танек-Пронёк — то капустинские ребята воротились по домам. И старики от обедни шли, ворожили:

— Кто бы такее?

— Мотри, наши башибузуки...

— Ну-у?

— Пра.

— Не должно... Слушок был, вроде побили их.

— Где там, на таких псов и пропаду нет.

— Приехали...

— Лебеда-лабуда.

— Крапива, полынь горькая...

— Наведать надоть... Ведь он, Пронька-то, сукин сын, племяш родной.

Хохленков проскакал Нижний прогон и круто осадил перед своим двором. Лошадь с разбегу легонько ткнулась вспененной мордой в ворота, отороченые жестяными пряниками. Калитка расхлебянена, по двору ветер гонял курчонок, сено разбрылено, разбросаны грабли, валек, лагун дегтярный, дверь сенная на одной петле болталась — непорядок. Заметалось сердце в Карпушке. Горячую лошадь — под навес к сохе пристегнул, сам — в избу. Пахнуло затхлью, нежилью. С кровати из-под кучи тряпья стон:

— Кто это?..

— Здорово ли живете?..

— Карпуша!

— Аль не ждала?

— Хосподи, — соскочила с постели босая, укутанная полотенцем. Придерживала на груди дырявую рубашку, ловила мужнину руку поцеловать.

— Ложись, куда вскочила!.. Аль хвороба крутит?

— Не чаяла... Какое... Господи!..

Уложил, укрыл тулупом, присел на кровать... Заплакала-зарыдала: прорывались горькие жалобы на деверя, на брата, на всю родню: травили, проходу не давали, хлеб остался неубранным. Лысенка сдохла, Дуняшку скоронила, — ну, ни вздохнуть тебе, ни охнуть.

Огляделся Карп со свету — пустая изба. Кошка на шестке южит.

— Самовар где?

Только отмахнулась жена и залилась еще горше. В избу робко, ровно мышата, вшмыгнули Верка и Ониска. Держась друг за друга, нерешительно подошли к отцу.

— С мамкой тлясуцка, хволаит она...

— Дуняска умелла, залко...

Отец вышарил в кармане два куска сахару, вывалянные в махорке.

— Слетай-ка, сынок, к кузнецу: тятька, мол, самогону просит... живой ногой.

Подвыпил Карпушка, надел нову рубаху, пошел шурина бить.

У плотины, на взлобке, торчала косопузая избенка кузнеца. Сам Трофим Иваныч в позапрошлом году по пьяному делу в Гатном озере утонул. В осиротелой избенке осталось коротать век кузнечиха Евдоха с сынком Пронюшкой, — об них и разговор. Проньку еще покойник батя к кузнечеству приставил. Ухарь малый. Со свету до темна, бывало, в кузне железами гремел, огонь травил, орал. Завидный парень, девки за ним табуном. А Евдоха первой по селу повитухой слыла и шинкарством промышляла по тихой. Казаки, чехи — суматоха смыла сынка со двора. Нет и нет родного, ровно и не было. Ждала, ждала, под окошечком сидючи, все глазыньки выплакала... Приехал соколик, подъявился писанный и только это, господи благослови, взошел в избу, саблю на гвоздь повесил, с матерью за руку поздоровался и счас на иконы:

— Мамаша, убери с глаз.

Евдоху так и перепоясало:

— Да што ты, Пронюшка, али бусурманом стал!

— Убери, не могу спокойно переносить обману.

Ох, якар мар, не было сынка — горе, вернулся — вдвое. Ровно подменили его. Евдоха бутылку на стол. Выхлестал бутылку и опять — убери. Она еще одну. И эту кувыркнул Пронька.

— А пугала, мамаша, всецело убери. Сделай сыну уважение.

Она не согласна. Он — за саблю. Она — караул. Он — саблей по пугалам. Она — за дверь и еще — караул. Голанка топилась, выхватил Пронька головяшку, да за матерью родной через всю улицу людям на посмешище, бегёт, орёт:

— Я из те выкурю чертей-то.

А она бежит, бежит, да оглянется:

— Брось, сынок, брось, руку-то обожгешь... Материнское сердце.

Старуха на своем стояла и гнала сынка из дому. Он, как есть, ни в чем не уступал и препровождал ее на жительство в баню. Родные навалились на буяна, и оборотилось дело по-хорошему: сын остался жить в избе и матушка осталась в избе, а угол передний шалью занавесила. У сына сердце покойно — боги не тревожат. И матушке тоже — отдернет занавеску, помолится и опять скроет лики пречистые; есть боги, хоть и не в открытом виде, а есть.

В тот же вечер, когда приехал, на собрании речь рассказывал. До-темна выбирали Совет:

— Савела Зеленого пиши.

— Не, у меня домашность, — отбивался Савел.

— У всех домашность.

— Просим!..

— Коего лешева!..

— Вали, вали!..

— Согласу мово нет.

— Слыхали...

— Не жмись, кум, надо...

Утакали.

— Лупана пиши.

Лупан дурачком прикидывался:

— Што вы? Окститесь! Ништо я советчик. И считать только до десятка умею... Из меня советчик-то, как из хрена тяж.

— Эка, выворотил бесстыжу рожу...

— Вали, вали, просим!

— По-хорошему надоть, старики.

— Пришей кобыле хвост...

— Единогласно... Пиши его, дьявола...

— Лень-то матушка допрежь нас родилась...

И так с каждым.

Расходились по-темну, бережно подставляли вопросы новому временному председателю:

— Прокофий Трофимыч, про слободну торговлю в городу ничо хорошего не слыхать?

— Не соля живем, мука...

Оно какое дело, пустое дело — гвоздь, а нету гвоздя, садись и плачь.

— Проша, говорил ты даве вроде приччей — ми-ро-ва-я про-ле-та-ри-я... Нивдомек, к чему это слово сказано?.. Ни насчет ли отборки хлеба?..

Наказание Евдохе с сыном. От работы отбился, проклятый. Повадился в Совет шляться. С кой поры уйдет и дябет до ночи. А то выберет вечерок свободный — мать просвещать начнет. Чёрствая старуха, разны премудрости туго в голову лезли.

— Дурак, наговорил-наговорил, ровно киселя наварил, а есть — нечего.

— Плохо вникаешь, мамаша.

— У людей — то, у людей — сё, а у нас с тобой, чадушко, ничевошеньки... Даве муки на затевку заняла.

— Ерунда.

— Типун под язык, пес ты лохматый... Не нонче-завтра последнюю корову со двора утянут, тода и засвищешь... не стыдно с эдаким-то рылом?..

Ночами жарко молилась:

— Господи, господи, мати пресвятая, вразуми... — Или подсядет, бывало, на краешек сыновней постели, да и почнет в фартук сморкаться: — Сынок, образумься... Брось ты ривалюцией заниматься, в года уж вышел, жениться пора, хозяйство хизнуло, и обо мне, старой, подумать...

— Ерунда, — только и скажет сынок Пронюшка.

Корову свою Пронька назвал Тамарой.

На жолтом сахарном пакете:

Мандат.

...сего т. Ф. С. Великанов действительно командируется в революционные Хомутовскую и Белозерскую волости для руководства перевыборами сельсоветов и комбедов, а также разъяснять гражданам цели и задачи Сов. власти на местах... Полное доверие и всяческое содействие вплоть до прискательских подвод вне очереди.

Фильке Великанову под двадцать. За унылый рост и редкий голосок в слободке прозвали его Японцем. Филька-Японец пылен, дробен, костляв, как чахоня. Рыло с узелок. С малых лет в работу втянутый. Сезоны с отцом малярничал. Две зимы в приходской голыми пятками сверкал. Выгнали за озорство. С отцом — дружба врозь. Филька — к столяру Михал Степанычу Рытову. В скорости хозяин Рытов на своих же именинах политурой опился. Филька, имея в сердце беспокойство, и трешницу в кармане, с эшелоном сибиряков под Перемышль, — Крево, Молодечно. Команда разведчиков. Тах-тарарах. Георгий. Липовая нога. По чистой. Ду-ду. Пригрохал.

— Здорово, тятя!

Отец за печкой в гнезде вонючего тряпья гнил заживо. Слушал, слушал Филька охи его, тоска проняла. Купил мышьяку для крыс, самогонки банку:

— Пей, тятя, поправляйся.

Много ли слабому человеку надо? В мент сварило. Распушил Филька сундуки. Купил двухрядку саратовскую. В синей суконной поддевочке нараспашку, в лакировках вышел к воротам на скамейку. Развел гармонь, колокольчиком тряхнул:

Когда б имел златые горы
И реки полные вина...

Пришла послушать бойкая солдатка Дарья, да и осталась: поворотила к Фильке свои милости обильные. Притащила узел с добром, машину Зингер. Зажили гражданским. Дарьина родная тетка сболтнула „муфахтуры, с места не сойти, по шесть аршин дают"... Молодые — в Исполком.

— Где тут записывают?

— Женитесь?

— Так точно. Имеем страсть пожениться.

Мануфактуры, понятно, не дали. Но проходили не зря. Встретили Ларивоныча. Дьяк-расстрига, пьянчужка Ларивоныч, Фильке руку потряс и вдруг произнес:

— Как я заведую всеми вероисповеданиями и как помню твово батюшку...

На другой день нацепил Филька Георгия и в Исполком. Ларивоныч своей рукой прошение вычурил, нашептал Фильке на ухо и вдвоем — шасть в кабинет к нàбольшему.

— Вот-с, товарищ Капустин, глубокоуважаемый председатель, познакомьтесь... сын трудового ремесленника, увечный воин желает послужить народу. Подчерк подходящий...

Капустин взглянул на почерк, на Георгия, на жидкую рожицу в паутине мелкого волоса:

— Инструктором можешь быть?

— Так точно, могу.

Резолюция стрельнула по прошению с угла на угол: „Зачислить в штат разъездных инструкторов с 5/XI, испытание — срок две недели“.

...Накатанный большак крыла ямская пара. В просторах стыл извечный рассейский колокольчик. Филька кутался в реквизированный, выданный на поездку тулуп, поминутно щупал под собой новенький брезентовый портфель, туго набитый инструкциями, бойко расспрашивал исполкомского ямщика Петухова:

— И муки достать можно? А картошка почем? Молоко тоже страх люблю. А чехи, они — гады, всех их передушить придется, чтобы не приключилось у нас новой чепухи.

Ямщик спал и всю дорогу тянул: ууу-эээ, ууу-ыыы... На крутых шиблях тыкался носом в щиток, торопливо дергал вожжи, взбивал падающий на глаза собачий малахай, привстав, указывал кнутовищем:

— Во-он, во-о-о-н пошли!..

— Где? Чего?

От островка леса цепочкой тянулись серые. Тоненько лил льдистый ветер. Мел поземок, сумь. В снегах дымились теплые гнезда деревень.

— Зверья у нас развелось боле, чем скотины. Восейка у тестя на калде корову сожрали, одну требуху оставили... Во, прокляты.

По Хомутову вздулись огни.

В Исполкоме новый председатель Танек-Пронек дела разбирал. Чадила плошка-сальник. По полу валялись мужики, бесперечь зыбали, не торопясь переговаривались. Филька вошел и окостенелым языком еле выворотил:

— Ай-я, холодно у вас, насилу доехал... Здравствуйте, товарищи. Я из городу, инструктор стало-ть...

Веселый голос из угла:

— У нас холодно, а у вас, аль хрухта пушится?

— Н-да, он, этот мороз-от, сопли высушит...

Инструктор валенки у порога обивал. Голоса бубнили глухо, ровно сытые бóтала в ночном:

— С ковкой беда, жестель.

— Ковка ноне чево, и не говори.

— Ваш мандат, товарищ?

И еще кто-то вошел, крепко дверью хлопнул. Огонек в плошке дернулся и сгиб. Разживляли, разживляли — не тут-то было, сало выгорело. Филька с тревогой щупал одубевший нос, в темноте жаловался председателю:

— Собрание вот общее, согласно инструкции, да сала бы где гусиного раздобыть...

— Сала мы достанем, а насчет собрания надо подумать...

В дегтярной темноте угрюмо загалдели:

— Чего тут думать, на ночь глядя.

— Аль останный час живем — дня не будет?..

— Не выгонка, в сам деле.

— Выпча глаза...

— Ништо...

— Товарищ инструктор, а товарищ! Такое слово есть „глашатай" — к чему оно?

— Весь вечер жуем — не разжуем...

Председатель вел Фильку к попу ночевать.

— А утрось и собрание собьем, будьте уверены...

Покладистый, да разговорчивый поп Вынь-аминь, шелкову бороду на палец вил, ложечкой в стакане играл, бережненько вопросами обкладывал:

— Что в городе новенького, да как Англия с Францией?

Филька усердно уминал блинчики, ватрушки, крендельки... Протрясся с утра, а дорожный паек Дарье оставил: любовь — не хвост собачий. Булочки, варакушки хропал, пальцем эдак рассеянно по столу водил:

— Европа, она што ж?.. Европа, она, сука, извините, с буржуазеей заодно... Обязательно ее бить придется, иначе останемся мы при пиковом интересе.

Петухи давно отславили, морозные узоры светлели на окне, а Филька все вникал в инструкции, но туго. Азартно скреб под мышками, зло разбирало: и за чем эти европейские слова понатыканы? Чорт об них клыки раскрошит. Когда в комнатушку вошла поповна звать гостя к чаю, Филька спал за столом, уронив голову на непонятные бумаги.

Общим сходом два дня въедались в инструкции. Филька парился. Его обмороженный вздутый нос вызывал у мужиков смех. Спасибо Таньку-Проньку. От него инструктор узнал, как выбирать кандидатов, как давать высказываться, как голоса совать. Его неокрепший мальчишечий голос тонул в гаме:

— Товарищи крестьяне, товарищи крестьяне, прошу слова...

За три дня раскатил у попа сотню яиц, расплатился по твердым ценам, поехал в Вязовку.

Пути-дороженьки рассейские, ходить — не исходить вас, радоваться — не нарадоваться! Заворожили вы сердце мое бродяжье, юное, как огонь. Приплясывая, бежит оно в дали радошные. Любы мне и светлые кольца веселых озер, и ленивые развалы степей, и задумчивая прохлада мудрых лесов, и поля, поля пылающие аржаными пожарами. Любы мне и зимы, перекрытые лютыми морозами, любы и ярчатые весны, разматывающие яростные шелка. И когда-нибудь у придорожного костра, слушая цветную русскую песню, легко встречу свой последний смертный час!

•

В город Филька воротился в нагрузе. Дарья из саней в избу таскала мешки и мешочки, свертки и сверточки. Сам отгонял глазевших баб и мальчишек.

— Проходи, проходи, не выворачивай буркалы, узоров тут мало.

Чайничали втроем, Филька приветливо угощал подводчика:

— Кушай, товарищ, кушай. Советска власть, она... Теперь у нас дело пойдет... Кушай, ни бойся, сыр из немецких колонок.

Мужик поглядывал на привязанную под окнами лошадь, почтительно дул в блюдечко:

— Есть у нас на Мамычевых хуторах мельница немудряща. Да-а... Работала нефтой, до старого режиму работала. Оно по нонешним временам, к примеру сказать, поглядеть на ту нефту, и то нету. Да-а. Вот, товарищ, об чем вашу милость я хотел просить...

— Загляни недельки через две — поговорим.

— Пожалуста, товарищ.

Умылся Филька, переоделся и — вон. У исполкомского подвхода догнал его Ларивоныч. Пучок слов о том, пучок о сем, и к делу:

— Привез?

— Чо?

— Брось... валять, али не знаешь чего!

— Святой водички, што ль?

— Нету, божьей благодати!

— Нету, Ларивоныч. Пра, ей-бо! Вот те крест, икона, нету... Разрази меня, порази меня, солнышка красного не взвидать, сам капли в рот не брал...

Трудно было поверить Фильке насчет капли-то: рыло облуплено, глаза дурные и голос в багровых трещинах. Ядовитую слюну глонул дьяк, отрыгнул, плюнул инструктору на новый валенок:

— Ни совслужащий ты, а подлец. Порадел, как сыну родному, а ты саботажем и платишь. Тьфу, собачья огрыза!.. Тьфу, сукин сын!.. Тьфу, анафема!..

Уперев глаза в исполкомскую дверь, уклеенную обязательными постановлениями, Филька отслушал молча. Молча и уныло поглядел на облезлую дьякову спину и понурый полез в Организационно-инструкторский. Заву отрапортовал:

— Прибытие мое благополучное, поездка увенчана успехом, а што касается Ларивоныча, — словам его веры не давайте, будьте добры... Вышло у нас семейное недоразумение, и беспременно возымеет он желание меня съесть.

Зав оттолкнул его к секретарю, а секретарь и припер:

— Представьте доклад в письменной форме на предмет отчетности.

Филька и так, и сяк, и... об косяк, но все-таки не отвертелся — нужен доклад. В секретарской папке, облитой чернилами, вчитался в пару докладов на „предмет образца". Живой солдатской смекалкой вник.

Дома похмелился последней бутылкой и, выгнав Дарью (здраво рассуждая, что при сурьезном деле баба — болона), навалился на доклад. С пятницы, с обеда, и до понедельника писал, сопел и хмурился, не вставая с табуретки. Дарья по соседям ночевала. Не раз с плачем стучалась в дверь:

— Отопри, ирод, от людей срамота!

— Уйди.

— Дьявол, изба-то кой день не топлена...

— Уйди.

Два карандаша исписал. Утрясся доклад в пятьдесят листов с гаком. Вот его косточки:

Доклат вкрадце клюквинский инхармацеоный поддел.

„Первый параграф прибытія моево приезда В совецкое село хомутова тово же Уезда где пришлось мне сделать внушение все бурно кричали долой где и остался председателем мелник Утюгов зажиточный мельник но Мужик добродушный за власть стоит обеми ногами што и затвердило общество. Посыпался на миня рят Вопросов по оделению церькви и пришлось мне создать Вероисповеданье, А еще допросить о действеях испалкома за утекшый строк стоит ли на пласформе сове власти и трудово пролетареята да стоит. Я выбросил логунк ура воздражений не было и мы мирно разошлись по домам. Хорошо поуженав я улекси спать на чем и закончелся первый парадраф тикущева дня.

„А за утро хорошо позавтрекав и забраф порфель Иду на митенк по крестянки сказать на схотку где все бурно кричали долой. Я поинтересовалси изчево такая ярманка Один старик все крики согласно инструкцеи по перевыборам в камбет куда имеет страсть прорваца кузнец Танек Пронек этот каковой номер ему не праходит все против а из за чево против. На каком то празнике настоящей кузнец Всенародно и Откровено поносил божественую силу и простой нарот от нево всецело откачнулса и вдрук подают мне резалюцею прямова смысла".

К докладу то ли жеванным хлебом, то ли соплями инструктора приклеена резолюция общего собрания хомутовцев:

„Заслушав в порядке дня вопрос серьезного разрешения о контрибуции и выборах Комбеда, в котором матевируется к руководству взыскать к 1 декабрю с капитал-кулаков, капитал-спекулянтов и т. д. Принимая во внимание, что капитал-буржуев у нас нет, а священник о. Виниамин бедного состояния — отказать во всей сумме, также всем обществом, согласно твердо выраженной воли огромного большинства населения, отказаться от Комитета Бедноты, нужды в каковом не испытываем...

Председатель *Утюгов*

Секретарь *Куньчин*

И дальше:

„Испросив себе своего законава слова я гаварю безконтребуцеи невозможно и бес комбеда обратно невозможно раз по всем городам и деревням руским кроет контребуцея и комбеды невозможно штоп хомутово было на отличку. Крупный завернулся спор где и пришлось выбрать присидателем честь и гордость славной красармеец Карпуха Топорков секлетарем к нему Тихон иваныч фамилью не упомню. С пеньем похоронава марша разошлис мы миролюбиво по домам, а ищо така штука согласно постановления президюма проживал я у попа и за все седено выпито уплатил по твердым ценам об чем можете справитца по почте или телеграфу. Хорошо поуженав уснул я как удавленный.

„А утром потребовал лошадей получче и пришлось мне уехать в Вязовку неизвесной волости где меня приветливо и добродушно встретили честь и слава краса и гордость прекрасный товарищ Савоськин да знакомый крестьянин из простонародья Яков Карягин кулугурского вероисповеданья. Повели меня вновь — народный дом под заглавием Улыбка слободы или театр деревенскава развлечения с безплатным входом где повстречался в пьяном виде продагент печальный товарищ Синичкин и начел проверять у меня мандат на каком основании нанес мне политические побои горько и обидно арестовал меня Я как солдат врешь думаю не подамся и заарестовал его шкурника позорящево под корень нашу драгоценную власть.

„Ночь оба просидели в тужиловке а утром прихватив милицанера Акима Сабакина пошли мы с обыском к кулугуру товарищу Карягину где после тщетных усилий нашли ведро кумышки нашли в печке загримировано заслонкой. Сын Карягина имя не упомню расказал в старом коперативе открылся вновь народный дом. А старики против поголовно ночью взломав дверь залезли в вышеозначенный нардом ободрали шпалеры лавки переломали

до одной, громофон топором посекли и девок актерок тоесь актрис черезо всю деревню нехорошими словами величают Все кулугуры и безразлично молокане не обращая внимания на Совласть крепко за Бога господа держутса, а вчера чтобы умилостивить сажали стариков в первый ряд на мяхки стулья, артистам на сцене было запрещено целовотся а што будет ни знай.

„Старик Карягин клялси божилси буто пожертвовал в нардом на вывеску стару дойницу а кумышку накурил на торжественное употребление по случаю женитьбы меньшака. Ни откладывая устроили мы с Акимом вдвоем собрание и порешили передать ее в Исполком под расписку. Посуда не виновата посуду воротить хозяину наглядевшись на ево мученические слезы на первый раз спустить а в нарсуд передать уголовное дознание о подломе замка в нардоме.

„Да здравствует нардом в котором днем ребятишки плохо учутса дров нет, а село степное к примеру кнутника взять негде воровать казенный лес крестьяне не подписывзютса и учитель хочет наниматьса в больницу фельшером который голубятник упал с крыши и разбился в дребезги. В школе крызис в полном смысле окны паутиной подернуло двери выломаны и даже убитого гражданина мешочника подкинули в ту школу тоесть в училище. Продагента печального това Ласточкина ни довелось мне увидать и внушить а чека обязана взять его на заметку за подрыв под корень. Доношу в тот же день в Вязовке состоялся Чемпиен Китанический бой побоище. И старики и молодеж дрались полюбя но горячка возвышалась до кольев и поленьев побитых и покалеченых ураган. Спрашиваю из чего увечите друг дружку с плачем отвечают обычай у нас милый человек не нами заведен не нами и кончится.

„А я так думаю от деревенской темноты это на них наслано выходит что деревенскый дурак в десять раз дурее городскова потому хотя бои и вгороде есть но когда наши слободские режут терзают и всячески убивают соплевских и дубровских ребят это уж будет не бой а драка каковая и при старом режиме каралась всеми статьями уголовного закона. Прошу и низко кланяюсь нашему хвала и гордость товарищу Капустину громыхнуть декретом в трезвом виде драки тяжелыми предметами запрещаютса. Время провел я в селе очен весело и множество народа как мужиков так и баб высыпало на улицу провожат меня и хором жалосливо спели похороный марш в честь моего отъезда.

„Имея порыв заехать в комуну графа Орла Давыдова до нитки разграбленую неизвесными личностями к великой жалости мне проведать не удалось и дурак ямщик с пьяных глаз завез меня в деревню Урайки но с мордовским народонаселением бедного состояния и пришлось мне собрать схот.

„— Есть у вас Совет?

„— Нету.

„— Есть комбед?

„— Тоже самое.

„— Чево же у вас есть?

„— Ничево товарищ нет. Ржанину пополам с мякиной едим, на пять дворов одна лошаденка, мука мученска задавила нас.

„— Я вам помогу...

„И пришлось собрать всех грамотных человек десять и выбрал я из них приседателя и секлетаря остальных назначил членами и объявил о присоединении ихой деревни к прочей Советросии. Бабы давай плакать, мужики креститса, а приседатель солдат Судьбищин закрутил ус смеется ни робей православные помирать так всем вместе и открытым голосованьем порешили в мою честь переназвать Урайкино в Великановку деревню с чем и поздравили. Тогда пришлось мне тряхнуть порфелем и вытащить инструкцею о комбеде...“

Дальше больше — лопатой не провернешь.

Напрасно старался Филька, напрасно пот точил, не вставая с табуретки с пятницы, с обеда, и до понедельника. Горько и обидно вытряхнули его из инструкторского тулупа, на краткосрочные курсы сунули... Три месяца, даром, что краткосрочные, а тут — распалится сердце — в день сколько можно делов наделать! Не показались Фильке курсы — чепуха, а не курсы.

Прописался Филька в партию, умырнул Филька в чеку.

Ингá.

Рассказ.

Вл. Лидин.

Утром на берег пришел бегун. Озеро было в тумане. Весна шла близко. Бегун сел на берегу, сложил дудочкой губы, стал дудеть неспеша, похлопывая ладошкой. Большие волны шли по Синь-озеру. У бегуна лицо перетянуто было морщинками, как яблочко; был безбород он, безус, дудел тоненько. Утки не прилетели еще на весну с теплых мест. Один длинноносый кроншнеп, первый наверное, пипикнул в камышах, вылетел, увидел человека и пошел, вопя, носиться над озером. Бегун сидел на берегу, гудел вдовьим голоском, ждал перевоза. Шел он болотами, тундрой три дня. Перевоз пришел в полдень. Волны катились через плот, на плоту стоял Емша, правил веслом.

— Давно прибыл?

Бегун ответил:

— Поутру.

Он взялся за весло, подтянул к берегу плот, сейчас же волна тяжело омыла его по-колени. Седые редкие волоски росли у Емши из щек; морщины, промятый его нос — закаменели; было ему тысяча лет; был он, как каменный идол лопарей, — выбивали на красном граните Колы идолов лопари. Скоро скрыл туман берег. В Синь-озере плыли, как в море, стоя на плоту.

— Большая вода прибыла, — сказал Емша. — Что земля?

Бегун ответил:

— Горит земля.

Крепко надо было стоять на плоту, расставив ноги, чтобы не сбила волна.

— Бушует Синь-озеро, — опять сказал Емша, — третий день бушует. Вчера вышли браты на рыбу, не идет рыба, глубоко забилась.

Дальше плыли в тумане, тяжелое море ходило в тумане, лежало Синь-озеро на тридцать верст, широко разлилось по Коле.

— Дошел до Колы — пожар, — опять сказал бегун, — крепок камень Колы, и камень горит. Уходить надо братьям, в тундру итти,

к самоедам. Придут люди с земли, все разорят. Лопарей сбесили, в советы лопарей выбирают.

И опять молчали.

— Худо скопцам, пришла беда. Жили монастырем, за тридевять земель от людей ушли, сюда идут люди.

Море, море шумит. Шумит весною Синь-озеро. Большая сила идет по озеру, и прячутся по камышам первые узконосые кроншнепы. Несут ветры северную, пронзительную весну. Снова сказал Емша:

— Придут охотники, затравят дичь. Не для охотников красоту братья растили. Наша добыча — мы нашли, мы и выростили. В вере кто дитё воспитал, кто лопарям за дитё рыбой платил? Мы платили, скопцы платили. С норвежцами баба на океан пришла, отбилась баба от норвежцев, дитё на берегу родила, а чье дитё, кто отец? Лопари подобрали, мы откупили, воспитали дитё. Не отдадим красоту.

Заговорили на плоту в голос скопцы:

— Уходить в тундру надо. Велика Кола, уйдем в тундру, от людей уйдем. Горит земля, уйдем от пожара.

И берег в тумане стал виден. Берег мережил в тумане, волны бились о берег. Стояли на берегу скопцы, ждали бегуна. Крепко сели на озеро скопцы, двадцать два года жили, рыбачили, зверем промышляли, померли старые скопцы — Никон, Ефрем, Сирин райскоголосый, один Емша остался. Емше тысяча лет; Емша сторожит братву̂; Емша — старшо̂й, и Емше за хозяйкой досматривать каменным взором. Хорошо красота взошла на тундре, на мхах, на красном камне Колы, — восемнадцать девичьих лет: и глаза — пепел над углем, и косы — серебро, как плавники рыбы. Отбилась от норвежцев баба на берегу, приняла у бабы лопарка дитё, померла баба на диком берегу океанском, имя дитю завещала — Инга̀.

Стоит Инга̀ с братьями на берегу, руки сложила на груди, рослая стала, самому Емше по-плечи; глядит, как птица, и с птицами песни поет в лесу, свои песни, без слов песни, как песни птичьи. И, как птица прирученная, кротка Инга́, лишнего слова не скажет и глаз не поднимет. В полярные зимы стылые много рассказывает братьям Емша о делах старинных, о том, как пришли на Колу, на голый камень, первые люди, приметам звериным приучает, зимою ставят братья силки по следам, самоловы, и верши под лед опускают, — слушает Инга́, прядет пряжу, шерсть сваливает на рукавицы, бегут, бегут белые пальцы, и много еще говорит Емша ей особо:

— Живет человек на земле не на радость другому. Зверь человек человеку, все вкруг себя осквернит да истопчет, — оттого ушли братья от людей, живут братья по своему закону, будет жить с братьями Инга̀, будет одной хозяйкой на братьев, будет сестра — братьям. О чем поют птицы в лесу? Для чего высовывают рыбы в тишину из воды круглые головы? Славят птицы, славит зверь — тишину нечеловеческую.

Тяжело говорит Емша вечерами, и слова его, как круглые камни, несут горные реки кругляки, обтачивают один о другой. Зимой уходят братья на лыжах в горы, пасут оленей на мхах; завален зимою мир снегом и стылью вековою, и стоит зимой Ингá на пороге, слушает снеговую тишину; смотрят в тишину, в мир, в снег покойно серые глаза. И серая белка пушится на ней, много приносят братья зимою ей белки, ведут они охоту на зверя, и принес раз бегун ей дымчатого голубого зверя, о котором мечтают лишь женщины на земле,— голубого прекрасного песца.

В вёсны отходит снеговая тишина. В вёсны ломает на озере лед, ночи и дни гремит и взывает озеро в стылые небеса; и вот под ржавью весны трогаются снега, наливаются зеленой водою, и с грохотом свергаются с гор ручьи; всю зиму неслись они вниз под ледяными панцырями, теперь ломает глыбами лед, крушит его и бьет, и гулы, и грохот, и весенние вздохи океана, и незнаемые голоса тревожат и рвут, и терзают мир. И вот стоит уже озеро в пáрном тумане, примят еще и оливково-тускл мох, и первыми прилетают длинноносые пронзительные кроншнепы. Они носятся со свистом над озером, они подзывают из теплых стран тяжелодумных гусей и уток, и силами новой жизни наливается земля. Еще одна весна пролилась в крови; стоит Ингá на пороге — и серые глаза, как уголь под пеплом, смотрят на мир, набухающий жизнью, и желты и тихи, как мыши, братья весною, неслышно проходят они по мху и говорят кротко:

— Здравствуй, Ингá. Как спала, Ингá, нынче? Дорогой зверь приходил ночью к дому, россомаха пришла, оставила следы и ушла.

И сходятся братья — своим советом; ничего не говорят ей о том, шумит чем земля; это их — братьев — забота, и старший в совете Емша. Говорит бегун на совете:

— Идет гоненье на веру на земле, именем антихриста правится земля людьми, разогнали люди братьев-христоносов, и белые братья ушли в леса. Пора, пора скопцам уходить в тундру, на север, за лопарями. Близко горит земля.

Белый туман над озером, шумит озеро, как в прибой, и снятся тысячелетние сны — тундре, кольскому камню, многоверстым озерам и шумящей, шумящей тайге. Живут братья — поселком, а уйти от поселка если, стать на высокий камень, забытый на пути ледниками, — и нет словно вблизи жилья человеческого: звериная тишина и спады шумят, — и тогда холодеет лицо от ветров, холодеет кожа Ингù. Стоит на камне Ингá, и ветер весны рвется под мех, холодит сердце, и, стылая, ходит медленно кровь.

И ночами так же на камне стоит зверь. Это рыжий, тяжелый волк; близко бродят волки округ жилья человеческого, наголодались за зиму; и волк стоит на камне и слушает тишину. Бока его — поджары, хвост зажат между ног; поставив уши, слушает зверь, шевелит носом — и слышит зверь за десятки верст: идут люди тундрой, кони

храпят, и пóтом пахнет лошадиным, и духом человеческим. И тогда щемить начинает тоскою звериное сердце, тогда садится на зад матёрый огромный волк и воет звериной тоскою, от которой ворочаются люди с бока на бок и не могут уснуть. И говорит бегуну ночью Емша:

— Крепко беспокоиться стал зверь по ночам. Близки люди. Люди придут — траву истопчут, цвет изомнут голубиный.

Ночью затепляет бегун свет, идет на другую он половину, смотрит: полыхает свет по стенам, спит Ингà, спокоен сон, и белая рука лежит поверх. И отвечает, вернувшись:

— Гремят громы, полыхает земля. Бери, Емша, голубицу, уходи пока озером, к лопарям уходи. Чист лед и звонок, одних братьев знает Ингá, и с братьями век поделит. Для себя растили, не для других растили. Не осквернят Ингý люди, с братьями должна в чистоте итти, богородица наша.

Встал на колени, личико в морщинках лайковых запрокинул, заговорил голосом овечьим, высоким:

— Днесь, днесь, богородица,
Голубица наша,
Непорочная чаша.
Днесь ликуй, богородица,
Славься!..

И пониже — всхлипом бараньим — вторил в ночи Емша:

— Славься, дева,
Пречистая, пресвятая,
Матерь премудрая,
Славься!..

Спит Ингá белым стеклянным сном, руку холодную на грудь положила. Братьев тонкоголосых, да росную весеннюю сырь, да камень красный гранитный — знает. И о людях знает — живут люди на земле, и грех человеческий — тверже камня; горит земля под людьми, горит камень.— Спят братья в лесных домах, глух север, на полсотню верст проезжий лопарь не заедет, — и уходит боком от жилья человеческого волк, бежит трусцой, хвост зажал между ног и подвывает: голодно зверю в ночи, и чует зверь в ночи человека.

Ночуют люди за три десятка верст; шли весь день переходом стоверстным, теперь лежат на земле, низко дымят костры, и курчавится мох в огне. Вечером добыли языкà люди: сидит лопарь у огня, колено руками обхватил, смотрят черные глаза на огонь, и качается лопарь из стороны в сторону. И смотрит в глаза лопарю человек; ус светлый рукою щиплет, допрашивает лопаря неспеша, крепко пропахнул сам за три дня перехода конским пóтом да мокрою сыромятью. Спрашивает лопаря человек:

— Люди не проходили краем, на Колу не подавались люди? Шинели английские должны быть на людях, оружия много захватили с собою, когда поднимали восстание. Теперь смирéн город, ушли вожаки на север, на тундру подались, к океану пробиваются. Пусть все тропы проезжие укажет лопарь, какие есть тропы мхом и болотами.

Отвечает лопарь:

— Две тропы есть на север. Идет одна на увал, большой камень одолеть надо, много рек горных, и другая тропа есть — болотами, озеро на пути лежит, живут за озером братья, тринадцать братьев; дальше братья на север лучше дорогу знают.

Говорит человек:

— Какие братья живут, говоришь?

Говорит лопарь:

— Тринадцать братьев святых живет, у тринадцати братьев одна богородица. Нет богородицы краше женщины на свете. Лед не светлее, день не ярче.

Дрогнул вдруг костровый огонек в глазу человеческом, живым заиграл; говорит человек:

— Знаем мы молокан да хлыстов этих. Беглым приют дают: на братву эту путь и держат. Ладно, лопарь, веди утром на братьев. Смотри, на тропу не выведешь, в засаду подведешь — первому тебе пуля приготовлена.

Молчит лопарь, смотрит на огонь, качается из стороны в сторону. Говорит еще человек:

— Красные есть, и белые есть. Слышал про это?

Смотрит лопарь на огонь, качается: — Мох весною — зеленый, по осени — серый мох. Небо зимою — низко, летом — высоко небо. О чем знает лопарь? Как зверя обойти — знает, как на рыбу наметку пускать — знает. Ничего больше не знает лопарь.

Стоят люди кругом, смотрят на лопаря — весь, как идол, он, в черном волосе, руки ниже колен, если встанет, и шишаками череп, словно в земле пролежал векá — древний череп древнего человека. Говорит человек:

— Ну, так слушай, если не притворяешься. Белые в городе восстание подняли, народ перебили наш, ушли главари на север. Красные мы, идем главарей искать, понял? Я — начальник отряда, Бояринов. Изменишь, заведешь, пулю всажу в затылок, не пожалею. Понял?

Молчит лопарь, все раскачивается, глядит на огонь; мяса дали, жадно стал есть, руками рвал, сало о волосы вытер. И дремлют люди в ночи; дремлет лопарь, колено обхватил, к дереву прислонился; дремлет Бояринов у огня, ус светлый щипать устал; лошади дремлют; и мир ночной, предвесенний, дремлет, да первый куличок жмется в тумане над озером меж камышей. Камни, сны, векà.

Лежит поутру в тумане Синь-озеро. Низки облака, сильнее гонит их западный ветер. И гонит западный ветер большую волну

по озеру. Плещется оно и бьется о берег, и клонится, клонится над берегом камыш. Утром выходит бегун из дома, идет к озеру бегун, долго стоит над водою и слушает. Плещется озеро, и краснеет от ветра лицо бегуна, в мелкие морщинки собирает его он, и другие братья выходят из домов. Сильно выл волк ночью, близки люди. Сходятся братья к Емше, говорят Емше на совете:

— Бери богородицу, Емша, вези с собой через озеро, близки люди. По-за-озером к лопарям выйдешь, пусть братьев поджидают лопари, привезут братья много рыбы и соли, и оленины вяленой. Трогайся, Емша, в ȍполдень, увози голубицу, береги голубицу, Емша.

И в полдень идут братья, идет Ингà, идет Емша к озеру. Качает волна у берега плот, бьет о берег. Всходит Емша на плот, берет весло. Надевает бегун на ноги Ингѝ высокие сапоги мужские, зыблет и пушит серую белку на ней западный ветер, и становится тоже на плот рядом с Емшой Ингà, глядят спокойно серые спящие глаза округ, и разом взмывает волна и с шумом бежит через плот, обвивает ноги, и вот уж на озере плот, медленно идет он в тумане, становятся братья на берегу на колени, вздевают руки к несомым северным облакам, и поют братья овечьими голосами, точно голосит стадо:

— Богородица, дева,
Голубица белая,
Голубица прекрасная,
Славься!..

И дальше все уплывает плот, увозит в тундру, в полярную тишину Емша богородицу. Шумит, шумит озеро, бьется о берег и прядает. Не должен человек увидеть богородичный лик голубиный, — и расходится понемногу туман. Вот голубеет меж туч синее слабое небо, голубеет Синь-озеро, и видят люди на берегу, видит светлоусый человек на берегу, как плывет по озеру плот, стоит на плоту старик вышиною с сосну, и стоит со стариком на плоту женщина в белке, стоит женщина такой красоты неразгаданной, что и во сне не приснится, и смотрят мимо, не видя, серые глаза спокойствия лесного. Говорит человеку лопарь:

— Увозит Емша богородицу, от людей увозит, за камни увозит...

Тогда бежит по берегу человек, кричит человек, и люди скачут по берегу:

— Гей, старик, стой!.. Греби к берегу. Стрелять будем! Греби к берегу, говорят.

Но правит дальше Емша, словно не видит людей, головы к людям не повернул, глядит на людей женщина дико, и бухает выстрел над озером, разбивает стекло тишины, и дальше несет выстрел по камню Колы и женский уносит крик, как крик птицы, подбитой охотником. И тогда кричит Бояринов тоже, он стоит на берегу, раздвигает рукою камыш и кричит людям: — Женщину не троньте! — и опять бухает

выстрел; а плот все плывет и плывет, он уходит далеко по озеру, как видение; — и вот опять набежали облака, опять седоватая мга ложится над озером, и люди на берегу остаются во мге. И тогда говорит вдруг Бояринов незнаемым голосом:

— Плот, товарищи! Вязать плот.

Полдня вяжут люди на берегу плот. Стучат топоры, рушатся деревья о землю, бьют люди с плеча; к вечеру синеет Синь-озеро, тише западный ветер, и волны не заливают плота.

— К утру обойти озеро. Дожидаться меня в скиту. Из братвы ни одного не выпускать, пока не вернусь.— Теперь стоит на плоту Бояринов с лопарем; хохлится лопарь, ноги кривые расставил. Мокнет свежее дерево, и тяжело уходит плот в вечер, в черноватую озерную синь.

Всю ночь идут люди в обход, всю ночь фыркают кони, скрипят кожей подкрыльев, и утром приходят люди в поселок. Пуст поселок, раскрыты дома, ушла братия из домов, один мох истоптанный, чешуя рыбья да грубая утварь... И всю ночь правит плотом лопарь, колышет в апрельской черной ночи плот, и утром, в мороке, видны берега. Далеко в мороке видны берега, как край заморской земли. За ночь застыл Бояринов, застоялся, и видит у берега он — другой плот досчатый. Крепче сжимает рука мокрую кобуру, правит на плот лопарь, — и вот земля, красные срывы гранита и мох; столетние лишайники курчавят землю.

Сходит лопарь на берег, смотрит мох, раздвигает пальцами мох, идет следом. Далеко за ночь ушел старик, много надо итти по увалу, лишайник да камень, тяжелее все режут плечи ремни походных мешков. Далеко уходит великая Кола, кольский камень и мхи, и быстролетные реки, и синие просторы на океан. Весь день идут люди, устал лопарь, два раза припал к земле, едят они тогда на привале сухой хлеб и вяленую треску и запивают водой родников. Серо лицо лопаря, и только запавшие черные глаза под лобными углами, как у идола, не скажет ни о чем; к вечеру приводит лопарь на болото. Болото лежит на версты, оно отблескивает тусклой водой, как слюдою. Здесь останавливается лопарь и ищет след. Он идет по болоту налево, уходит на версты, и на версты возвращается он назад, — нет следа на болоте, кончены здесь следы человечьи: может быть, на восток ушел, через реки, Емша; может быть, в тундру: старше Емша его и больше знает дорог. Тогда садится Бояринов на камень; лицо его тоже в смертной бледноте, он говорит лопарю:

— Назад не вернусь. Пока не найду старика, не вернусь. Не позволю женщину похищать. Другие пошли законы. Наши законы пошли, понял?

Молчит лопарь, к ночлегу готовится. Мешок под голову подложил.

— Спи крепче, боярин. Утром пойдем искать новый след. Водит старик лопаря, слово знает.

Сырая ночь весны стынет в костях, к камню туже прижался Бояринов, сам камнем стал на пути. Послали отряд по следам старика захватить — укажет следы, знают скопцы да хлысты лесную хитрость, постращать крепче — сразу на след наведет. И спят камни в ночи.

Утром просыпается Бояринов, связал холод тело, руку не выпростать. Сел, наконец, огляделся. Дымится болото туманом, нет лопаря: опять пошел, верно, след искать. И увидел еще вдруг — нет мешка его походного под головой, мох под щекою на камень настлан. Ушел лопарь, изменил, унес с собою мешки. Туман да пустыня. Вóйны проходил, смерть видел трижды, всего бояться отвык; тут одиночество вдруг в пустыне захватило.

Минуту себя собирал, дрожь утреннюю унимал, сердце стискивал. Стиснул, наконец: опять размеренно работает сердце, мозг холоден, холодная воля лежит в застынувших мышцах. По следу вернуться на озеро. Опять на плоту пробраться назад, в скит. Перестрелять всю братву, если не скажут правды, не укажут пути. Узнать, допытать, тридцать два года его хорошо обточены жизнью, лежат покойно на плечах. Авось, живуча братва, петли не захочет. Псалмы только петь, да хитрить с человеком. А человек — волка живучее, хитрее лисы. Лопаря бы найти, погладить из нагана за измену как следует. Шел по следу, как лопарь вчера шел. Мерно шел, не спешил, не торопил себя.

...К вечеру привел Ингу к лопарям Емша. Стояли становищем лопари. Двигались дальше, на мхи, с оленями. Ночью спала Ингà в шалаше лопарском, сторожил Емша сон голубиный, под утро пришел лопарь, принес с добычей мешки, рассказал — остался в пустыне человек, надо сниматься лопарям, уходить на север. Утром собирали шалаши лопари, запрягали оленей, и утром ушла на озеро Ингà, проститься с озером, много песен пело ей озеро, и много птичьих песен пела вечерами она... Дует шалоник — западный ветер,— раздирает облака, строгает воду.

И к полдню — за увалом — увидел Бояринов синее жидкое море; бежит на берег волна, шумит просторно Синь-озеро, и ветер легкий, как с моря. Ушел человек из пустыни, не выдал глаз, не заблудила память. Легко итти по увалу, несут натруженные ноги, сбегал вниз камнями, плот высматривал — не угнал ли лопарь плоты. И стал вдруг. Стал на-лету, только камень мелкий посыпался: стоит женщина на берегу, руки в рукава беличьи, и ветер серебром играет волос, — как вчера на плоту стояла. Стоял на увале, рука к кобуре привычно тянулась, оглядывался — никого нет округ. И сорвался прыжком. Смотрит женщина, не крикнула, не побежала; налились только глаза серизною такою, миры словно в них затонули. Восемнадцать лет голубиных берегли братья от взгляда человеческого. Теперь глядел человек, дерзко глядел, смело глядел, Емши не ниже, и усы над губою светлые. Видела братьев одних за всю свою жизнь, смотрела Ингà на человека, был весь он, как крепкий зверь, и быстро говорил человек ей:

— Здоровая девка ты, в озеро на себя погляди. С стариками да братанами хороводишься, юродство одно, какая ты богородица! Пропадет в лесах бабий твой век, ссохнешься, как кора. Ты на нас погляди, и мы люди с грехом, не хуже твоих братанòв, по земле ходим. Большая жизнь идет по земле, до лесов даже расплеснулась до ваших. Весело жить на земле, и любить на земле хорошо, крепко любить и в губы целовать крепко.

Говорил со смешком, и в глаза все смотрел: в дикие, прекрасные глаза лесные; и смотрели лесные глаза на невиданного человека незаезжего, одни лопари приходили — братья да лопари, — и весною полной полдень лился, широко в Синь-озере запрокинулся.

...Увел Ингу́ с пустынного Кольского берега человек, колыхало плот озеро, и не правил плотом Бояринов, прибивало плот к берегам, там сходили на берега, и смотрела на берегах лесовичка в глаза человека, были глаза человека сильнее звериных глаз, и были руки у человека неотымны, как водяные корчаги, и силой весеннею день голубел, и носился над озером и кричал пронзительное свое: — пи-пи-пии — первый хохлатый кулик.

Приполз к поселку на рассвете бегун. Увидел — ушли люди, один навоз конский, да палево костров. Обошел дома, воздух унюхивал, сел на камень, ждал Емшу. Идет Емша берегом третий день, упустил красоту голубиную, птицу райскую, не досмотрел. Пришли люди, мох истоптали, пожарищами путь отметили. Горит земля.

Пришел Емша к дому на третий день. Три дня ждали братья в лесах; и погнал бегун тысячелетнего Емшу пред собою. Сутки гнал пред собою, сам страшный, кровью налитый, пригнал Емшу в лес. Ждали братья в лесу, увидели Емшу, заголосили в голос овечьими голосами. Стал Емша в круге, сказал:

— Забивайте, братья. Упустил птицу, красоту неописанную, богородицу нашу белую. Ушла Ингá.

Запели братья кругом, закружились, забивали Емшу. Пели братья: — Улетела голубица райская, красота несказанная, песня сладчайшая... —били Емшу батожками, голову разбили, на земле добивали. Зверю лесному на доед оставили, на посрамное истерзание. Утром ушли братья из леса дальше, прокляли эти места, Синь-озеро прокляли, на тундру подались от земли, к самоедам. Тенями шли, таились, к лишайникам припадали; в тишину уходили, в мрак приполярный.

Далеко лежит кольский камень,— до самого океана. Камень да мхи, да березка ползучая. Да мартын белый пролетит. Большое солнце восходит над Колой, зной проливает в камень. Горит, горит земля.

У Ледовитого океана.

Гибель „Свердрупа“.

(Глава из повести „Заволочье“).

Бор. Пильняк.

30 августа „Свердруп“ вошел во льды. Льды, ледяное небо были видны с утра, и к полночи кругом обстали ледяные поля и айсберги, страшное одиночество, тишина, где кричали лишь изредка редкие нырки и люрики, полярные птицы, да мирно и глупо плавали стада тюленей, с любопытством поглядывавших на „Свердруп“, медленно поворачивающих головы на человеческий свист. Качка осталась позади, все отсыпались, мылись, чистились, как к празднику, крепко спали. Утром уже кругом было ледяное небо и кругом были льды. „Свердруп“ лез льдами. Капитан был на мостике, на румбе был норд, лицо капитана было ноябрьским, Кремнев сидел у трубы. Утром на жилой палубе был шопот: ночью залезли во льды, в ледяные поля так, что едва нашли лазейку оттуда, и что у капитана с Кремневым был ночью разговор, где капитан заявил, что он не в праве рисковать жизнями людей, а льды, если затрут, могут унести „Свердрупа“ хоть к полюсу и, во всяком случае, в смерть, — на румбе остались и север и льды. — Ночью была станция, от двух до пяти, легли спать осенью в дожде, в мокроти, — проснулись зимой, в метели, — в полдень солнце резало глаза́, мир был так солнечен и бел, что надо было надеть синие очки: в это солнце впервые после Канина Носа определились, — где, в какой астрономической точке „Свердруп“, — секстан показал 78°33′ сев. широты на 41°15′ меридиане. Люди первый раз после Архангельска были за бортом: вылазили на льды, ходили с винтовками подкарауливать тюленей. Тюлени плавали стадами и по ним без толку палили из ружей. Мир исполнен был тишиной и солнцем. — Ночь была белесой, прозрачной; переутомление, которое проходили, смещало какие-то аршины, люди бродили осенними мухами, натыкались друг на друга, говорили тихо, дружественно и на ты. Кругом ползли айсберги необыкновенных, прекрасных форм, ледяные замки, ледяные корабли, ледяные лебеди. Отдых от качки принимался благословением и праздником. — „Свердруп“ втирался к ближайшему айсбергу, чтобы взять пресной воды, — и опять люди ходили на лед; надо итти ледяным полем, идешь-идешь—полынья,—тогда надо подтолкнуть багром малень-

кую льдинку и переплыть на ней полынью, а если полынья маленькая, надо прыгать через нее сразбегу, отталкиваясь багром. Кинооператор ходил на айсберг фотографировать, — лез по нему какие-нибудь пять саженей с час, залез — и он редко видел такую красоту: внутри айсберга пробило грот, там было маленькое зеленое озерко и туда забивались волны, свободные, океанские, голубые... Под айсбергом и под людьми на нем были соленые воды океана, глубиною в версту. — И опять наступила пурга, повалил снег, пополз туман. — И новым утром на румбе был ост, а на жилой палубе говорили, что капитан снял с себя ответственность за жизни людей — и эту ответственность принял на себя начальник экспедиции профессор Кремнев: по законам плавания, за полярным кругом каждому полагается в сутки по полустакану спирта, что за разговоры были между капитаном и начальником—доподлинно никто не знал, но утром капитан, не спавший все эти дни, сидел в кают-компании и молча пил спирт, и молча сидел перед ним Кремнев, и все матросы были пьяны. „Свердруп“ крепко трещал во льдах — Никто из экипажа научных сотрудников не знал, никто из непосвященных не знал, что эти дни во льдах были опаснейшими днями: два матроса нижней команды, два матроса верхней команды, боцман, плотник, механик, первый штурман, капитан и начальник — бессменно, бессонно, корабельными крысами, с электрическими лампочками на длинных проводах рылись за обшивками в трюме, ползали в воде меж балок, спускались под воду к килю, а донки захлебывались, храпели, откачивая бегущую в трюм воду, — чтобы заплатать, забить, заделать пробоину в корпусе, чтоб, ползая на животах, на четвереньках, лежа на спинах — спасать, спасти, спастись. Кремнев приказал молчать об этом — и приказ матросам подтвердил ноганом. Кремнев и капитан имели крупный разговор; капитан сказал: — „Назад“, Кремнев сказал: „Вперед“. Разговор был в капитанской рубке, Кремнев жевал безгубыми губами, смотрел в сторону и тихо говорил: —„Все это пустяки. Судно исправно. Мы пойдем на ост, выйдем изо льдов и пойдем на норд, по кромке льда. Льды не могут быть сплошные“, — лицо Кремнева было буденно и обыкновенно, как носовой платок, — и капитану было очень трудно, чтобы не плюнуть в этот носовой платок— —

— —

И эти ледяные сотни верст, ушедшие в океан убивать и умирать, остались позади. И опять были штормы. Приходили дни равноденствия, и невероятными красками горел север то огненный, то лиловый, то золотой, — и тогда вода и волны горели невероятными, небывалыми красками, — но небо только на юге, только на юге было предательски-ночным. Секстан был ненужен, бессилен за тучами и туманами, и судно шло только лаком и компасом, — наугад, в туманах. — И был туманный день — такой туман, что с капитанского мостика не видны были мачты и бак, — клаузен всплывал уже дважды, — капитан скомандовал

в лебедку пустить пар, боцман пошел, чтобы отдать якоря, — чтобы перестоять туман. И тогда вдруг колыхнулся и пополз туман, — и вдруг — так показалось, рядом, в полуверсте, можно было видеть простым глазом, — над туманом возникли очертания огромных, понурых гор, — туман пополз и в четверть часа впереди открылась — земля, горы, снег, льды, льды, глетчеры, — холодное, пустое, понурое, мертвое. Но опять на вершины гор пополз туман — не то туман, не то облака, — и повалил снег. До берега было лишь миль семь. Снег перестал. „Свердруп“ пошел вперед в эту страшную понурую серую щель между тучами и свинцовой зеленоватой водой. На баке вахтенный матрос мерил глубины лотом. Это была первая земля после Архангельска. Это была земля Франца-Иосифа, — но что за остров этого архипелага, что за бухта, что за мыс, быть может, никем еще не обследованный, никем еще не виданный, такой, на котором не ступала еще человеческая нога, — об этом никто никогда на „Свердупе“ не узнал. — Здесь пришли три первых человеческих смерти, — зоолога, того, что боялся смерти, второго штурмана и матроса, — здесь „Свердруп“ был меньше суток. —

„Свердруп“ бросил якоря в миле от берега. В бинокль было видно, что если бы ад, да не православный, который, прости господи, немного глуповат, а аскетически-строгий ад католиков сдан в заштат и не отапливается, то пол в аду должен был бы быть таким же, как камни здесь на берегу, такой же мучительный, потому что базальты стояли торчком, огромными сотами, на которых надорвать ногти, — и камни были такой же окраски, как должны они были бы быть в аду, точно они только что перегорели и задымлены сажей, они стояли точно крепостные, по-старинному, стены. И в бинокль было видно, что было в Европе в начале Четвертичной эпохи, когда были только льды туман, холоды, камни — и не было даже за облаками неба. Были видны облака на горах, горы черные — красновато-бурые, как железо, — зеленая вода, — и прямо к воде сползал глетчер. — Опять повалил снег и прошел. Со „Свердрупа“ спустили шлюпку, — штурман, матрос и с ними зоолог отправились на берег, на разведку. Шлюпку приняли волны, закачали, понесли, — и скоро она стала маленькой точкой. И тогда опять поползли туманы, поползли справа, как шоры, медленно заволакивали все долинки, воду, вершины — этой желтой, студенной мутью, -и остров исчез, как возник, в тумане. Тогда „Свердруп“ стал гудеть, первый раз после настоящей человеческой земли, чтобы указать оставшимся на берегу, где судно, — и минут на пять не угасало в горах и в тумане эхо. И тогда — через туман — повалил снег, и сразу налетел ветер, завыл, заметался, засвистел, — туман — не пополз, — побежал, заплясал, затыркался, — ветер дул с земли, снег повалил серыми хлопьями величиною в кулак, — и снег перестал, и туман исчез, — и остался только ветер, такой, что он срывал людей с палуб, что якорные цепи поползли по дну вместе с якорями, — что нельзя

было смотреть, ибо слепились глаза, и ветер был виден, синеватый, мчащийся. „Свердруп" ревел, призывая людей с берега. И тогда увидели: от берега к „Свердрупу" шла шлюпка, ей надо было пройти наперерез ветру — ее поставили прямо против ветра, — и все трое на веслах гребли в нечеловеческих усилиях, изо всех сил. На „Свердрупе" знали: если не осилят, не переборят ветра, — если пронесет мимо „Свердрупа", — унесет в море, гибель. И капитан заволновался первый раз за всю путину. Все были на палубе. Видели, как трое корчились на шлюпке, боролись с волнами и ветром, — видели, как шлюпка влезала на волны, падала в волны, — разбивалась волна и каждый раз предательски захлестывало за борт зеленой мутью брызгов! Капитан кричал: — „Вельбот! на воду. Медведев с подвахтой — на воду. На троссе, на троссе, — готовь тросс!" — и в машинное: — „Средний вперед!" — и на бак к лебедке: — „Поднимай якоря!" — Ветер был виден, он был синь, он рвал воду и нес ее с собой по воздуху, и вода кипела. „Свердруп" пошел наперерез, навстречу шлюпке. — Со шлюпки доносились бессмысленные крики. И на шлюпке сделали непоправимую ошибку: зоолог бросил весла и стал картузом откачивать из шлюпки воду, — на „Свердрупе" видели, как подхватил ветер шлюпку, как понесли ее волны по ветру; штурман повернулся на шлюпке: хотел, должно быть, сказать, чтоб тот сел на весла, и обессилил, шлюпка завертелась на волнах бессмысленно, бесцельно, потерявшая человеческую волю, — шлюпка была совсем недалеко от носа „Свердрупа", она стремительно неслась по ветру, — она прошла совсем под носом „Свердрупа", — и тогда стало ясно: люди погибли, их уносило море. И остальное произошло в несколько минут: „Свердруп" крейсеровал, чтобы пойти в след, — развернулся — и шлюпка была уже далеко, превратилась в точку, и в бинокль было видно, что в шлюпке остался один человек — и еще через минуту все исчезло. — И капитан же, тот, что волновался больше всех, скомандовал понуро и покойно: — „Полный!" — шлюпку унесло на ост, — капитан окриком спросил: — „На румбе?!" — „Есть на румбе!" — ответил вахтенный. — „Зюйд-вест!" — крикнул капитан. — „Есть зюйд-вест на румбе!" — — „Так держать!" — и „Свердруп" пошел в море, чтобы не погибнуть у земли самому — —

— —

— — Эта земля была последней землей, куда пришел „Свердруп", — культурное человечество не знало об этой земле, она не была открыта, — она была осколком островов Уиджа. Она, невидная простым глазом, возникла в бинокле. Солнце во мгле чуть желтело, вода вблизи была стальной — и синей, как индиго, вдали; льды, ледяные поля были белы, в снегу, айсберги сини, как эмаль...— Там, вдали в бинокль восставал из ледяных гор огромный каменный квадрат, одна сплошная скала, обрывающаяся в море и льды, вся в снегу, и снег под солнцем

и в бинокле был желт, как воск, блисгал глетчер, черными громадами свисали скалы, — все одной громадной глыбой, наполовину освещенной солнцем, другою половиной, серой, уходившей за горизонт и во мглу. Кругом судна были горы айсбергов. Земля безмолвствовала и величествовала, как никогда в жизни каждого: земля, эти мертвые скалы и льды, где никто, кроме белых медведей и птиц, не жил, не живет и не может жить, — величественна, промерзшая навсегда, навсегда мертвая, такая, которая никогда, никогда не придет в подчинение человеку, которая вне человечества и его хозяйничаний.— В каждом человеке все же крепко сидит дикарь: эти земли, эта пустыня, эта мертвь — прекрасны, здесь никто не бывал, — так прекрасно и страшно видеть, изведать и знать первый раз.— Застрявали во льду, все были на палубе, капитан на мостике, штурмана по местам, на юте, на баке, у руля. Прошли уже часы, и земля впереди видна простым глазом, до нее каких-нибудь тридцать миль, — веяла холодом, морозами, величием и тишиной. Лед, ледяные поля обстали вокруг сплошною стеной. Тюлени смотрят из воды удивленно, целые стада. Земля видна ясно, и непонятно, как забраться на нее: она вся в снегу и льдах, и льды отвесами падают в воду...— Земля... к земле „Свердруп" пришел в 0 часов 10 минут. Всю ночь на севере стояла красная, как кровь, никогда не виданная заря, от которой мир был красен. Вода была красной, лиловой, черной, зеленой: потом, за день и за ночь, вода была и как бутылочное стекло, и как первая листва, и как павшая листва, и лиловая всех оттенков, и коричневая, и синяя. А небо было — и красным, и бурым, как раскаленная медь, и сизым, как вороненая сталь, и белым, как снег, и розовым, как розы, — и в полночь ночное небо — темное — на юге. Понурая земля лежала рядом, горы, глетчеры и снег, — и в извечное тишине кричали на скалах, на птичьем базаре — птицы, словно плачет, стонет, воет, рвет горечью и болью — нечеловеческими, — земля свое нутро, точно воет подземелье, нехорошо...— „Свердруп" отдал якорь в полночь — —

— — у берегов этого острова, который был назван островом Кремнева, погиб „Свердруп" — — „Свердруп" набирал здесь пресную воду, в вельботах возили ее с берега, все ходили на вахту по наливке воды, спускали воду из озерка шлангой, носили ведрами, — спешили, чтобы уйти отсюда на юг, в Европу, — не спали и отсыпались по тринадцати часов под-ряд, — убили моржа и двух медведей, — тюленей не считали, — за обедом пили спирт и на жилой палубе устраивали странные концерты: один умел петь петухом, другой мычал бараном, третий хрюкал по-свинячьи, лаяли собаки, мычали коровы, — всем было весело; воды набрать осталось только для котлов.— Геолог пропадал в горах, в поисках минералов, — ботаник собирал лишайники и мхи, в его лаборатории на стенах и столах ткались прекрасных красок ковры, красивей, чем из Туркестана.—И радиист впервые изловил неведомое радио. Радио достигало слабо, ничего нельзя было понять, неизвестно было,

кто посылал радио — земля ли или пароход, — уже недели „Свердруп" был отрезан от мира, и часами плакали антенны „Свердрупа"; новые приходили радио, разорванные, на норвежском языке, непонятные,— и тогда пришло радио, четкое, по-немецки. В радио говорилось:

„Все время вызывает неизвестное русское судно, идущее повидимому от полюса — место стоянки судна неизвестно — содержание телеграмм установить не удалось" — говорила радиостанция Шпицберген — —

Все эти дни были пасмурны и тихи, море чуть-чуть зыбило, льды, ледники и снег были серы, как сумерки. Круглые сутки возили воду, — люди надрывались с водой и спали все часы отдыха, только. Была полночь, — и тогда с моря загудел ветер, завыл в такелаже, заметал волны, повалил снегом; полночь была стальная, горел красным север, ночное — черное — небо было на юге. На берегу кричала вахта, махая веслами, ведрами, шапками, — на судне скрипели якорные цепи. Капитан вышел первым на палубу, он дал авральный сигнал, команда бросилась на места, все на палубу: „Свердруп" полз на берег — на „Свердрупа" наползали льды, горы, ветер ревел, рвал людей. Капитан давал сигналы в машинное—„Полный! полный! полный!" — сматывали цепи якорей, бросали траллы, бросили на троссе лебедку, — чтобы зацепиться за дно, чтобы не ползти на берег.— Ветер выл, ломился, неистовствовал.— Горы ползли на „Свердрупа". И тогда треснула и поднялась корма,— судно остановилось,— судно стало на кошку: и из машинного сейчас же дали сигнал — авария — машины буксуют — винт и руль сбиты,— а еще через минуту судно повернулось, по ветру, и, уже без руля, без винта, с оборванными якорями, легко поползло на берег. Можно было уже не считать, как оно тыкалось с кошки на кошку, трещало и ломалось.— Потом оно стало, легло у берега, так близко, что с оставшимися на берегу можно было разговаривать простым голосом. И тогда только люди заметили, что у иных сорвана кожа рук, что все мокрые, что шквал уже прошел, что на часах уже далеко за полдни. Капитан бросил шапку (она покатилась по палубе, ставшей боком, скатилась в воду), прислонился к вельботу и заплакал. Откуда-то появился — дошел до сознания всех — профессор Кремнев, он был в одних подштанниках, босой, скула его была разбита до крови, — он спросил у Лачинова папиросу, закурил и медленно сказал, как ни в чем не бывало, глядя в сторону:

— Да, знаете ли... Пустяки, — будем здесь ночевать год. Да, знаете ли!..— и обратился к капитану:— Павел Лукич, команду я беру на себя, да. Все пустяки! вы посмотрите на часы, мы все-таки боролись четырнадцать часов — —

И через час, это был уже отлив и „Свердруп" лежал почти на берегу, были положены уже сходни, и люди тащили с судна на

берег все, что можно было стащить — мешки, тюки, доски. Кремнев, тщательно осторожно, как у себя в университетском кабинете, переносил баночки, колбы, инструментарии и материалы лабораторий. Работали все весело, очень поспешно, недоумело, чересчур бодро. Матросы топорами расшивали рубки, — механик и радиист прилаживались, чтобы снести на берег динамо-машину и радио-аппарат, и у них ничего не выходило. „Свердруп“ лежал бессильною рыбой, брюхом наружу, — мачты свисли ненужно. На берегу уже растягивали временные палатки из парусов, и повар на костре готовил ужин.— А к ночи после ужина, в палатках, а кое-кто еще на „Свердрупе“ в незалитых каютах, — заснули все: первый раз после Архангельска заснули на земле, без вахты, непробудным, темным сном. И только один Кремнев, должно быть, не спал, потому что с утра он разбудил часть людей, послав их на вахту, определив две вахты на день, — а когда те пошли тащить остатки судна на берег, он лег и заснул около своих баночек.— Через неделю от „Свердрупа“ на воде остался один лишь костяк, а на берегу против него — неподалеку от безвестных развалин избушки — были построены две русских избы и амбар. Эту неделю люди молчали и только работали.— Кругом были море и горы,— горы стали серые, скалы нависли хмуро, грузно, гранит и базальт, мертвью полз глетчер, — и плакала, плакала, стонала скала птичьего базара.— Еще через неделю все было ясно и изучено — и горы, и море, и моржевые лежки — и то, что радио поставить возможности нет, что мир отрезан, предупредить никого нельзя, — и то, что всем, если все останутся живы, придется умереть от голода, к весне, ибо запасов не хватит.— Дни равноденствия быстро сворачивали солнце, ночами прямо над головой горела Полярная и шелестели голубые шоры полярного сияния, — к остаткам „Свердрупа“ можно было уже ходить по льду, льды в бухте остановились, смерзались, море от „Свердрупа“ сокрыла большая ледяная гора: ночью льды и земля казались осколком луны, ночами у изб наметало снег и видны были песцовые следы, а на льду от „Свердрупа“ были видны следы крыс, перебиравшихся со „Свердрупа“ на землю, чтобы утвердить, что не всегда первыми с тонущего судна спасаются крысы. Днем работали: спиливали мачты, расшивали палубы, рубили дрова, готовили ловушки для песцов, обстраивали, достраивали избы. Вечерами все собирались по избам. В одной из изб все стены были в полках, в колбах, банках и инструментарии, — здесь сторожами жили Кремнев и Шеметов, — Кремнев предлагал всем научным сотрудникам продолжать вести свои научные работы, и днями он сидел у микроскопа,—эта изба называлась лабораторией. В другой избе жили все и ели, и вечерами, сидя на полатях, штурман Медведев играл иной раз одесского Шнеерзона. Катастрофически на „Свердрупе“ не оказалось ламп, и избы сначала освещали коптилками, потом механик изобрел нечто вроде керосино-калильных ламп, делал их из термометровых футляров (а через год, когда вышел весь керосин,

освещались тюленьем жиром). Профессор Шеметов читал для матросов курсы географии и физики. Мир был отрезан, скалу птичьего базара никто уже не замечал.— Тогда начальник, профессор Николай Кремнев, собрал совет экспедиции. Собрались все в лаборатории, утром. Председательствовал и говорил Кремнев.— „Ну-те, всем вам понятно, что мы поставлены лицом к гибели. Этот остров до нас не был посещаем человеком, возможно, что новый человек не придет сюда еще десятки лет. Конечно, все пустяки, знаете ли. Мы умрем с голода, если мы все останемся живы до весны. Я предлагаю, знаете ли, принять мое предложение. Я не могу отсюда уйти, потому что те коллекции и наблюдения, которые сделали мы,—единственные в мире, и я должен их сберечь во что бы то ни стало. Я предлагаю части экспедиции, большей части ее, итти по льду на Шпицберген, на юг, на жилой Шпицберген, знаете ли, на шахты. Это будет иметь огромное и научное значение. Штурман Альбанов сделал еще более трудный поход, на юг к Земле Франца-Иосифа, знаете ли. Те, которые в этом походе дойдут до людей, — вы дадите радио и на будущий год или через два года за мною зайдет сюда судно. Мы будем здесь вести научные работы. Путь к Шпицбергену очень труден, по моим сведениям, через Шпицбергенский хребет перешли только три человека, я предлагаю мужаться. Начальником научной части я назначаю метеоролога Саговского, начальником — похода — штурмана Гречневого. Надо построить нарты и каяки, все продумать и выйти недели через три, в ноябре. Вы пройдете льдами" — —

Через три недели, 4 ноября, в двенадцать часов пополуночи, это была уже сплошная ночь, отряд в двадцать два человека пошел в поход на Шпицберген. На острове Николая Кремнева оставалось тринадцать человек—двенадцать мужчин и одна женщина. Отряд ушел по льду в обход острова, — Саговский, Лачинов, кинооператор и два матроса задержались на полсуток с тем, чтоб догнать отряд сокращенным путем через горные перевалы. Говорили, будто бы слышали, что Кремнев передал Гречневому револьвер и посоветовал из-за больных и переутомленных не останавливать похода. Кремнев несколько раз выходил из лаборатории, был молчалив и будничен, прощаясь, говорил одно и то же — „Будьте здоровы, будьте здоровы", — жал руки и деловито целовался со всеми. Саговский на дорогу выпил спирта, все время шутил, пел с Медведевым Шнеерзона, просил матросов не забывать его кошек.— Ушли эти пятеро от изб в полночь, провожать их никто не пошел. Было очень тихо, тепло, градусов пятнадцать мороза. Горели звезды, Полярная была тут, над головой. Саговский шел рядом с Лачиновым, болтал всяческую ерунду, — Лачинов молчал и не слушал. Было очень невесело. У ледника встретили профессора Василия Шеметова, он гулял, расцеловались. —„Если первые будете в Москве — поклон университету", — сказал

Шеметов.—„Ну, а если вы будете вперед нас, то уж поклон не передавайте,—не от кого будет!"—ответил Саговский.—Горы стояли впереди осколками луны, граниты, базальты, лед и снег. Решили подниматься по леднику, и от незнания сделали ошибку, ибо на полаpшина под снегом был лед и снег катился по льду вниз. Лачинов шутил—альпинистам, этим спортсмэнам по лазанию в горах, редко выпадает такое счастье, которое стало горем им, пятерым. Сначала ползти в гору было легко,—на полгоры, как показалось им, и на пятую горы, как было в действительности, они долезли быстро, сели закусить и отдохнуть. Полезли дальше. И дальше Лачинов помнил только о себе. Он полез кромкой, где скалы сходились со льдом, рассчитывая, что там камни скреплены водою, льдом, и можно будет итти, как по ступенькам, и там есть промоина,—так первый расчет его спасал, а второй губил,—ибо другие правильно разочли, что выгоднее будет лезть по сметенному в наст снегу, ибо он должен быть отложе. Лачинов лез с винтовкой, в меховых штанах и куртке, с лыжными палками в руках, лыжи тащились сзади,—и скоро Лачинов понял, что он выбивается из сил и тут начало казаться, что и до верху и до низу одинаково, и скалы базальтов внизу, что были размером в многоэтажный дом, стали в табурет, а те, что были вокруг него и снизу казались табуретами, здесь выросли в замки. Пополз дальше на четвереньках, руки уже дрожали,—гора все круче, камни рвутся под ногами, палки в руках мешают, скользит со спины под ноги винтовка, шапка ползет на глаза, дышать нечем.—Лачинова догнал Саговский, полезли вместе; те, что поползли по насту, уже далеко впереди, кажется уже выбирались, махали отрицательно руками, кричали что-то сверху,—крика их разобрать возможности не было,—было видно лишь, что там наверху волновались. Ползли. Отвес становился круче. Сил давно уже не было. Вползли в ущелье, выползли—и увидели, что впереди пути нет: отвес, навес над ними. Теперь было слышно, что сверху кричали, чтобы вернулись,—и люди наверху казались размером в шмеля, их едва было слышно. Саговский полез обратно,—Лачинов понял, что назад ему не спуститься, сорвется, разобьется, погибнет: если по этому отвесу, что впереди, проползти, двинуться вверх и налево, с девяноста шансами сорваться, то там будет спасение. Лачинов никогда больше не переживал такого ощущения, как тогда, когда он сознавал, что действует, движется не он, а кто-то, живущий в нем, инстинкт, ловкий, как кошка, точный, как механика, хоть руки и сердце отказывались работать. Пополз, первый камень сорвался—и сразу сорвалась кожа рукавиц. Сполз сажень вниз, зацепился за камень,—пополз вбок и вперед,—тех, кто был наверху, не видно было за отвесом и сплошной отвес был внизу. Как выполз Лачинов—он не помнил. Сверху спустили веревку и вытащили уже по сплошному отвесу, на скалу.—И наверху их встретил ветер, который сразу перебрал все ребра и захолодил руки

так, что они ничего не брали. Полярная была на прежнем месте, но все другие звезды опрокинулись в небе: на часах был полдень. И страшное одиночество открывалось под звездами — земли и моря, где не ступала нога человека. Вдали за перевалом в бинокле был виден огонь — там ждал отряд, туда надо было итти. Сзади в бинокль уже ничего не было видно. В расщелине двух гор был глетчер, в глетчерных пещерах висели сосульки в несколько человеческих ростов — —

В тот день, когда ушел отряд на Шпицберген, профессор Василий Шеметов, друг Николая Кремнева, так же, как Кремнев, непохожий на кабинетного ученого и похожий на бродягу, писал свою работу о причинах цвета неба и моря.— Начало этой работы было такое:

> „Когда в ясный летний день вы глядите на море, вам кажется, что синяя окраска моря зависит от голубизны неба. Однако в действительности положение вещей совсем не таково, в чем не трудно убедиться следующими примерами. Для этого достаточно сравнить, с одной стороны, насыщенный синий цвет Нордкапского течения, которое протекает в водах Полярного моря, и, с другой стороны, — бледный, зеленовато-серый цвет Азовского моря, над котором сияет яркое южное небо. Выяснением причин цветности моря занимался целый ряд ученых, начиная с Леонардо да-Винчи“ — —

— в день, когда ушел отряд, Шеметов писал:

> „...Нетрудно видеть, что полученное равенство позволяет **вычислить спектр того внутреннего света**, который **сообщает морю** его характерную **окраску**; для этого нужно только знать $f(\lambda)$ и a.
>
> Значение $f(\lambda)$ для различия длин волн были получены целым рядом экспериментаторов (рис. 1, кривая № 1). Что касается значения a, то его так же можно определить из опыта, находя коэффициент „абсорбации“ света в морской воде“ — —

...Лачинов как-то говорил о прекрасной человеческой воле — знать, познавать, волить познать — —

— — арктической ночью, на восток от Шпицбергена и на градусе Могучего — над бумагой, картами и таблицами, сидел человек—Николай Кремнев, — на столе горел в плошке тюлений жир, — и против Кремнева сидел второй русский профессор, вычислял углы отражений света в морях,—Василий Шеметов. Они молчали, изредка они курили махорку — —

На острове Николая Кремнева экспедицией был оставлен Гурий. Грамота на пергаменте, написанная тушью, была вложена в стеклянную банку и запаяна железом. Гурий был поставлен около изб. В грамоте было написано:

„Русская Полярная экспедиция в следующих научном составе и судовой команде (идет перечисление) на экспедиционном судне „Свердруп", выйдя из Архангельска 11 авг. 192.. года, по выходе из Белого моря, пошла на север по 41-му меридиану с непрерывными научными работами через каждые 30'. Начиная с 77°30' с. ш. стали встречаться льды, а на 77°52' была встречена кромка непроходимого льда, преградившего экспедиции дальнейший путь. Экспедиция пошла по курсу истинный NO 64°. Астрономически определиться благодаря туманной погоде возможности не представлялось. 7 сент. в тумане появилась земля, один из островов архипелага Земли Франца-Иосифа; ввиду тумана определить земли не удалось; экспедиция была у земли только несколько часов и вынуждена была уйти в море по причине сильного шторма; на землю высаживались три человека: второй штурман Бирюков, М. П., матрос Климов, В. В., и зоолог Богаевский, А. К., — они погибли, так как шторм унес их в виду судна в море. От Земли Франца-Иосифа экспедиция пошла по курсу истинный SW 55, но на другой же день, 8 сент., судно встретило льды и вынуждено было дрейфовать без курса, сносимое льдами на SSW. 27 сент. с судна увидели землю, которая после астрономических определений оказалась не нанесенной ни на одну из карт, а, стало быть, неизвестной культурному человечеству. Земля была названа островом Николая Кремнева. Астрономическое местонахождение земли — $\varphi = 79°30'N$ и $\lambda = 34°27'W$. Судно стало на якорь в бухте Погибшей Избы и брало питьевую воду, предполагая пройти отсюда к Wiches Bland на Шпицбергене. Но в полночь с 29 на 30 сент. страшным штормом судно было выкинуто на берег с непоправимыми пробоинами и заполненное водой. Экспедиция, потеряв судно, вынуждена была здесь стать на зимовку. По причине того, что продовольствия не хватило бы всем оставшимся, был снаряжен отряд в составе 22-х человек из следующих лиц команды и научных сотрудников (перечисление), научная часть под командой метеоролога Саговского, К. Р.; начальником отряда назначен был первый штурман Гречневый, В. Н.; по полученным впоследствии сведениям, до жилого Шпицбергена из этого отряда дошел только художник Лачинов, Б. В., — остальные погибли от цынги и переутомления. Отряд ушел с острова Н. Кремнева 4 ноября, взяв с собой нарты и каяки (идет перечисление всего, что было взято отрядом). На острове Н. Кремнева осталось 13 человек, которое охраняли собранные материалы и вели научные работы. Отряд, пошедший на Шпицберген,

должен был сообщить о местонахождении оставшихся с тем, чтобы за ними пришло экстренное судно. Оставшимся пришлось перезимовать две зимы и живыми остались только двое — начальник экспедиции проф. Кремнев, Н. И., и научный сотрудник проф. Шеметов, В. В. Спасательное судно „Мурманск“ пришло 11 сент. 192.. года, и остров Н. Кремнева был покинут 15 сент. Все научные материалы были забраны. В доме № 2 оставлены продовольствие и огнестрельные припасы (перечисление).

Начальник экспедиции проф. Кремнев.

Научн. сотр. экспедиции проф. Шеметов.

О. Николая Кремнева.
15 сент. 192.. г.

———

Из дневника

И. Бабель.

Вечер.

На постое в сельце N мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна; я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.

Мне оставалось исхитриться, и вот однажды я вернулся домой рано, до сумерек, и увидел, как хозяйка приставляет заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, если бы мне не помешал в этом Саша Коняев, или иначе — Сашка Христос.

Он вошел в избу с гармоникой подмышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах.

— Поиграем песни, — сказал он и поднял на нас глаза, заваленные синими сонными льдами. — Поиграем песни, — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление.

Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал вдруг синими глазами. Он ото всех отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.

— Звезда полей, — запел он, — звезда полей над отчим домом
И матери моей печальная рука...

Я любил эту песню, в любви к ней я доходил до возвышенного сердечного восторга, и Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона, у станицы Кагальницкой.

Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя, рыба держит это весло

и несет его с собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти запрещали там охоту, это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в гирлах шла жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням, из них многие были душевного старинного распева. За это мы все простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам, — никто не видел тогда конца войне и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летала над нашим следом. Так было на Кубани и в зеленых походах, так было на Уральских и в Кавказских предгорьях, и вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть...

Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка усмирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом.

— Звезда полей, — пел он, — звезда полей над отчим домом
И матери моей печальная рука...

И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено, и сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону, он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, и потом, видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату.

— Вишь, сердце мое, — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня, — вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня, натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружию мне выложил... Это грех от бога — мне оружию выкладывать, ведь я женщина...

Она снова поскреблась об дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанной тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу.

— Хозяюшка, — сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо.

Но баба как будто не слыхала его слов.

— Никаких щей я не видала, — сказала она, подпирая щеку, — ушли они, мои щи, мне люди одну оружию показывают, а и попадется хороший человек и посластиться бы с ним впору, да вот такая я тошная стала, что и греху не обрадуюсь...

Она долго тянула унылые свои жалобы и бормоча отодвинула к стене немного мальчика; Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.

Сокаль, VIII, 1920.

Галин.

О, устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца с страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников газеты „Красный Кавалерист", ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычов с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, и огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходит Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.

— В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены; Павла растерзали его придворные и собственный сын; Николай Палкин отравился; его сын пал 1 марта; его внук умер от пьянства... Об этом вам надо знать, Ирина...

И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый — он облит луной, торчащей там, вверху, как дерзкая заноза, типографские станки стучат от него где-то близко и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащутся звезды, прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза.

И рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий, мордатый

победитель. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданом для царских дочерей и потом говорит зевая:

— Ночное время, Ариша, — говорит он. — И завтра у людей день. Айда блох давить...

И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза... А против луны на откосе у заснувшего пруда сидел я в очках, с чирьями на шее и с забинтованными ногами. Смутными, поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах.

— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел, Галин, и я устал жить в нашей Конармии.

— Вы слюнтяй, — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи, — вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев... Вся партия ходит в передниках, измазанных кровью и калом, мы чистим для вас ядро от скорлупы; пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, вы выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку.

Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.

Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, и дверь в кухне свистнула и приоткрылась.

— Конармия, — сказал мне тогда Галин, — Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткою...

И Галин заговорил о политическом воспитании Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью, Веко его билось над бельмом, и кровь текла из разодранных ладоней

Ковель, 1920.

Переход через Збруч.

Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, по неувядаемому шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, и девственная гречиха встает на горизонте,

как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, и штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, и звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями, третий спит уже, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу еще развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских шуб на полу, человеческий кал и черенки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на Пасху.

— Уберите, — говорю я женщине, — как вы грязно живете, хозяева...

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвьи, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся, они кладут мне распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается тотчас над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь.

— Зачем ты поворотил бригаду, — кричит раненому Савицкий, начдив шесть, — и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.

— Пани, — говорит она мне, — вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу...

Она поднимает с полу худые ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам и синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца.

— Пани, — говорит мне еврейка и встряхивает перину, — поляки резали его и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было

удобнее, он кончался в этой комнате и думал обо мне. И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

Новоград-Волынск,
Июль 20.

Ты проморгал, капитан!

В Одесский порт пришел пароход „Галифакс". Он пришел из Лондона, за русской пшеницей.

Двадцать седьмого января, в день похорон Ленина, цветная команда парохода — три китайца, два негра и один малаец — вызвала капитана на палубу. В городе гремели оркестры и мела метель.

— Капитан О'Нирн, — сказали негры, — сегодня нет погрузки, отпустите нас в город до вечера.

— Остаться на местах, — ответил О'Нирн, — шторм имеет девять баллов и он усиливается, возле Санжейки замерз во льдах „Биконсфильд", барометр показывает то, чего ему лучше не показывать. В такую погоду команда должна быть на судне. Оставаться на местах.

И, сказав это, капитан О'Нирн отошел ко второму помощнику. Они пересмеивались со вторым помощником, курили сигары и показывали пальцами на город, где в неудержимом горе мела метель и завывали оркестры.

Два негра и три китайца слонялись без толку по палубе. Они дули в озябшие ладони, притопывали резиновыми сапогами и заглядывали в приотворенную дверь капитанской каюты. Оттуда тек в девятибалльный шторм бархат диванов, обогретых коньяком и тонким дымом.

— Боцман! — закричал О'Нирн, увидев матросов, — палуба не бульвар, загоните-ка этих ребят в трюм.

— Есть, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, поросшая красным волосом, — есть, сэр, — и он взял за шиворот взъерошенного малайца. Он поставил его к борту, выходившему в открытое море и выбросил на веревочную лестницу. Малаец скатился вниз и побежал по льду. Три китайца и два негра побежали за ним следом.

— Вы загнали людей в трюм? — спросил капитан из каюты, обогретый коньяком и тонким дымом.

— Я загнал их, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, и стал у трапа, как часовой в бурю.

Ветер дул с моря — девять баллов, как девять ядер, пущенных из промерзших батарей моря. Белый снег бесился над глыбами льдов. И по окаменевшим волнам, не помня себя, летели к берегу, к причалам, пять скорчившихся запятых, пять цветных уродцев с обуглившимися лицами и в развивающихся пиджаках. Обдирая руки, они вскарабкались на берег по обледеневшим сваям, пробежали порт и влетели в город, дрожавший на ветру.

Отряд грузчиков с черными знаменами шел на площадь, к месту закладки памятника Ленину. Два негра и китайцы пошли с грузчиками рядом. Они задыхались, жали чьи-то руки и ликовали ликованием убежавших каторжников.

В эту минуту в Москве, на Красной площади, опускали в склеп труп Ленина. У нас, в Одессе, выли гудки, мела метель и шли толпы, построившись в ряды. И только на пароходе „Галифакс" непроницаемый боцман стоял у трапа, как часовой в бурю. Под его двусмысленной защитой капитан О'Нирн пил коньяк в своей прокуренной каюте.

Он положился на боцмана О'Нирн, и он проморгал — капитан.

Голубая родина Фирдуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом урусе
И глазах задумчиво простых,
Голубая родина Фирдуси.

Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы как светильники горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят,
Хороша ты, Персия, я знаю.

Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага,
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду
И в моей скитальческой судьбе
Дальнему и близкому мне люду
Буду говорить я о тебе
И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь.
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь.
Запевая — обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь.

Сергей Есенин.

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках не мало силы,
В волосах есть золото и медь,
Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках не мало силы,
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем, кому мне песни петь,
Если стала не ревнива Шага?
И коль дверь не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия, тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь?
Из любви к родимому мне краю
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

Сергей Есенин

Врановцы [1]).

1. Буранск — город сытный; хлебный вывоз
3.000.000 пудов в год,
Шкурье, джебага, пушнина, грива,
С костью, с тряпьем, с тавалгой.

2. По жилам рек пивоваренны
Выкунев стал подюже расти!
Мирные залежи голубой соли
В 300 верст по окружности.

3. Кони табунами пасутся в дикость,
Земля по-над берегом — плюнешь растет;
Сочные поймы некуда выкосить,
Их обжирает степной костер...

---

[1]) Творчество поэта Ильи Сельвинского принадлежит к молодому литературному течению, усвоившему себе имя — конструктивизм.

Всякое литературное направление выдвигает не только новую писательскую манеру и художественные принципы, но и само, в свою очередь, выдвигается соответственным общественным слоем, который окрашивает в классовые цвета „независимые" художественные идеи. То же и конструктивизм. Провозгласивший в искусстве господство тематического задания, организационную установку творчества — он с большой легкостью находит себе почву в среде, наиболее близкой к плановому коммунистическому строительству, в среде левой революционной интеллигенции и разночинцев от революции, идеологически воспитанных Октябрем.

Объективно — конструктивизм отзвук в новых художественных исканиях широкого организационного натиска пришедшего к власти рабочего класса.

Наша задача — помочь прорасти из „самодовлеющей" художественной оболочки зернам общественного движения особенно в нашей литературе. Конструктивизм поднимается этим движением.

В формально-техническом отношении конструктивизм — это идея построения художественных вещей путем функционального развертывания темы.

Поэтические работы Сельвинского, одного из виднейших представителей современного конструктивизма — свидетельство глубокого художественного сдвига в этом направлении.

Печатаемые здесь отрывки из большого романа в стихах „Улялаевщина" — характерный образчик подобранного к сюжету словаря и всего поэтического орнамента. Это последовательное применение „локального принципа" конструктивистов, который требует мотивированного темой выбора ритма, образов и т. д.

Корнелий Зелинский.

4. А рыбы-то, рыбы... Судак, жерих,
800.000 осетры одной.
Черной икрою хлещется в берег
Никушко — золотое дно.

5. Парус у этих. Багор у иных.
Дует моряна. И по моряне
На мытых расшивах плывут поморяне
Овчинниковых да Махориных.

6. А утром раненько, в синий ковыль
Капают дегтем гужи на Саратов,
А их доглядает брюхатый старатель
Махориных да Овчинниковых.

7. Яицкие земли. Казачий почин.
Крепко жили станишные братцы —
Все кулугуры — старообрядцы,
Все шепелявые бородачи.

8. Триста лет как барщинный смерд,
Ролейный закупа, холуй, челядь
Утек на Яик воевать смерть,
Позабыв на Руси, как и жамкать челюсть.

9. Триста лет, как эти края
Окармливал кровью до пузырей снизу,
Харалугом поскребанным башку кроя,
Выхлещиваясь в дыры от копья киргиза.

10. Триста лет своевольный цуг
Войсковых атаманов, старшин, хорунжих
Оберегал свою вольницу
От Орды, Петербурга и расейской Унжи.

11. Триста лет. А теперь — вольгóтня,
Что ни казак — 50 десятин,
Что ни хутор — голов до сотни,
До тысячи и до десяти.

12. Вот в силу причин каковых
В соленом золоте на благóлепьи
Боем стояла казацкая крепость
Махориных да Овчинниковых.

Илья Сельвинский.

(„Улялаевщина", IV гл.).

Дылда вскинул к щеке обрез —
Цок! — осечка. Да Павлов за винтовку
Вдвинул ему в губы — и золотой блеск
Озарил изнутри его зубы.

Из ноздрей лиловая кровь и дым
Лицо, как молнией, дергалось мукой.
Из темени хлестали с глотательным звуком
Пышные перья алой воды.

Кто-то еще спустил карабин,
Пальцы скрючились, точно озябли.
Кто-то трусливо крикнул: „Руби“
Нос и губы перекрестили сабли.

Но белый глаз не мигая смотрел.
И уже суеверные малость струхнули —
Не берет шайтана ни тесак, ни пуля,
Хоть морда в разрубе, а череп в дыре.

Зеркальный мороз на ветрах багровых
Его отражал то выше, то ниже,
И он чернел, оползая в кровях,
И лютый глаз его ворожил — пыжил.

Может, он мертв. Но его похоронят,
Страх из могилы дыхнет проказой.
Нет, тут нужна прапрадежья казнь:
А тело, чтобы поглотали вороны.

И вынули топор, черный от опоя,
И дали помолиться, ежели горазд —
И Сергея-свет-Кирилыча тут же, в поле,
Голову на колесо — и раз...

Илья Сельвинский.

XII. Астрахань.
(„Улялаевщина“ X, 59 – 65)

Баллада об арбузе.

Свежак задувает. Наотмашь, в разгон
Осеннее море открыто.
Арбуз на арбузе, — и трюм нагружен.
Арбузами пристань покрыта.
Борща не глотать, самогону не пить,
На скучном зевать карауле.
Три дня и три ночи придется проплыть,
И мы паруса развернули.
В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься.
Я выберу звонкий, как бубен, кавун
И ножиком вырежу сердце.
Пустынное солнце садится в рассол,
И вытолкнут месяц волнами.
Свежак задувает. Наотмашь! Пошел!
Шевели, дубок, парусами!
Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно.
В два пальца по-боцмански ветер свистит,
И тучи сколочены плотно,
И ерзает руль, и обшивка трещит,
И забраны в рифы полотна.
Сквозь волны — навылет, сквозь дождь — наугад,
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем наощупь. Навзрыд и не влад
Храпят полотняные крылья.
Мы втянуты в дикую карусель,
И море топочет, как рынок.
На мель нас кидает, нас гонит на мель
Последняя наша путина.
Козлами кудлатыми море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно.
Я песни последней еще не сложил,
А смертную чую прохладу.

Я в карты играл, я бродягою жил,
И море приносит награду.
Мне жизни беспутной теперь не сберечь,
И руль оторвало, и в кузове течь.

Пустынное солнце над морем встает,
Чтоб воздуху таять и греться.
Не видно дубка, и по волнам плывет
Кавун с нарисованным сердцем.
В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый на зыби качает кавун,
И к берегу он подплывает.
Конец путешествия здесь он найдет,
Окончены ветер и качка.
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною рыбачка.
И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое.

Эд. Багрицкий.

Маковые звезды.

Как серая трава,
Колышется братва.
Волшбой двух легких рук
Гром труб обрушен в уши.
Сиплая рычащая молва
Вздыбила взнузданные души.

Что резче и звончей
Баранок этих золоченых,
Раздутых этих калачей,
Из кованого теста испеченных?..

Девушки глядят
И шепчутся лукаво:
— Какой солдат
Вон там, направо!..

И правда: молодой,
Беспечный!
Рукав пылает маковой звездой
Пятиконечной.

Всем, всем:
Ветрам, дорогам, тучам над полями
Совсем
Недавно
Снился этот шлем
И брезжил пятилучный пламень.

Идут. Их топот грузно — туп,
Их топот ладу медному послушен.
Идут — и храп напетых труб
В сердца летящие обрушен.

Д. Семеновский.

Беременная.

Такие осторожные шаги,
В глазах — такая тихая забота:
Бесценный груз всечасно береги,
И бойся каждого крутого поворота.

В упругой колыбели живота,
Колеблемой дыханьем и шагами,
Такая ласковая тяжесть разлита
Такими теплыми волнами.

И по лицу скользит предчувствий след,
И опрокинут в сердце взгляд хороший.
И бережней ее шагов под солнцем — нет,
И нет прекрасней — ноши.

Николай Колоколов.

Дума

Я перерос тебя, пылающее племя.
Вы, мирно спящие под сердцем матерей,
Счастливые, сменяйте нас скорей.
Я перерос тебя, пылающее племя.
Но как понять тебе печаль мою, —
Что и меня сразило наше время,
Как воина в карающем бою?

Так сладко жить в огне таких годин.
И солнце светит нам рассчитано и скупо.
Сегодня я незнаменитый сын,
А завтра — дед я знаменитым внукам.
Нам легче с каждой пройденной верстой,
А время катится, как обруч золотой.

Но вот теперь, когда весь мир спокоен,
Когда цветы восходят на костях,—
Я побеждающий, я закаленный воин,
Я, головы врагов сжигавший на кострах,
И я своей же грустью удостоен,
Стою в раздумьи, стою опять впотьмах.

Я знаю, что теперь не принято пророчить,
Но что-то есть, да, что-то злое есть,
Что я с ума сошел, потомственный рабочий,
Заслуг моих вам, может быть, не счесть.
Пишу стихи, какая боль и честь!
Так почему же я, потомственный рабочий,
Не у станков потомственных, а здесь!

Пусть кровь моя течет, как ключ студеный,
Но все равно сказать я не берусь,
За то ли, что я понял вашу грусть,
За то ли, что я в солнце был влюбленный,
Я стал чужим, а вы ко мне — глухи,
Вы, научившие меня писать стихи.

Я стал чужим, мне рано горевать,
Нет, ни на что я вас не променяю,
Забуду все, что я хотел сказать,
Бесчувствен ко всему, я все теперь прощаю.
Да, вам не до стихов, молчать пора, молчать.
И тот герой, кто грусть свою не выдал,
Хранил ее, как верную печать,
На все неповторимые обиды.

Пусть не осудят нас за буйство наших лет
И пусть не осмеют за крепкий хмель раздумья,
Во мне живет рабочий и поэт,
Я тут и там, но больно до безумья,
Но жалко мне, что где-то меня нет,
Что где-то, уж наверное, я умер.
Будь проклят я за то, что я поэт,
За то, что я вкусил увядший хмель раздумий.
И, может быть, остуженным векам
Приснимся мы в старинной позолоте,
Идущие к потомственным станкам
И, может быть, к потомственным заботам.

И некому сказать, что холод дальних вьюг
Последний пыл, последний жар остудит,
И вот он вертится годов железный круг,
И скучно нам, и пусто станет вдруг,
И если друга осуждает друг,
То враг врага, наверное, осудит.

Я перерос тебя, пылающее племя,
Вы, мирно спящие под сердцем матерей,
Счастливые, сменяйте нас скорей.
Я перерос тебя, пылающее племя.
Но как понять тебе печаль мою,—
Что и меня сразило наше время,
Как воина в карающем бою.

Джек Алтаузен.

Одесские стихи.

I.

Детство.

Свивальников и первых междометий
И золотухи — милая пора!
Но выше материнского бедра
У нас в дому не подымались дети.
И если дождик в розовую рань
По улице на цыпочках запляшет,
Прошу я: „Дождик, дождик, перестань!"
И дождик просьбу детскую уважит...
Чтоб высмуглеть от пейсов до ногтей,
Безоблачного мая мало, —
А сколько кукольных затей
В моих ручонках перебывало!
Мой пятак и звончат, и чекан!
Он орлом ложится на аллее!
Мой пятак счастливей сорока
В синеву подброшенных копеек.

Сказочного милого Майн-Рида
В этот год я трижды перечел...
Ходили люди... Таяли обиды...
Я перерос отцовское плечо...

II.

Мне не забыть сквозь тягостную дрему
Еврейских песен заунывный лад:
Летопись невиданных погромов
И незабываемых утрат.
Чем прогонишь пьяную ораву, —
И махала кухонным ножом

Мама, обреченная картавить,
Печь мацу и пахнуть чесноком.
Погребам по гроб я благодарен,
Я от тех повадок уцелел;
Я мужал — и, белокурый парень,
Подзаборный парень, пел, да пел.

О. Колычев.

А. Ф. Керенский.

Д. Ф. Сверчков.

(Окончание).

XVII. Гениальность Керенского становится прямо невыносимой.

Керенский предался своему любимому занятию — формированию правительства. Дан в «Известиях» заявил, что задачей настоящего момента является вырвать с корнем мятеж, и что Керенский в этом отношении вполне отвечает интересам революционной демократии. Керенский постарался с первых же своих шагов «подтвердить» эту точку зрения своего приятеля, оставшегося в живых вопреки всем намерениям Керенского.

Он начал переговоры о формировании правительства прежде всего, как я уже сказал выше, с генералом Алексеевым и профессором Милюковым, т.-е. — неправда ли? — с заведомыми для всех «врагами» Корнилова.

На должность министра внутренних дел, обязанностью которого было бороться с заговорами против революции, Керенский наметил Кишкина, члена ЦК партии «народной свободы» (кадетской), всеми силами поддерживавшей Корнилова. «Затем, — повествует Милюков («История», т. I, ч. 3, стр. 13), — ЦК партии народной свободы предложил ввести в кабинет представителей торгово-промышленного класса. Это требование тоже было принято Керенским, и он уполномочил Кишкина на переговоры в Москве с торгово-промышленным классом. Торгово-промышленная Москва наметила Смирнова на должность государственного контролера. Сам Керенский наметил себе гласного Бурышкина, но впоследствии эта кандидатура отпала, как не рекомендованная московским купечеством, и заменена была другим представителем торгово-промышленного класса в лице С. Н. Третьякова... Очень скоро обнаружилось, что, приглашая ген. Алексеева и Кишкина, поручая Кишкину обсудить еще более правые, уже чисто «буржуазные» кандидатуры, Керенский рассчитывал без хозяина»... К сожалению, проф. Милюков не приводит фамилий тех лиц, которых даже он сам называет «еще более правыми» и «уже чисто буржуазными» и которых также считал необходимым видеть возле себя в правительстве Керенский. Интересные, вероятно, это были лица, если по сравнению с ними ген. Алексеев, Кишкин, Третьяков и т. п. казались чрезвычайно левыми и совсем пролетариями...

Тут уже заговорила даже Валаамова ослица, т.-е. вечная опора Керенского в Совете — его друзья — меньшевики и социалисты-революционеры. Они послали в Зимний к Керенскому своих таких столпов, как Гоца и Зензинова, с заявлением о том, что включение в кабинет к.-д. недопустимо. Правда, Гоц сделал и тут все, что мог. Он от себя «раз'яснил», что это требование Совета «не исключает возможности вступления отдельных представителей этой партии (т.-е. к.-д.), отгородившихся от «милюковцев»... С этой стороны вступление Кишкина не вызвало бы особых затруднений» (Милюков, там же, стр. 16). «Керенский, сообразно с этим, продолжал вести переговоры с к.-д. и промышленниками. Вечером 2 сентября Н. М. Кишкин, С. А. Смирнов и П. А. Бурышкин выехали из Москвы в Петроград. Кишкин напечатал письмо в газеты, в котором заявлял, что «входит во Временное правительство с одобрения ЦК партии народной свободы», чтобы противодействовать «борьбе классов и партий» и содействовать единению. Однако же утром 3 сентября, когда все трое приехали в Петроград, «положение дел там совершенно изменилось», — повествует Милюков (там же).

Что же случилось? Случилось то, что Совет большинством—279 против 115—принял по вопросу об организации власти резолюцию, предложенную... большевиками... В ней требовалось отстранение от власти не только к.-д., но и представителей всех цензовых элементов, создание власти из представителей революционного пролетариата и крестьянства, декретирование демократической республики, немедленная отмена частной собственности на землю, об'явление тайных договоров недействительными и немедленное предложение всем народам воюющих государств заключить демократический мир... Появились первые признаки краха меньшевиков и эсеров.

Что же делает Керенский? Как относится он к создавшейся угрозе ниспровержения всех его замыслов, разрушения его тесного союза с Кишкиным, Третьяковым, Бурышкиным и другими «еще более правыми» и «уже чисто буржуазными» неизвестными лицами?

Мемуары контр-революционеров проливают новый свет на события этого времени. Всякий из нас слышал и знает о заговоре Корнилова и о его выступлении в конце августа. Но почти никто не знал до сих пор о подготовке Керенским уже единолично (вероятно, конечно, в компании с Кишкиным и «еще более правыми» элементами) выступления уже в сентябре.

Совет — против Керенского. Гоц, Зензинов, Чернов, Церетели, Дан и компания хотя и не расстались со своим «товарищем по партии», хотя и пытаются поддерживать его, но поддержка их перестает расцениваться больше ломаного гроша... На кого же опереться?

А третий корпус? Он еще существует. Он еще находится около Петрограда.

1 сентября Керенский закрыл большевистскую центральную газету «Рабочий» и газету интернационалистов «Новую Жизнь».

А затем... затем даю слово Краснову, который сообщает:

«Как ни странно это было, но за первой помощью Керенский обратился к тому самому 3-му конному корпусу, который шел арестовать его. 1 сен-

тября к Пскову собрались Приморский, драгунский и Уссурийский казачий полки и стали разгружаться и расходиться по деревням... Все остальные части были повернуты обратно и направлены на Псков, а 2 сентября, в 8 час. вечера, за мною экстренно приехал ад'ютант начальника штаба фронта и повез меня в штаб. Мне передали шифрованную телеграмму от верховного главнокомандующего Керенского о том, что, ввиду возможности высадки немцев в Финляндии и беспорядков там, необходимо сосредоточить 1-ю Донскую дивизию в районе Павловск — Царское, штаб — в Царском, а Уссурийскую дивизию — в Гатчино — Петергофе, штаб — в Петергофе.

«Каждый из нас по самой дислокации корпуса понимал, что беспорядки в Финляндии и высадка немцев, это — тот фиговый листок, которым прикрывались настроения Смольного института и открытая пропаганда Ленина в войсках петроградского гарнизона.

«Я был в отчаянии. Только что сделанная работа успокоения разрушалась. Кто поверит, что ожидается высадка немцев? — скажут: опять контрреволюция, опять измена. Вся надежда была на подпись Керенского и на комиссаров. И действительно, Керенскому поверили, а Войтинскому и Станкевичу удалось уговорить полки, что приказ надо исполнить. Но, конечно, главное было то, что никто ни оружием, ни словами не мешал нам в походе — большевики еще не были готовы. К 6 сентября корпус сосредоточился на указанных ему местах.

«В революционном Петрограде и его воинских учреждениях я был в первый раз. 4 сентября я приехал со штабом в Царское Село и в час дня являлся Главнокомандующему Петроградским военным округом. Таковым оказался мой старый знакомый по л.-гв. Измайловскому полку — генер.-майор Теплов. Эта милейшая личность... любитель литературы, изящных искусств, поэзии... был схвачен Керенским и посажен на место главнокомандующего... Теплов меня сейчас же принял. В его добрых глазах стояли слезы...

«— Какие указания я вам могу дать? — говорил Теплов. — Я здесь халиф на час. Скажу одно — идет борьба за власть. С одной стороны, — Керенский... но подле него никого, с другой — Совет Солдатских и Рабочих Депутатов, которым уже овладели большевики с Лениным и который становится все более и более популярным среди петроградского гарнизона. Вы вызваны для борьбы против него, а сможете ли вы бороться?.. Но помочь ничем не могу...» (Архив русской революции, Берлин, 1922, «На внутреннем фронте», Краснова, стр. 131 — 133).

Выяснению вопроса о том, сможет ли он бороться, Краснов и посвятил последующие дни. И пришел к самым... пессимистическим выводам. С одной стороны, казаки выражали полную готовность немедленно «предоставить» ему самого Керенского (что, конечно, вовсе не входило в планы последнего), а с другой — даже офицеры из темных углов кричали Краснову «долой» и свистели в ответ на его патриотические призывы к борьбе с Советами и большевиками.

Попытка нового переворота завяла, не успевши расцвесть...

Что было дальше делать Керенскому?

Керенский во что бы то ни стало хотел добиться учреждения «директории» из 5 лиц, из коих четыре должны были маскировать собой его единоличную власть. Совет и даже «демократические» круги самого Керенского были против директории.

После принятия Советом резолюции, предложенной большевиками, меньшевики и с.-р. решили ультимативно потребовать от Керенского удаления членов партии к.-д. из правительства. Центральный Комитет партии с.-р. подкрепил это требование угрозой отозвать своих представителей из правительства, если к.-д. останутся в нем: в этом случае даже сам Керенский лишался права считать себя представителем с.-р. (Милюков, т. I, ч. 3, стр. 19).

В результате обсуждения вопроса в правительстве подали в отставку министры Авксентьев, Скобелев и Зарудный. Настроение этих «социалистов», как повествует Милюков, было близко к полному отчаянию...

Конечно, они бросились в Смольный и попытались личным воздействием если не склонить начавший бунтоваться против Керенского «ЦИК его собственного величества», то хоть смягчить его требования...

Конечно, Церетели пришел им на помощь. И, конечно, ЦИК образумился. Он принял новое постановление, излагающее его требования в таком виде: 1) Немедленно созывается с'езд всей организованной демократии и демократических органов местного самоуправления, который должен решить вопрос об организации власти, способной довести страну до учредительного собрания. 2) До этого с'езда центральный исполнительный комитет предлагает правительству сохранить свой теперешний состав и... призывает демократию оказывать энергичную поддержку в его работе по организации обороны страны и борьбы с контр-революцией, в частности, путем демократизации армии и решительного обновления высшего командного состава. 3) Комитеты находят необходимым, чтобы правительство при принятии мер по охране порядка действовало в тесном контакте с комитетом народной борьбы против контр-революции при всероссийском центральном комитете.

Приводя это постановление, проф. Милюков в восторге говорит:

«Решение было во всех отношениях ловкое. Оно оставляло все в прежнем виде и ничего не уступало из требований «демократии». Главную трудность оно отодвигало в будущее, достаточно отдаленное, чтобы облегчить решение для данного момента, но в то же время достаточно близкое, чтобы не испугать «демократию»... Церетели... обладал достаточным искусством обходить действительные затруднения... Такова же, в сущности, была теперь и тактика Керенского...» (Милюков, т. I, ч. 3, стр. 22).

И колокола зазвонили: «Кризис разрешен благополучно... Временно по вопросам управления и государственной обороны решено сосредоточить власть в руках совета пяти: Керенского, Никитина, Терещенко, Верховского и Вердеревского» (последние двое были назначены военным и морским министрами).

«Керенский, — пишет Милюков,—получал свою «директорию», но «временно», и при этом нисколько не отказывался от принципа коалиции,

ни даже от введения в коалицию «цензовых элементов»... Наконец, вопрос, особенно интересовавший «демократию» — о праве предстоящего «демократического совещания» самостоятельно создать новую власть — был в первый момент намеренно затушеван. «Демократия» могла считать, что она имеет это право, а правительство продолжало думать, что пополнение кабинета им просто отстрочено «до того момента, когда явится возможность снова вернуться к сформированию состава Временного правительства на прежних коалиционных началах». В этом смысле Керенский дал обещание и Кишкину, приняв его из тех трех кандидатов, которые приехали из Москвы... Министрами они не сделались, но кандидатами быть не перестали...» (стр. 23).

О, Маккиавели, Талейран и Меттерних! Думали ли вы когда-нибудь, что у вас будут такие талантливые ученики — вожди партии социалистов-революционеров и социал-демократов-меньшевиков?

«Сохранив таким образом главное, что ему было нужно, — восторгается дальше Милюков, — Керенский решил сделать демократии уступки в тех ее требованиях, которые имели для нее принципиальное значение. Легче всего было удовлетворить желание «революционной демократии» о провозглашении России демократической республикой. Юридического значения это провозглашение все равно не имело.

Правительственная декларация, высокопарно об'являя Россию республикой, сообщала о «передаче полноты власти по управлению пяти лицам из состава временного правительства» и говорила о новой программе «директории»: «Временное правительство главной своей задачей считает восстановление государственного порядка и боеспособности армии... будет стремиться к расширению своего состава путем привлечения в свои ряды представителей всех тех элементов, кто вечные и общие интересы родины ставит выше временных и частных интересов отдельных партий или классов... не сомневаясь, что эта задача будет им выполнена в течение ближайших дней...»

Красиво говорил Керенский, когда речь шла... о приятелях Милюкова и «более правых» групп! Они, видите ли, преследовали «вечные и общие интересы родины»!! Куда до них каким-то большевикам!..

Милюков смакует: «Как видим, нет ни слова о «демократическом совещании». Моралистическая сентенция о «вечном и общем» прикрывала весьма определенное содержание, которое выясняется хотя бы из повторения слов о «партиях и классах» в письме Н. М. Кишкина в редакцию газет. «Демократии» предоставлялось проглотить все это под приправой из «демократической республики» (Милюков, там же, стр. 25).

Итак, Керенский провозгласил ближайшее приглашение в состав правительства сторонников «вечного и общего» и т. д. А Н. М. Кишкин сейчас же вылез на страницы газет с письмом, в котором заявил: «Это обо мне»...

Ну, а ЦК партии с.-р., который только что вынес резолюцию, угрожавшую самому Керенскому, а Церетели, Гоц, Дан и др., которые ездили в Зимний пред'являть Керенскому ультиматум об изгнании кадетов? Они-то поняли все происшедшее, или нет, они-то оценили ли все издевательство над ними Керенского? Повидимому, не поняли ничего, потому что разговоры об ульти-

матумах и проч. как-то прекратились. А хитрый Милюков тогда молчал. Он посмеялся над всей этой комедией только в 1924 г. в Софии, где издал цитируемую мною 3-ю часть его «Истории».

С целью дальнейших «уступок» «демократии» Керенский поехал в ставку, «как только это появление в ставке стало для него безопасно», — ехидничает Милюков, для ее «чистки». Я больше склонен присоединиться к утверждению Суханова, который говорит, что главнейшей целью поездки Керенского в ставку в начале сентября было стремление «замести следы» своего участия в корниловском заговоре (т. VI, стр. 52).

«Из других требований «революционной демократии», — пишет Милюков, — легко было исполнить требование о роспуске государственного совета и государственной думы... Но... Керенский не решился поднять руку на учреждение, создавшее его собственную политическую репутацию... Опубликование указа было отложено. В октябре, все равно, полномочия IV государственной думы оканчивались...»

Дальше, резолюция ЦИК требовала от временного правительства сотрудничества с военно-революционными комитетами, образовавшимися повсюду для отпора корниловской контр-революции. Керенский 4 сентября издал приказ о... роспуске этих организаций... Правда, результаты этого приказа были довольно... плачевны. Ему никто не подчинился. Комитеты продолжали существовать и работать.

Организация власти шла полным темпом. На место Зарудного был назначен П. Н. Малянтович — бывший большевик, чего еще вам нужно? Портфель министра народного просвещения был вручен профессору С. С. Салазкину, министерство финансов было вручено Бернацкому. На место генерала Алексеева был назначен ген. Духонин. А с кадетами и «более правыми» кругами, не переставая, велись переговоры. 14 сентября в Зимний на совещание с Александром Керенским пожаловали из Москвы г.г. Кишкин, Бурышкин, Коновалов, Третьяков. Был приглашен, но не соизволил приехать, московский туз, купец Четвериков. На утреннем совещании с ними Керенский заявил, что он намерен создать коалиционное правительство, не исключая кадетов. Москвичи пред'явили свои условия: 1) они разговаривают с Керенским, как с независимым представителем и главой верховной власти (при чтении этого пункта Керенский, вероятно, умильно щурился, как кот на самое вкусное сало), 2) правительство также должно быть безусловно независимо от всех «безответственных групп», 3) оно должно об'явить решительную борьбу всем проявлениям анархии и 4) не останавливаться ни перед какими мерами для восстановления боеспособности армии.

Заявили и уехали. Керенский пригласил их посетить его вечером в тот же день. Вечером опять торговались... Вернее, не торговались, ибо программа промышленников ничем не отличалась от плана действий самого Керенского, а обсуждали, каким способом ее вернее осуществить. Кто-то заикнулся об опасности «демократического совещания». Один из членов «директории» успокоил, что переговоры ведутся вне всякой зависимости от этого совещания...

XVIII. Если Керенский захочет,—так поставит на своем...

Собралось «демократическое совещание». Большевистская делегация выступала на нем с огромным успехом. Действительно, не было ни у кого такого ясного и правильного понимания событий, как у большевиков. Они ничего не старались замазывать, никому не пытались «втереть очки», а, наоборот, хотели заставить прозреть тех, кто еще не достаточно разбирался в политике всеобщего предательства, об'единившей всех от Милюкова до Чернова в одно целое.

Главным вопросом был поставлен вопрос о составе правительства. За коалицию или против нее?

Состав совещания был достаточно пестр: были представительства от всех советских организаций, рабоче-солдатских и крестьянских, от профсоюзов, от земцев и городов, от кооперативов, от железнодорожников, от почтово-телеграфных работников, от продовольственных, земельных и других экономических органов, от фронтов и тыловых частей, от врачей, журналистов, казаков, увечных воинов, православного духовенства...—словом, вся «демократия»...

Керенский выступил перед совещанием с речью. В сопровождении двух ад'ютантов он вышел на эстраду и начал:

— Перед собранием демократии, волей которой и вместе с которой я творил революцию, я не могу говорить, прежде чем не почувствую, что здесь нет никого, кто мог бы мне лично бросить упреки и клевету, которые я слышал в последнее время...

Керенский не успел кончить этой фразы, как со скамей большевиков услышал ясное и четкое: «Есть, есть»...

Речь сорвалась. В дальнейшем разнервничавшийся Керенский говорил о том, что ему «давно было известно» про корниловщину, что к нему «приходили» и «предлагали»...—«Кто именно?» — спрашивали большевики. Ответить на это Керенский ничего, конечно, не мог, не разоблачив себя до конца...

В конце речи, раздраженный явной враждебностью большой части собрания, Керенский попробовал прибегнуть к горделивой осанке и к своему мифическому могуществу:

— Когда я прихожу сюда, я забываю все условности положения, то место, которое занимаю, и говорю с вами, как человек. Но человека здесь не все понимают, и тогда я скажу вам тоном власти. Кто осмелится покушаться на свободу республики, кто осмелится занести нож в спину русской армии, тот узнает власть временного правительства, правящего доверием всей страны...

Да, от «власти» остался к этому времени один только «тон», к которому, заведомо безрезультатно, мог прибегать «глава правительства»...

Основным вопросом демократического совещания был вопрос о конструкции власти. За коалицию или против?

Голосование этого вопроса дало никогда и нигде, кажется, еще не виданные результаты: за коалицию было подано 766 голосов, против коалиции — 688, воздержалось — 38 во главе с Черновым.

Казалось, решение ясно... Но тут попались поправки к этой резолюции, сыгравшие роль апельсинных корок для «демократии».

Большинством 595 голосов против 483 при 72 воздержавшихся была принята поправка, исключающая из коалиции кадетскую партию.

Резолюция в целом, естественно, принимала такой вид: коалиция, но без кадетов. Однако, когда в этой именно редакции резолюция была поставлена на баллотировку, то она оказалась... проваленной большинством 813 голосов против 180 при 80 воздержавшихся...

Положение стало безвыходным. «Спасли» его, конечно, все те же Дан, Церетели, Гоц. Они уговорили большинство передать решение этого вопроса тому представительному органу, который изберет демократическое совещание и перед которым будет ответственно правительство.

Программой для правительства совещание приняло — подавляющим большинством или единогласно—следующие пункты (цитирую по Суханову, т. VI, стр. 142—143):

«1) программа 14 августа, как обязательная для правительства, с дополнением «активной внешней политики» (напомню, что программа 14 августа, это — те требования, которые оглашены были Чхеидзе на Московском государственном совещании и под которыми подписались меньшевики, эсеры, кооператоры и т. д. *Д. С.)*; 2) ответственность перед предпарламентом; 3) поручение этому предпарламенту предпринимать все необходимые шаги для организации власти; 4) организация предпарламента путем пропорционального представительства партий демократического совещания».

Всякий другой ощущал бы немалое затруднение при этих условиях формировать власть. Всякий другой, ...но не Керенский.

Совещание высказалось за коалицию, приняло поправку «без кадетов» и провалило в целом резолюцию: коалиция без кадетов. Как это истолковать?

Всю эту историю можно истолковать, как угодно. Конечно, Керенский истолковал решение совещания, как разрешающее ему пригласить в правительство кадетов и всех, кого он найдет нужным.

И сейчас же по телеграфным проводам полетели извещения с именами новых министров: Кишкин, Бурышкин, Коновалов, Третьяков...

Однако московские промышленники не унимались. Они и тут были непримиримы. Они отказались войти в правительство, мотивируя свое нежелание невозможностью быть ответственными ни перед кем, кроме «своего разума», а тут требуют их ответственности перед предпарламентом!

Промышленники указывают, что ответственность правительства перед предпарламентом является нарушением уже достигнутого соглашения с ними...

Подождите! Посмотрите, во что обернутся все постановления «организованной демократии»...

На следующий день газеты сообщили, что правительство будет нести перед предпарламентом... м о р а л ь н у ю, а не юридическую ответственность. Ух, как камень с души свалился! Идем дальше.

22 сентября в Зимнем состоялось новое совещание правительства с «представителями демократии». Последними являлись: Чхеидзе, Церетели,

Гоц, Авксентьев, Руднев, Шрейдер, кооператор Беркенгейм и учитель Душечкин.

Заседание открыл Керенский речью, в которой заявил (Суханов, т. VI, стр. 162): «Решения демократического совещания не обязательны для него, как для общенациональной власти... Власть должна быть коалиционной... Правительство продолжает стоять на той точке зрения, что организация власти и пополнение состава правительства принадлежит ныне только Временному правительству. Оно руководствуется программой, выработанной в его среде; выработка новых программ и деклараций — работа тщательная. Предпарламент не может иметь функций и прав парламента, и правительство не может нести перед ним ответственности. Наоборот, организация предпарламента будет принадлежать правительству, которое и привлечет в его состав представителей разных классов... Буржуазия и демократия должны сплотиться для борьбы с анархией, от которой гибнет страна...».

Присутствовавшие промышленники и кадеты немедленно целиком присоединились к изложенной точке зрения Керенского.

— Любопытно, — говорили они, явно издеваясь, — что̀ нам на все это скажут представители демократии? Ведь, кажется, между ними и Керенским целая пропасть. Керенский считает правительство единственным источником власти, а демократический с'езд для создания власти прислал сюда правомочную делегацию. Керенский заявил, что для общенационального правительства программа 14 августа не обязательна, а с'езд поручил исходить из этой программы. Керенский рассматривает предпарламент, как совещание при правительстве, которое оно само для себя организует, а с'езд принял резолюцию, согласно которой правительство ответственно перед предпарламентом... Тут пропасть, а не единение! Пусть граждане-демократы перебросят через нее мост, а потом будем разговаривать.

Набоков, который взял быка за рога от имени ЦК кадетской партии, спокойно ожидал постройки моста. В роли строителей выступили: Церетели, Авксентьев, Беркенгейм, Прокопович, Никитин...

— Конечно, — говорил техник по постройке Руднев, — демократическое совещание не имеет права создавать власть, ибо оно есть орган, выражающий политическое мнение демократии, а совсем не всенародную волю.

Главную балку для моста притащил «инженер» Церетели: дело не в том, чтобы в декларации правительства была непременно ссылка на программу 14 августа: достаточно, чтобы правительство осуществляло перечисленные там меры, — «меры, на осуществление которых понадобились бы не месяцы, а годы», — прибавляет Милюков (стр. 64).

— Предпарламент, — прибивал балку гвоздями Церетели, — нужен для подготовки «психологии масс» к парламентаризму...

Набоков ответил, что с этой точки зрения предпарламент далеко уступает булыгинской думе...

Дальше Церетели согласился и на то, чтобы предпарламент был создан самим правительством и чтобы оно не несло перед ним вовсе никакой ответственности.

Кадеты и промышленники попробовали ногой этот мост и признали его могущим выдержать их тяжеловесные персоны.

Достройка моста продолжалась на следующий день.

Газеты писали: «Принято о привлечении к продовольственному делу частного торгового аппарата», «исключено указание на государственное синдицирование промышленности», констатировано, что «налог на военную прибыль установлен в размерах, угрожающих самому существованию промышленности»... «признана совершенно неприемлемой передача земель в руки местных комитетов»... «признано совершенно неприемлемым признание за народностями права на самоопределение»... «после возражений кадетов и промышленников представители демократии не сочли возможным требовать роспуска государственной думы»... «Вопрос о формальной ответственности был отвергнут почти без прений».

Правительство сформировано. Милюков повествует ныне, что Коновалов (заместитель Керенского в кабинете министров), Кишкин, Третьяков и Карташев получали директивы для своих действий в правительстве от ЦК партии кадетов, который делегировал для постоянных сношений с этими лицами своих членов: Набокова, Аджемова, Винавера и Милюкова.

А Керенский? «В лице Коновалова и Кишкина он имел личных друзей, которым доверял. Но оба эти министра воспользовались своим положением не для восстановления триумвирата... а для проведения общих взглядов и решений упомянутого кружка», — признается дальше Милюков. Т.-е. для осуществления диктатуры партии кадетов...

Итак, мост построен. Но прежде чем открыть по нему движение, должна быть назначена экспертиза правильности постройки и его пригодности.

В роли экспертов выступили, естественно, партийные центры строителей власти: «защитник пролетариата» — центральный комитет партии социал-демократов меньшевиков и «выразитель интересов крестьянства» — центральный комитет партии социалистов-революционеров.

Первый постановил: «признавая основы соглашения, заключенные между демократией и цензовыми элементами, не вполне удовлетворительными и находя необходимым стремиться к изменению этих основ как в смысле установления формальной ответственности правительства перед предпарламентом, так и в смысле более последовательного демократического осуществления отдельных пунктов программы, ЦК... считает, что соглашение... — единственный выход из создавшегося положения».

Кроме того, ЦК меньшевиков, «учитывая роль эсдеков в рядах об'единенной демократии в настоящий момент» и разрешая членам партии «в каждом отдельном случае» оставаться в составе правительства, «оставляет за собой право отзывать членов партии из правительства, когда ЦК признает пребывание их в правительстве несовместимым с интересами пролетариата»... Значит, все, что произошло, пока не вызывало никакого сомнения в п о л ь з е для интересов пролетариата!

ЦК социалистов-революционеров высказывался следующим образом: «Полагая, что революционная власть должна быть построена на основе про-

граммы 14 августа и на ответственности власти перед демократическим советом, при чем в состав министерства могут войти отдельные представители как революционной демократии, так и цензовых элементов, ЦК признает, что намеченные основы соглашения хотя и представляют некоторые отступления (до чего дипломатично! *Д. С.)* от указанных принципов сформирования власти, тем не менее, при данных политических и хозяйственных условиях и международном положении страны они должны быть приемлемы для партии эсеров».

Но ведь всего неделю назад тот же ЦК партии эсеров требовал однородного министерства и грозил Керенскому отозванием, если он пригласит в правительство кадетов?

Да!.. Ничего не поделаешь!.. Знаете, политические и хозяйственные условия и международное положение страны...

Петроградский Совет, избравший в это время председателем своим тов. Троцкого, заявил четко и ясно:

«Новое правительство войдет в историю революции, как правительство гражданской войны. Совет заявляет: правительству буржуазного всевластия и контр-революционного засилья мы, рабочие и гарнизон Петрограда, не окажем никакой поддержки. Мы выражаем твердую уверенность в том, что весть о новой власти встретит со стороны всей революционной демократии один ответ: в отставку!..»

Керенский был чрезвычайно доволен. Его игра выиграна. Терещенко, Третьяков, Кишкин, Бурышкин и прочая, и прочая — с ним в правительстве, вопреки всем постановлениям, резолюциям, совещаниям, протестам даже соглашательских организаций.

XIX. Конец Временного правительства.

Новое коалиционное правительство значительно отличалось от всех прежних. Чем же именно? — спросят меня. Для ответа на этот вопрос я лучше уступлю слово министру этого правительства Кишкину, так как лучше, чем он это сказал на с'езде кадетской партии 14 октября, не скажешь:

«Среди самого правительства теперь еще можно сговориться, — что было так трудно, почти невозможно при прежних коалиционных правительствах...» (Милюков, т. I, ч. 3, стр. 129).

О чем сговориться? Этого Кишкин не сказал, да и так совершенно ясно: ведь речь идет о сговоре Керенского, Никитина и других «социалистов» с Кишкиным, Бурышкиным, Третьяковым и другими зубрами из кадетской и других, более правых партий.

Появилась, конечно, на свет и «декларация». Суханов (т. VI, стр. 186) говорит, что декларацию составил Церетели и исправили биржевики. Вполне возможно. Привожу, по Суханову, ее основные пункты в сравнении с прежними декларациями:

«Вместо «мира без аннексий и контрибуций» ныне появился «дух демократических начал, возвещенных революцией». Вместо «усиления прямого

обложения имущих классов» — «повышение существующих и введение новых косвенных налогов». Вместо «мысли о переходе земли в руки трудящихся» — «упорядочение поземельных отношений и существующих форм землевладения». Вместо «государственной организации производства» — «широкое использование частного торгового аппарата». Наконец, вместо «полного и безусловного доверия всего народа», как необходимого условия работы, в новой декларации мы видим один только «долг присяги» и «принцип самодержавности...»

Какие из этих поправок принадлежат Церетели, а какие биржевикам — неизвестно.

Что происходило в это время в стране?

Крестьяне, терпение которых лопнуло, начали разрешать аграрный вопрос по-своему: «сожжено до 25 имений», «прибыл для подавления из Москвы отряд»... «уничтожаются леса и посевы», «для успокоения посланы войска»... «убытки исчисляются миллионами»... «идет поголовное истребление»... «погромное движение (против помещиков) разрастается, перекидываясь в другие уезды»... Такие сведения поступали из Кишинева, Саратова, Тамбова, Таганрога, Одессы, Житомира, Самары, Чернигова, Пензы, Нижнего-Новгорода, Воронежа, Киева... Вероятно, всюду уже успели прочитать утешительное для крестьян место декларации об «упорядочении существующих форм землевладения»...

Конечно, временное правительство постановило: «принять решительные меры, не останавливаясь перед...» (Суханов, стр. 212).

«Чистка» ставки, для выполнения чего, по собственным заявлениям, ездил туда Керенский, конечно, оставила всех корниловцев на их прежних командных высотах, за исключением арестованных 5 человек. Могилевский совет (ставка была в Могилеве) писал в Петроград: «Напрасно обольщаются те, кто верит Верховскому (военному министру). Ставка, за исключением арестованных главарей мятежа, находится доселе в неприкосновенности...».

Голодная армия воевать больше не могла. В Смольном усиленно говорили о нежелании Керенского открыть, наконец, конференцию о целях войны и тем приблизить мир. Керенский сам почувствовал неловкость дальнейшего молчания правительства по этому вопросу... И, наконец, опубликовал имена представителей России на этой, неизвестно когда еще будущей, конференции. Дело мира было сдано в надежные руки. Бороться за мир Керенский посылал: кадета-корниловца Маклакова и... генерала Алексеева! Последнего, как говорят — для защиты точки зрения революционной демократии...

Стоит ли продолжать дальше? Пожалуй, нет.

Заседал «предпарламент». Бесконечная говорильня, с участием всех звезд всех партий, за исключением большевиков, которые отказались принять в ней участие и ушли, правильно учтя, что слова все сказаны, и очередь за делом.

Они принялись за организацию широких рабочих масс и войсковых частей. Симпатии пролетариата и армии были уже давно на их стороне. ЦК большевиков на тайных заседаниях при деятельном участии и при руко-

водстве самого неутомимого тов. Ленина разрабатывал план восстания, выделял руководящий центр, создавал крепкие организации в войсковых частях, на фабриках и заводах. «Военно-революционный комитет» готовился сменить собою штаб Петроградского военного округа.

Последний — во главе с назначенным Керенским полковником Полковниковым—делал все, что мог, для отражения предстоящего восстания, и напрасно Керенский впоследствии в брошюре «Гатчина» говорил, что «мы, члены правительства, слишком поздно узнали, что как сам Полковников, так и часть его штаба вели в роковые дни двойную игру и примыкали как раз к той части офицерства, в планы которой входило свержение Временного правительства руками г.г. большевиков». Керенский не понял того, что в это время уже *все* население было против Временного правительства, и защитить Керенского могли разве только те немногочисленные части, которые, будучи корниловцами, считали большевиков «предателями», но ведь они в то же самое время были и против Керенского!

Полковник Полковников мог рассчитывать только на них... за отсутствием каких бы то ни было других вооруженных частей... И он делал все, что был в состоянии. Тов. Антонов от имени военного-революционного комитета делал доклад в Петроградском совете 23 октября о принятых мерах: «Почти все части гарнизона уже признали власть комитета и его комиссаров. К комитету начали обращаться разные столичные учреждения... Через рабочих Кронверкского арсенала комитет узнал, что, по распоряжению штаба, из арсенала выдается значительное количество винтовок. Комитет послал в арсенал своего комиссара, который задержал 10.000 винтовок, предназначенных к отправлению в Новочеркасск... Комитет постановил, чтобы рабочие выдавали оружие со складов и заводов не иначе, как по его ордеру... Военно-революционный комитет не только осведомлен о мерах, которые правительство принимает на случай восстания, вызывая войска с фронта и из разных городов, но уже и принял со своей стороны меры: одна пехотная часть, направлявшаяся к Петрограду, задержана у Пскова, одна пехотная дивизия и два полка в Вендене отказались итти на Петроград. Пока неизвестно, что произошло с отрядом юнкеров, вызванным из Киева, и с ударными батальонами...».

Это—результат работы военного-революционного комитета большевиков *за два дня* его существования!

Так докладывал тов. Антонов Совету, но многого он сказать не мог из-за соображений конспирации. Однако и из сказанного ясно, что штаб не дремал, что полковник Полковников не сидел сложа руки, и не его вина, если ни штыки, ни телеграф, ни железные дороги, ни телефоны уже не действовали в защиту Временного правительства.

Еще 21 октября военно-революционный комитет послал своих комиссаров в штаб полковника Полковникова и потребовал, чтобы ни одно распоряжение штаба не выходило без контрассигновки этих комиссаров. Конечно, штаб отказал им в этом. Конечно, Керенский был возмущен «до глубины души». Однако не в штабе уже было дело; суть была в том, что ни одна воин-

ская часть, за исключением нескольких юнкерских училищ, не повиновалась уже больше правительству и распоряжениям штаба, а подчинялась приказам только военно-революционного комитета.

Керенский и Полковников издали приказ:

«Ввиду незаконных действий представителей Петроградского совета, командированных в качестве комиссаров, частям, учреждениям и заведениям военного ведомства приказываю: 1) всех комиссаров Петроградского совета, впредь до утверждения их правительственным комиссаром округа — отстранить, 2) о незаконных действиях произвести расследование для предания военному суду, 3) о всех незаконных действиях немедленно донести мне с указанием фамилий комиссаров».

А раню утром 24 октября Полковников послал нескольких юнкеров закрыть большевистские газеты «Рабочий Путь» и «Солдат».

Нет, Полковников действовал, и напрасно на него задним числом жаловался Керенский.

Правда, как раз в то время, когда юнкера подходили к редакциям газет с целью их закрытия, к Петрограду из Гельсингфорса тоже подходили... два миноносца, посланные Балтийским флотом... Их не звал никто, но прислали сами матросы под предлогом «приветствия» собиравшемуся Всероссийскому с'езду Советов. Лучшего приветствия т.т. матросы, конечно, не могли и прислать...

Ночь на 24 октября Керенский провел в штабе, «организуя оборону» путем... писания приказов.

Он приказал всем владельцам автомобилей доставить их в распоряжение штаба под угрозой «всей строгости законов». Конечно, ни одного автомобиля штаб не получил, а, наоборот, число и тех, которые были в его распоряжении, загадочно уменьшилось... Керенский запретил всякие выступления «под страхом предания суду за вооруженный мятеж», приказал войскам не исполнять приказов, «исходящих от различных организаций». Потом написал приказ со строжайшим приказом исполнять приказы штаба Петроградского округа, указав, что «при штабе находятся комиссары ЦИК, и поэтому неисполнение приказов будет дезорганизацией и распылением революционного гарнизона»...

Проявив такую исключительную энергию, Керенский утром явился в заседание «Совета Республики» и выложил перед остолбеневшими и оторопевшими «представителями демократии» все положение, в котором очутилось правительство. Зачем? Он хотел, видите ли, перед принятием крутых, беспощадных мер против военно-революционного комитета, заручиться поддержкой и одобрением этого высокого демократического голоса страны.

Последнюю речь последнего премьер-министра приводить целиком нет никакой возможности. Ограничусь наиболее характерными выдержками по стенографическому отчету:

«В последнее время вся Россия и в особенности население столицы, было встревожено и крайне обеспокоено теми открытыми призывами к восстанию, которые делались безответственной, отколовшейся от ре-

волюционной демократии частью этой демократии... Я позволю себе для того, чтобы никто не мог упрекнуть Вр. правительство в возведении на какую-либо партию неправильного обвинения или злостного измышления, процитировать здесь наиболее определенные места из ряда прокламаций, которые помещались разыскиваемым, но скрывшимся государственным преступником Ульяновым-Лениным в газете «Рабочий Путь»... В ряде прокламаций под заглавием «Письма к товарищам», данный государственный преступник... доказывал необходимость приступить к немедленному вооруженному восстанию... Такого же рода прокламации и воззвания, отягченные призывом к неисполнению боевых распоряжений и неподчинению военным властям, помещались и в другом органе этой партии, специально предназначенном для солдат и долженствовавшем уничтожить тлетворное влияние в солдатской среде органа ЦК Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, в газете «Голос Солдата»... Одновременно начался ряд приготовлений к активным выступлениям... Итак, после такого ряда открытых подготовительных действий и пропаганды восстания данная группа, именующая себя большевиками (слог-то, слог! Прямо из обвинительных актов царизма! *Д. С.)*, приступила к его выполнению... Хотя было наличие всех данных для того, чтобы приступить немедленно к решительным и энергичным мерам, власть считала надобным дать сначала этим людям возможность сознать свою сознательную или бессознательную ошибку и предоставила срок для того, чтобы, если это была ошибка, от нее можно было бы свободно отказаться... Я вообще предпочитаю, чтобы власть действовала более медленно, но зато более верно и в нужный момент более решительно... В настоящее время прошли все сроки, и мы того заявления, которое должно было бы быть, не имеем, но имеется обратное явление, именно — самовольная раздача патронов и оружия, а также вызов двух рот на помощь революционному штабу. Таким образом я должен установить перед временным советом Российской республики полное, ясное и определенное состояние известной части населения Петрограда, как состояние восстания... Мною предложено немедленно начать соответствующее судебное следствие и произвести соответствующие аресты...»

На левой стороне предпарламента поднимается сильнейший шум.

— Да слушайте же, — громко заявляет Керенский, — потому что в настоящее время, когда государство погибает, находится на краю гибели, Временное правительство, и я в том числе, предпочитаем быть убитыми и уничтоженными, но жизнь, честь и независимость государства мы не предадим...

Не прошло 48 часов, как Керенский, забыв это свое торжественное обещание, удрал из Зимнего дворца, предоставив Коновалову и прочим своим друзьям отстаивать в Петропавловской крепости «жизнь, честь и независимость» государства...

Во время этой патетической речи Керенскому передали копию приказа Совета, только что разосланного по полкам:

«Петроградскому Совету Солдатских и Рабочих Депутатов грозит опасность. Предписываю привести полк в боевую готовность и ждать дальней-

шего распоряжения. Всякое промедление и неисполнение приказа будет считаться изменой революции. За председателя Подвойский. Секретарь Антонов»

Керенский оглашает этот приказ и продолжает:

«Таким образом, в настоящее время существует состояние столицы которое на языке судебной власти и закона именуется состоянием восстания... Граждане, я обращаюсь к вам и ко всему населению Российского государства не для того, чтобы призывать вас к обострению какой-либо войны а чтобы призвать вас к бдительности... я пришел сюда с уверенностью, что Вр. правительство встретит единодушную поддержку не только вр. совета Российской республики, но и всего Российского государства... Вр. правительство в настоящее время с полным сознанием ответственности перед государством и будущим страны заявляет: в настоящее время те элементы русского общества, те группы и партии, которые осмелились поднять руку на свободную волю русского народа... подлежат решительной и окончательной ликвидации... Я прошу от имени страны — да простит мне вр. совет Российской республики, — требую, чтобы сегодня же в этом дневном заседании Вр. правительство получило от вас ответ, может ли оно исполнить свой долг с уверенностью в поддержке этого высокого собрания».

Оглушительные аплодисменты «высокого собрания» проводили Керенского, который быстро вышел из заседания.

Я опустил в речи Керенского место, в котором он заявлял: «Большевики — та партия, которая обещает народу землю и мир. Но Вр. правительство обсуждает как раз теперь (удивительное совпадение! *Д. С.)* в окончательной форме вопрос о передаче временно — до Учредительного Собрания — земель в распоряжение и управление земельных комитетов» (вопреки только что опубликованной декларации! *Д. С.)* и «предполагало в ближайшие дни отправить свою делегацию на парижскую конференцию для того, чтобы там, согласно своих убеждений и программе в числе прочих вопросов поставить вопрос и предложить вниманию союзников о необходимости решительно и точно определить задачи и цели войны, то-есть вопрос о мире».

Нужды нет, что Терещенко только что произнес в том же совете республики от имени правительства речь, в которой *ничего* не говорил о мире.

«Уверенный в том, что представители народа до конца сознали всю исключительную тяжесть и ответственность положения, — пишет Керенский («Гатчина», стр. 3), — я, не ожидая результатов голосования Совета, вернулся в штаб к прерванной срочной работе, думая, что не пройдет и часа, как я получу сообщение о всех решениях и деловых начинаниях совета республики на помощь правительству. Ничего подобного не случилось. Совет, раздираемый внутренними распрями и непримиримыми разноречиями мнений, до позднего вечера не мог вынести никакого решения. Вожди всех антибольшевистских и демократических партий вместо того, чтобы спешно организовать свои силы для трудной борьбы с изменниками, весь этот день и весь вечер потеряли на бесполезные споры и ссоры».

«Никогда не забуду, — пишет Керенский, — следующей, поистине исторической сцены. Полночь на 25 октября. В моем кабинете в пере-

рыве заседания Вр. правительства происходит между мною и делегацией от социалистических групп совета республики достаточно бурное об'яснение по поводу принятой, наконец, левым большинством совета резолюции, которую я требовал утром. Резолюция, уже никому тогда ненужная, бесконечно длинная, запутанная, обыкновенным смертным мало понятная в существе своем, если не прямо отказала правительству в доверии и поддержке, то во всяком случае совершенно недвусмысленно отделяла левое большинство совета республики от правительства и его борьбы. Возмущенный, я заявил, что после такой резолюции правительство завтра же утром подаст в отставку... На эту мою взволнованную филиппику спокойно и рассудительно ответил Дан, тогда не только лидер меньшевиков, но и и. д. председателя ВЦИК... Дан заявил мне, что они осведомлены гораздо лучше меня, и что я преувеличиваю события под влиянием сообщений моего «реакционного штаба». Затем он сообщил, что неприятная «для самолюбия правительства» резолюция большинства совета республики чрезвычайно полезна и существенна для «перелома настроения в массах», что эффект ее уже сказывается, и что теперь влияние большевистской пропаганды будет «быстро падать». С другой стороны, по его словам, сами большевики в переговорах с лидерами советского большинства из'явили готовность «подчиниться воле большинства советов», что они «завтра же» готовы предпринять все меры, чтобы потушить восстание, «вспыхнувшее» помимо их желания, без их санкции. В заключение Дан упомянул, что большевики «завтра же» (все завтра) распустят свой военный штаб, заявил мне, что все принятые мною меры к подавлению восстания только раздражают массы, и что вообще я своим вмешательством лишь мешаю представителям большинства советов успешно вести переговоры с большевиками о ликвидации восстания... Для полноты картины нужно добавить, что как раз в то время, когда мне делалось это замечательное сообщение, вооруженные отряды Красной гвардии занимали одно за другим правительственные здания. А почти сейчас же, по окончании этой беседы, на Миллионной улице, по пути домой с заседания Вр. правительства был арестован министр исповеданий Карташев и отвезен в Смольный, куда отправились и члены бывшей у меня делегации вести мирные переговоры с большевиками» [1]).

Успокаивал Керенского также и председатель совета республики Авксентьев, заявивший, что отсутствие выражения доверия правительству в резолюции произошло «по недосмотру»...

Явились к Керенскому и делегаты казачьих частей для переговоров об их участии в подавлении восстания. Керенский и с ними потерял немало времени, а потом оказалось, что совет союза казачьих войск уже высказался за нейтралитет и рекомендовал казачьим частям не защищать правительство.

---

[1]) В своей статье в кн. I „Летописи Революции" (Берлин 1922) Дан указывает, что он предлагал Керенскому немедленно расклеить по городу об'явления о передаче Временным правительством всей земли крестьянам и о решении прекратить войну, и упрекает Керенского, что он умышленно умолчал об этом.

Бабушка-история ворожила повсюду. Возьмите, например, статью А. Синегуба «Защита Зимнего дворца», опубликованную в томе IV «Архива русской революции». Синегуб был ад'ютантом начальника юнкерской школы и активно участвовал в защите Временного правительства.

Вот как рассказывает он про подготовку к выступлению школы «на позиции»:

«—...Ну, бегу в роту, — говорил капитан. — Надо к пулеметам замки наладить. Эти прохвосты мало того, что ключи потеряли от склада, так что пришлось приказать взломать дверь, да еще замки с пулеметов поснимали и куда-то запрятали...» (стр. 124).

«—...Там все офицерство Петрограда соберется. Подумай, какая это красивая, сильная картина будет. Помнишь, я рассказывал, что когда я 19 числа ездил с докладом в главный штаб, то перед Зимним и перед штабом стояли вереницы офицеров в очереди за получением револьверов».

«— Ха, ха, ха, — перебил меня, разражаясь смехом, поручик. — Ну, и наивен же ты! Да ведь эти револьверы эти господа петербургские офицеры сейчас же по получении продавали. Да еще умудрялись по нескольку раз получать, а потом бегали и справлялись, где это есть большевики, не купят ли они эту защиту Временного правительства...» (стр. 125).

В распоряжении Временного правительства были броневики. Стояли они в штабе округа и были в полной исправности.

«За два часа нашего отсутствия (из штаба), — пишет Керенский, — ничего не изменилось... Впрочем, нет, изменилось: у блиндированных автомобилей «исчезли» некоторые части, и они стали столь же полезны для обороны, как водовозные бочки...» («Гатчина», стр. 12).

Так было повсюду. Конечно, совершенно невероятно было бы предполагать в это время у большевиков наличие столь стройной и дисциплинированной организации, запиравшей склады с оружием, способствовавшей исчезновению замков у пулеметов, «воровавшей» необходимые принадлежности у броневых автомобилей... Нет, это были партизанские действия массы, по своему разумению и своими способами стремившейся уменьшить сопротивление низвержению Временного правительства.

Рано утром 25 октября большевики захватили центральную телефонную станцию и перервали телефонное сообщение Зимнего дворца и штаба. Матросы заняли помещение Государственного банка. Были освобождены из тюрем содержавшиеся еще там большевики. По Неве поднималась к городу целая флотилия военных судов из Кронштадта, во главе с крейсером «Аврора».

Керенский, конечно, решил выехать из Петрограда, оказавшегося в таком неприятном для него положении, чтобы «протолкнуть» в Петроград эшелоны, «застрявшие где-то у Гатчины», как об'ясняет он сам. Он, конечно, давно забыл, что собирался «лечь костьми» за «честь и свободу государства», о чем только что говорил в предпарламенте.

Прочитайте внимательно описание от'езда Керенского в его собственном изложении. Здесь — в этих строках — он весь: рисующийся собою Хле-

стаков, квалифицированный фигляр, комедиант, полный прежде всего самолюбованием и безграничной наглостью:

«— Я решил прорваться через все большевистские заставы...

«Я приказал подать мой превосходный открытый дорожный автомобиль. Солдат-шоффер был у меня отменно мужественный и верный человек. Один из ад'ютантов об'яснил ему задачу. Он, ни секунды не колеблясь, ее принял. Как на зло, у машины не оказалось достаточного для долгого пути количества бензина и ни одной запасной шины. Предпочитаю лучше остаться без шин, чем долгими сборами обращать на себя внимание... Каким образом, не знаю, но весть о моем от'езде дошла до союзных посольств. В момент моего выезда ко мне являются представители английского и, насколько помню, американского посольств с заявлением, что представители союзных держав желали бы, чтобы со мной в дорогу пошел автомобиль под американским флагом... Я с благодарностью принял это предложение, как доказательство внимания союзников к русскому правительству и солидарности с ним».

Американский посол Давид Френсис в своей книге «Россия из окна американского посольства» рассказывает об этом эпизоде несколько иначе: «Секретарь Уайтхауз вбежал ко мне в сильном возбуждении и сказал мне, что за его автомобилем, на котором развевался американский флаг, следовал до его квартиры русский офицер, заявивший, что Керенскому этот автомобиль нужен для поездки на фронт. Уайтхауз и его шурин барон Рамзай отправились с офицером в главный штаб, чтобы проверить источник этого изумительного заявления. Там они нашли Керенского... все были страшно возбуждены и царствовал полный хаос. Керенский подтвердил заявление офицера, что ему нужен автомобиль Уайтхауза, чтобы ехать на фронт. Уайтхауз заявил: это мой собственный автомобиль, а у вас (он показал на Зимний дворец, по другую сторону площади) больше тридцати автомобилей ожидают у под'езда. Керенский отвечал: они ночью испорчены, и большевики распоряжаются всеми войсками в Петрограде, за исключением немногих, заявляющих о своем нейтралитете; они отказываются подчиняться моим приказаниям. Уайтхауз и Рамзай, посоветовавшись наспех, пришли к резонному заключению, что так как автомобиль уже захвачен, они больше противиться не могут. Выйдя из штаба, Уайтхауз вспомнил об американском флаге, и, вернувшись, сказал офицеру, что он должен снять флаг... Тот возражал, и после нескольких пререканий Уайтхаузу пришлось удовлетвориться протестом против того, чтобы Керенский пользовался флагом» (цитирую по Милюкову, т. I, ч. 3, стр. 223).

Из этих двух версий, — не знаю, как читатели, — а я верю версии американского посланника, а не Керенского.

Продолжаю прерванный рассказ Керенского:

«Пожав в последний раз руку Кишкину, взявшему на себя на время моего отсутствия руководительство обороной столицы (руководить, кажется, по словам самого Керенского, было уже нечем... *Д. С.),* — я с самым беззаботным видом сошел вместе со своими спутниками во двор штаба. Сели в автомобиль. Тут оказалась кстати американская шина: одному из офицеров нехва-

тило у меня места, и он поехал отдельно, но с условием держаться от нас в городе со своим американским флагом на почтительном расстоянии. Наконец, мы пустились в путешествие. Вся привычная внешность моих ежедневных выездов была соблюдена до мелочей. Сел я, как всегда, на свое место — на правой стороне заднего сиденья в своем полувоенном костюме, к которому так привыкли население и войска... В самом начале Морской, у телефонной станции, мы проехали мимо первого большевистского караула. Потом у Астории, у Мариинского дворца — повсюду стояли патрули и отряды красных. Нечего и говорить, что вся улица, — и прохожие, и солдаты — сейчас же узнали меня. Военные вытягивались, как будто и впрямь ничего не случилось. Я отдавал честь, как всегда. Наверное, секунду спустя моего проезда, ни один из них не мог себе об'яснить, как это случилось, что он не только пропустил этого «контр-революционера», «врага народа», но и отдал ему честь...»

«Приготовляя военные операции, — дальше пишет Керенский, — я, конечно, не взял на себя военно-технического руководства и назначил ген. Краснова главнокомандующим всеми вооруженными силами Спб. района» (стр. 20).

Кто таков ген. Краснов — ясно из приведенных мною выше строк его «воспоминаний». Конечно, под командой Краснова оказался... все тот же третий корпус...

Опять казаки 3-го корпуса двинуты к Петрограду. Заняли Гатчину. Заняли без сопротивления Красное Село. Попробовали сунуться к самому Петрограду, но были разбиты у Пулкова и «отошли в исходное положение».

Казаки дрались нехотя. На них производило «разлагающее» впечатление отсутствие каких бы то ни было войск на стороне Керенского. Приходили к «верховному главнокомандующему», который показывал целый пук телеграмм о продвижении эшелонов. Но ни один эшелон так и не прибыл. Отсутствие их об'яснялось, с одной стороны, нежеланием войсковых частей защищать Временное правительство, а с другой—принятыми железнодорожниками мерами воспрепятствования всеми способами передвижению войск.

Генерал Шиллинг сообщал (цитирую по Милюкову, стр. 262):

«По докладу командира 137 пех. Нежинского полка, корпусного комиссара, а также и начальника 35 дивизии выяснилось, что везде на станциях эшелонам чинились задержки, не давали паровозов, и что в деле захвата власти большевиками весьма подлую роль сыграл Викжель» (Всероссийский Исполнительный Комитет союза железнодорожников).

Этот же Викжель вечером 30 октября прислал к Керенскому депутацию с ультимативным требованием под угрозой железнодорожной забастовки вступить в немедленные переговоры с большевиками о перемирии. Керенский спросил мнения на этот счет у генерала Краснова. Краснов посоветовал «для выигрыша времени» начать переговоры, мотивируя это тем, что, узнав об этом, казаки успокоятся, а тем временем подойдут подкрепления...

Керенский — после долгого обсуждения предложения Викжеля — согласился начать переговоры о перемирии. Слухи об этом распространились среди казаков. Полковой комитет 9-го Донского полка прислал 31 октября к Крас-

нову депутацию с просьбой всего полка «арестовать Керенского, как изменника и предателя, вовлекшего их в авантюру». Краснов убедил этого не делать, но казаки, опасаясь, что Керенский убежит, приставили к нему своего представителя «для наблюдения».

Утром на следующий день вернулись казачьи парламентеры из Красного Села, посланные для переговоров о перемирии, вместе с матросской делегацией с тов. Дыбенко во главе. Тов. Дыбенко, по словам Краснова, «очаровал в несколько минут не только казаков, но и многих офицеров». Начались переговоры о выдаче Керенского.

Краснов пришел к Керенскому и осведомил его о положении дел.

Краснов рассказывает:

«Я застал Керенского нервно шагающим по диагонали средней комнаты своей квартиры и в сильном волнении. Когда я вошел к нему, он остановился против меня, почти вплотную ко мне, и сказал взволнованным голосом:

— Генерал, вы меня предали. Ваши казаки определенно говорят, что они меня арестуют и выдадут матросам.

— Да, — отвечал я, — разговоры об этом идут, и я знаю, что ни сочувствия, ни веры в вас нет нигде.

— Но и офицеры говорят то же.

— Да, офицеры особенно настроены против вас.

— Что же мне делать? Остается одно: покончить с собой.

— Если вы честный человек и любите Россию, вы поедете сейчас, днем, на автомобиле с белым флагом в Петроград, явитесь в революционный комитет, где переговорите, как глава правительства.

А. Ф. задумался, потом, пристально глядя мне в глаза, сказал:

— Да, я это сделаю, генерал.

— Я вам дам охрану и попрошу, чтобы с вами на автомобиле поехал матрос.

— Нет,—быстро возразил Керенский.—Только не матрос. Вы знаете, что здесь Дыбенко?

Я ответил, что не знаю, кто такой Дыбенко.

— Это мой политический враг, — сказал мне Керенский.

— Что же делать! — отвечал я. — У человека, занимающего столь высокое место, естественно, есть друзья и враги. Вам приходится теперь дать ответ во многом; но если ваша совесть чиста, Россия, которая так любит вас, поддержит вас, и вы доведете ее до учредительного собрания.

— Хорошо, я уеду ночью, — сказал, немного подумавши, Керенский.

— Я не советую вам делать так, — возразил я ему.—Это будет походить на бегство. Поезжайте спокойно и открыто, как глава правительства.

— Хорошо, только дайте мне надежный конвой».

Вместо этого Керенский бежал, воспользовавшись указанным ему одним из слуг дворца потайным ходом и пройдя переодетым среди казаков, матросов и солдат через весь двор.

Керенский канул в вечность. Не стоит труда останавливаться на его жалких заграничных попытках задушить Советскую власть, не стоит рассказывать о тесном союзе с Милюковым, князем Львовым и прочими, который он заключил. Самовлюбленный адвокат выкинут был на поверхность взбушевавшегося революционного моря, поблестел всеми цветами радуги на солнце и лопнул при первом порыве бури Октябрьской революции.

Мне хочется закончить выпиской из дневника генерала Верховского, бывшего военного министра в кабинете Керенского перед концом Временного правительства, изданного под заглавием «Россия на Голгофе» (Петроград 1918 г.).

3 ноября 1917 г. генерал Верховский писал (стр. 139):

«Сегодня я говорил случайно с несколькими делегатами, прибывшими только что из перевыбранного армейского комитета. Все—большевики. Говоря о происшедшем, я указал им на главную опасность, по моему мнению, от захвата власти большевиками, это—переход управления в руки людей, совершенно незнакомых с делом. От незнания могут быть сделаны ошибки непоправимые. Не зная меня, не зная, с кем они говорят, они ответили фразой, отражающей, как мне кажется, настроение широких масс:

«— Довольно нас водили знающие за нос восемь месяцев, да ничего не сделали. Теперь попробуем сами своими рабочими руками свое дело сделать, плохо ли, хорошо, а как-нибудь выйдет».

Верно сказано, товарищи, — хочется ответить теперь, на восьмом году существования Советской власти. Разве не вышло?

Мировой сельско-хозяйственный кризис — приостановка или перелом?

Н. Осинский.

Если еще в 1922 — 1923 г.г. находились экономисты, которые сомневались в наличии мирового послевоенного аграрного кризиса, то в 1924 г. все сомнения давно исчезли. Целый ряд статей в европейских газетах, доклады на с'ездах и собраниях, статьи и книги были посвящены этому вопросу [1]). Но как раз к тому моменту, как новейший аграрный кризис вошел в общее сознание, в нем наметилась — приостановка, а некоторые думают — перелом.

Представляется в высшей степени важным оценить нынешнее положение на мировом сельско-хозяйственном рынке и определить, с чем же мы имеем дело: с приостановкой или с переломом? Однако, прежде чем это сделать, надо напомнить читателям, в чем состояло существо самого аграрного кризиса, о судьбах которого мы сейчас рассуждаем.

1. Существо аграрного кризиса. «Ножницы Троцкого».

Весною 1923 г. было пущено в оборот тов. Троцким крылатое выражение — «ножницы», суммировавшее беды русского крестьянина, поскольку его хозяйство страдало от рыночных условий. «Ножницы» означали, что цены промышленных товаров движутся выше среднего уровня цен, цены сельско-хозяйственных товаров — ниже этого уровня. Покупательная сила промышленных товаров в отношении товаров сельско-хозяйственных была тем самым значительно повышена, покупательная сила сельско-хозяйственных товаров, наоборот, значительно понижена.

Не сразу термин «ножницы» стал входить в употребление для обозначения такого же явления в Европе, Америке и других странах мира. Осенью 1924 г. его употребляет уже и патриарх немецкой аграр-экономии, проф. М. Зеринг, констатирующий повсеместное существование этого явления —

---

[1]) Обзор части этой литературы читатель найдет в нашей работе «Американское сельское хозяйство по новейшим исследованиям», печатающейся в журнале «На аграрном фронте». Соответствующая часть появится в № 4 журнала.

в своей статье о мировом сельско-хозяйственном кризисе, помещенной в известиях германского министерства продовольствия и земледелия. Тов. Фалькнер, пытавшийся около года назад отрицать существование этих мировых «ножниц», был, конечно, неправ.

Приведем данные об этих «ножницах» для четырех важнейших европейских стран и для Соед. Штатов. Мы берем эти данные в таком виде, что показываем только нижнюю часть раствора «ножниц», т.-е. масштаб отставания сел.-хоз. цен от среднего уровня цен. Средний уровень цен мы характеризуем наиболее солидными «генеральными индексами» цен, употребляемыми в каждой стране. Цены же сельско-хозяйственные берем не в среднем, а в лице отдельных важнейших продуктов, поскольку о них имеются данные [1]).

I. Нижеследующие средние цены 1923 вляли в процентах от цен 1913

	Англия.	Франция.	Италия.	Германия.	Соед ін. Штаты.
Оптовые цены вообще («генеральный индекс») .	162,0	419	598	94	154,0
Цены на пшеницу	122,2	329	363	82,4	130,2
» » говядину	165,0	373	—	110,1	116,2
» » свинину	—	—	—	132,5	117,2
» » масло	161,0	352	—	74,5	145,2

II. Средний уровень цен сел.-хоз. товаров в 1923 г. составлял в процентах от генерального индекса в том же году:

	Англия.	Франц'ія.	Италия.		Соедин. Штаты.
Оптовые цены вообще («генеральный индекс») .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Цены на пшеницу	75,4	78,5	60,7	87,7	84,5
» » говядину	101,9	89,0	—	117,1	75,5
» » свинину .	—	—	—	141,1	76,1
» » масло	99,4	84,0	—	79,3	94,3

В первой части нашей таблицы можно видеть, какого уровня достигло вздорожание цен — общее и по отдельным сельско-хозяйственным товарам—

[1]) Генеральные индексы берутся—для Англии—журнала «Экономист», Франции—«Генеральн. Статист. Франции», Италии—проф. Bachi, Германии — Центр. Статист. Бюро, Соед. Штатов—Департамента Труда; цены на пшеницу взяты из бюллетеней Межд. Сел.-Хоз. Института; цены остальных товаров—из бюллетеней Междунар. Статист. Института. Во всех случаях взята местная (а не привозная) пшеница. В Германии—цены до введения золотой валюты пересчитаны на золото по курсу доллара.

в разных странах по сравнению с довоенным временем. Во второй части таблицы образующиеся при этом «ножницы» показаны в форме процентного отношения показателей сельско-хоз. цен к показателям оптовых цен.

Здесь надо сразу же отметить следующее насчет Германии. Если в 1923 г. мы находим для говядины и свинины «ножницы» «с плюсом», а не «с минусом», то на это имеются специальные причины. Если мы возьмем первое полугодие 1923 года, то и говядина, и свинина имели здесь ножницы с крупным минусом. Говядина стоила в это полугодие 64,25% довоенного, свинина — 73% довоенного при среднем уровне оптовых цен 80% довоенного. Иначе говоря, показатель цены говядины составлял к показателю оптовых цен 80,3%, показатель цены свинины — 91,25%. Во второй половине года, особенно с сентября месяца, цены на мясо стремительно полезли вверх, достигнув в ноябре месяце неслыханных размеров: говядина стоила в этом месяце 562% довоенного, свинина — 596% довоенного. Это был, с одной стороны, месяц нависшей угрозы революции и полного паралича бумажной валюты, как раз тогда заменявшейся «рентной маркой». С другой стороны, осенью 1923 года обнаружилось явление, отмеченное американским экономистом Норзом в его интересной книге «Американское сельское хозяйство и европейский рынок»: убой животных в Германии остановился; крестьяне не хотели больше продавать скот за бумажки; они предпочитали скармливать на дому часть урожая своему скоту. Начался усиленный ввоз американского сала. Несмотря на это, мясные цены испытали под'ем совершенно неслыханный. И потому-то мы имеем в таблице «ножницы с плюсом» для мяса, каковые решительно ничего, кроме полной дезорганизации мясного рынка в октябре — декабре 1923 года не обозначают.

Если теперь взглянуть на таблицу в целом, то мы видим, что хлебные «ножницы» всюду действуют с большой силой. В Италии показатель цены пшеницы составляет всего 60,7% от показателя оптовых цен. Это напоминает худшие времена наших ножниц. Положение в Англии и Франции немногим лучше. В Соед. Штатах пшеница стоит на 16 пунктов ниже нормы. В Германии на 12, но надо помнить, что здесь и генеральный индекс придавлен обесценением денег.

Надлежит сразу отметить еще следующее обстоятельство. В Англии и Франции положение мясного и молочного хозяйства лучше, чем положение зернового. В Англии цены на говядину даже немного выше среднего уровня, цены на масло равны ему. Недаром английский экономист Энфильд отмечает, что «травяное фермерство» имеет в Англии ныне большое преимущество перед «пахотным» [1]. В более слабом виде мы то же видим во Франции. Здесь более выгодно, как будто, выращивать мясной скот.

При таком положении совершенно естественно, что посевная площадь хлебов не должна расти и что, наоборот, пахотная площадь должна закладываться под траву.

---

[1]) См. его книгу «The agricultural crisis 1920—1923», р. 2.

В Соед. Штатах, наоборот, мясные продукты были в 1923 г. еще в гораздо более сильной депрессии, чем хлебные, перепроизводство их больше. Но молочное дело и здесь в очень благополучном положении. В Германии, наоборот, положение его всего хуже; страна настолько обеднела, что масло не идет, его вытесняет свиное сало и маргарин. Лишь вместе со стабилизацией марки положение для германского молочного хозяйства сразу меняется (см. дальше).

Что непосредственно означают «ножницы»? Если больший раствор их для хлеба, нежели для скота, означает переход от зернового хозяйства к пастбищному, то наличие их вообще означает сокращение стимула к производству крестьянином товарных излишков. Ибо он не только не в состоянии реализовать свой доход достаточно выгодным образом, но он может только с дефицитом возмещать и затраченный капитал. По обеим причинам он будет сокращать или сохранять на старом уровне свое производство.

2. Существо аграрного кризиса. Вторая пара «ножниц».

Но дело не только в «ножницах» между сельско-хоз. и промышленными товарами. И у нас, и за границей постоянно забывают о другой стороне дела: о взаимоотношении цен и себестоимости. Нет никакого сомнения, что почти во всех странах с более интенсивным сельским хозяйством существуют и эти вторые ножницы, и роль их гораздо важнее, чем роль первых. На эти вторые ножницы обратили внимание и их обследовали только в Соед. Штатах, частью в Англии (Энфильд). Эти две пары «ножниц» — вовсе не одно и то же. При полном отсутствии «ножниц» между сельско-хоз. и промышленными товарами вполне возможно существование расхождения между ценой и себестоимостью. Во-первых, потому, что в этом случае цены на сельско-хозяйственные средства производства (машины, удобрения) могут быть повышены больше, чем в среднем на другие товары; во-вторых, потому, что цены на рабочие руки могут быть повышены больше, чем средний уровень цен; в-третьих, потому, что могут быть относительно сильнее повышены рента и налоги; в-четвертых, потому, что за время войны могли быть куплены по повышенной цене орудия и скот, и образовалось так называемое «разводнение капитала»; в-пятых, потому, что урожайность земли за время войны упала и производительность труда вследствие сношенности оборудования сократилась.

Положение почти во всех заграничных странах (кроме менее интенсивных: восточно-европейских, южно-американских, Австралии, Канады), несомненно, таково, что и 1) сельско-хоз. цены приподняты (по сравнению с довоенными) меньше, чем средний уровень цен, и 2) издержки производства приподняты выше, чем уровень сельско-хоз. цен; а иногда выше, чем средний уровень цен вообще. Последнее с особенной яркостью наблюдалось до недавнего времени в Соед. Штатах.

Данные, приведенные в Ежегоднике Департамента Земледелия Соед. Штатов за 1923 г., позволяют сделать любопытное сопоставление себестоимо-

сти производства бушеля пшеницы, цены пшеницы на ферме и генерального индекса (берем индекс Департамента Труда) за ряд лет. Себестоимость взята не включая земельную ренту. Тем не менее, мы получаем следующие результаты:

	1913	1914—19	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1920—23
Генеральный индекс	100	150,5	194	206	226	147	149	154	169,0
Себестоим. производства яров. пшеницы в Сев. и Южн. Дакоте и Миннесоте .	100	165,0	142	304	289	200	117	168	193,5
Цена на ферме там же .	100	213,0	268	302	226	132	109	120	146,7
Себестоим. озимой пшеницы в Канзасе, Небраске и Миссури.	100	150,1	192	229	213	189	146	190	184,5
Цена на ферме там же	100	205,7	261	277	229	134	113	122	149,5

В годы высокой военной кон'юнктуры (1914 — 1919 г.г.) «ножницы» были «с плюсом» для пшеницы; в то же время показатель цен на ферме был в районе яровой пшенице 129,9% от показателя себестоимости, и то же соотношение в районе озимой пшеницы составляло — 137%.

С 1920 г. положение поворачивается вверх дном. Себестоимость, колеблясь в зависимости от урожая, начинает постепенно снижаться с того уровня, которого она достигла к концу периода высокой кон'юнктуры (1918 — 1919 г.г.). Но, тем не менее, это снижение не поспевает за снижением цен. За 1920 — 1923 г.г. в среднем показатель цен в районе яровой пшеницы составляет к показателю себестоимости 75,8%, а то же соотношение для района озимой пшеницы составляет 81,0%. Таким образом мы имеем перед собою в ярком выражении вторую пару ножниц.

Но перед нами вырисовывается и первая пара. Показатель цен яровой пшеницы составляет к генеральному показателю цен — 86,6%, то же соотношение для озимой пшеницы оказывается 88,4% [1]).

Какая из этих двух пар имеет большее значение? Несомненно — «вторая» пара, расхождение цены и себестоимости. Оно в данном случае, во-первых, крупнее, чем расхождение пшеничной цены и генерального индекса; оно имеет совершенно независимое бытие от расхождения между пшеничной ценой и генеральным индексом. Во-вторых, оно целиком определяет условия воспроизводства товара — пшеницы, тогда как «ножницы Троцкого» лишь частично задевают возмещение производственных затрат и больше всего режут доход фермера, обращаемый на личное потребление. Ножницы этого последнего типа сами по себе еще не означают обя-

[1]) Если мы вычислим данное процентное соотношение для 1923 г. исходя из настоящей таблицы и сравним его с только что приведенным (в предшествующей таблице), мы получим расхождение цифр. Это об'ясняется тем, что в предшествующей таблице мы брали пшеничные цены на Нью-Йоркской бирже за год в среднем, здесь мы имеем цены на местах на 1 октября. Последние цены были в большем понижении, чем биржевые цены. Но и вообще говоря всякие сопоставления индексов всегда условны и являются довольно грубыми приближениями.

зательно глубокого кризиса сельского хозяйства, и они существуют также и в тех странах (восточно-европейских, южно-американских и пр.), где сельскохозяйственная продукция, как мы увидим дальше, постепенно восстанавливается на почве низкой себестоимости и возможности удовлетворять спрос мирового рынка даже и по нынешним ценам. В расхождении же между себестоимостью и рыночной ценой с.-х. продуктов проступает в новом виде и в весьма расширенной степени тот мировой аграрный кризис, который дезорганизовывал европейское сельское хозяйство в 70 — 90 г.г.; однако на этот раз к западно-европейским странам надо присоединить и Соединенные Штаты.

Здесь не место останавливаться на причинах возникновения этих двух пар ножниц. Мы это сделали в нашей работе «Мировой кризис сельского хозяйства» [1]), все основные положения которой оказались подтвержденными последующим ходом событий и к которой мы настоящим отсылаем читателей.

3. Влияние кризиса на движение посевных площадей.

Здесь следует только привести данные о проявлениях кризиса в состоянии производственных показателей.

Что касается хлебного производства, то картина состояния европейских посевных площадей пяти главных хлебов за последние пять лет представляется в следующем виде [2]):

	1909 – 13	1920	1921	1922	1923	1924
Европа без СССР (в милл. гектар.) .	89,1	76,2	78,5	80,8	82,1	82,3
То же в % к 1909—1913 г.г.	100,0	85,5	88,1	90,7	92,1	92,4

Мы видим, что с 1922 г. посевные площади Европы замерли на уровне 91 — 92% довоенного, при этом, если мы выделим особо придунайские страны (Болгарию, Юго-Славию, Венгрию, Румынию) и Польшу, где замечается определенный рост посевных площадей, мы получаем следующий результат:

	1920 г.	1924 г.
Посевная площадь пяти хлебов составляла в милл. гектаров .		29,7

За четыре года увеличение составило 6 милл. гектаров (25,3%). Это как раз равняется цифре прироста посевных площадей Европы между 1920 г. и 1924 г. Иначе говоря, если мы отделим западную Европу от восточной, то посевные площади западной Европы (в сумме) за 1920 — 1924 г.г. оставались неподвижными, притом на уровне значительно ниже довоенного.

Эта «неподвижность» и в западной Европе складывалась из роста в одних случаях, упадка в других и застоя в третьих. Возьмем для примера

[1]) Изд. «Новая Деревня» 1923 г.

[2]) Данные Международного Сел.-Хоз. Института—из его сборника за 1923 г. с добавлением данных о 1924 г. из «Бюллетеней» Института. Так как в «Бюллетенях» нет столь же полных данных, как в последнем «Сборнике», мы исчислили эти данные, исходя из цифр 1923 г. соответственно коэффициентам увеличения, которые можно извлечь из «Бюллетеней».

те четыре европейские страны, по которым мы приводили данные о расхождении цен. Посевные площади здесь были (милл. гектаров):

	Англия.	Франция.	Италия.	Германия.
1920 г.	3,08	8,46	6,85	10,19
1924 г.	2,61	10,79	6,92	10,72

Англия дает картину упадка, Италия и Германия — застоя, Франция — прироста. Но если мы проследим прирост во Франции по годам, то получаем такую картину:

1909—13	1920	1921	1922	1923
13,29	8,46	10,67	10,64	10,87

Франция сделала «восстановительный» скачок от 1920 г. к 1921 г. В 1920 г. ее посевная площадь была всего 63,7% довоенной. Она поднялась в 1921 г. до 80,2% довоенной. На этом приблизительно уровне она и застыла и в 1924 г. была всего только 81,2% довоенной.

Так обстоят дела в Европе. В важнейших же заокеанских районах происходит следующее:

	1909—13	1920	1921	1922	1923	1924
Соед. Штаты	80,3	88,0	91,0	89,0	87,6	86,2
Канада.	8,7	15,2	18,3	17,0	16,8	16,7
Южн. Америка	15,4	14,1	13,7	15,6	16,8	17,1
Австралазия	3,8	4,5	4,7	4,8	4,7	5,1

Посевная площадь Соед. Штатов, составлявшая в 1920 г. 109,6% довоенной, несмотря на начавшийся в этом году кризис, не пошла назад. Фермеры, наоборот, пытались расширением производства в 1921 г. превозмочь падение цен. Но с 1922 г. им пришлось начать отступать, и посевная площадь Соед. Штатов постепенно падает. Она ныне лишь на 7½% выше довоенной.

Канада также продолжала расширение площади в 1921 г.; в последующие годы она ее спустила, но гораздо меньше, чем Соед. Штаты: здесь себестоимость производства гораздо ниже, чем в Соед. Штатах; эта экстенсивная страна вытесняла Соед. Штаты с европейских рынков в 1922 — 1924 г. г. и легче, чем Соед. Штаты, выносила кризис.

Другой экстенсивный район — Южная Америка, который — в противоположность Канаде — не расширил посевных площадей во время войны [1]), в годы кризиса развивает посевную площадь, также вытесняя Соед. Штаты. Менее определенно этот процесс проступает и в Австралазии.

В итоге вырисовывается ясная картина: более всего пораженными кризисом являются страны западной Европы и Соед. Штаты. Канада держится лучше (хотя была сильно потрясена в 1920 — 1922 г.г.), Австралазия — в довольно устойчивом состоянии; Южная Америка выигрывает, как экстен-

---

[1]) Южная Америка была оттерта Соед. Штатами, которые давали воевавшей Европе хлеб в кредит; кроме того, в условиях подводной войны необходимо было концентрировать перевозку по одному только пути.

сивная страна, не переживавшая военного «бума»; восточная Европа явно оправляется от военного упадка, и это составляет лишний элемент кризиса в остальной Европе и в Северной Америке.

4. Влияние аграрного кризиса на состояние скотоводства в Европе.

Посмотрим еще, что происходило за те же годы со скотоводством. Вследствие очень плохого почти везде состояния текущей статистики животноводства данные здесь можно взять лишь весьма отрывочные. Что касается рогатого скота, то в Европе дело обстояло следующим образом:

	1913	1920	1921	1922	1923	1924
			Миллионы голов.			
Англия.	7,7	7,5	7,5	7,7	7,8	7,8
Франция .	15,3	13,2	13,3	13,6	13,7	—
Германия	18,5	16,8	16,8	16,3	16,7	—
Румыния .	—	4,7	5,5	5,7	5,6	—
Венгрия	2,15	1,97	—	1,93	—	—

Наличие мясного и молочного скота в Англии даже чуть-чуть выше довоенного; замечание о преимуществах травяного фермерства, как видим, оправдывается. Во Франции количество рогатого скота убыло гораздо меньше, чем площадь посевов: лишь до 89½% довоенного (посевы — до 80%). Но растет оно крайне слабо — по сотне тысяч голов в год. Здесь и животноводство как бы замерло, вследствие общих неблагоприятных условий. В Германии численность крупного рогатого скота колеблется около 90% довоенного (посевная площадь была в 1924 г. равна 87,2% довоенной). Из этого ясно, что крупное животноводство в западной части Европы во всяком случае меньше поражено кризисом, чем зерновое производство. Но почву оно выигрывает только в Англии.

С другой стороны, в Румынии и Венгрии (с этим не расходятся отрывочные данные о других восточно-европейских странах) вовсе не замечается такого же значительного прироста скота, какой мы отмечали в отношении посевных площадей.

Частично сходную картину найдем мы в отношении свиней:

	1913	1920	1921	1922	1923	1924
Англия.	2,4	2,2	2,8	2,6	3,0	3,6
Франция .	7,5	4,9	5,2	5,2	5,4	—
Германия	22,5	14,2	15,8	14,7	17,2	—
Румыния .	—	2,5	3,1	3,1	2,9	—
Венгрия	3,32	2,52	—	2,47	—	—

И здесь пока-что западной Европе не угрожает конкуренция восточной Европы. В Англии свиноводство развивается. Во Франции оно за 1920—1923 г.г. возросло, но очень туго и к 1923 г. достигло лишь 72% довоенного. В Германии оно, повидимому, испытывает большие затруднения (с кормами) и прирост свиней в 1923 г. об'ясняется, главным образом, воздержанием хозяев от убоя.

Интересный штрих могут прибавить данные об овцеводстве.

	1913	1920	1921	1922	1923	1924
Англия	24,3	20,17	20,95	20,62	21,16	22,23
Франция	16,2	9,4	9,6	9,8	9,9	—
Германия	5,0	6,1	5,9	5,6	6,1	—
Румыния .	5,3	8,7	11,2	12,3	14,1	—
Венгрия	2,4	1,3		1,4	—	—

Овцы были сильно вытеснены из Англии военной кон'юнктурой; к ним долго не возвращались, но в самые последние годы этот процесс, повидимому, двинулся в ход. Травяное фермерство выигрывает и на этой линии. Во Франции овцеводство было еще больше разорено войной, чем свиноводство. Оно восстанавливается очень медленно, и в 1923 г. составляло всего лишь 60,4 % довоенного. В Германии, наоборот, количество овец оказывается выше довоенного: этот «прогресс» — очень сомнительного характера, он говорит об экстенсификации хозяйств; характерно, что он особенно выявляется в критическом 1923 г. В Венгрии мы с овцами обнаруживаем такое же ухудшение, как со свиньями и рогатым скотом. Наоборот, в Румынии замечаем развитие овцеводства и, несомненно, не в конкуренции с земледелием, а в подходящих для овцеводства районах. И эта отрасль хозяйства делает здесь крупные успехи.

5. Влияние кризиса на скотоводство заокеанских стран.

В заокеанских странах наиболее интересными являются следующие данные. Количество рогатого скота изменялось следующим образом:

	1913	1920	1921	1922	1923	1924	1925
Соедин. Штаты [1]):							
а) молочные коровы.	20,5	23,7	23,6	24,1	24,4	24,8	25,3
б) остальной скот	36,0	43,4	42,0	42,0	42,8	41,7	39,6
Канада .	6,7	9,6	10,2	9,7	9,0	9,2	—
Аргентина . .	25,9	27,9	28,1	37,1	—	—	—
Уругвай (1916) .	7,8	—	—	—	—	8,4	—

Количество молочного скота в Соед. Штатах правильно растет (ср. выше данные о ценах на масло). С остальным (мясным) скотом здесь создалась во время войны своеобразная «инфляция»: число его достигло в 1919 г. 45 милл. штук, что означало *возвращение вспять* к 1907 — 1908 г.г., когда мясное хозяйство еще имело корни в американской почве (с этого времени и до войны количество мясного скота *убывало*). Уже в 1920 г., а затем в 1921 г. началась «дефляция». Далее она была *задержана*, повидимому, в результате избытка в стране зерна и скармливания его скоту. Но мы видим в самом конце, какой новый и крупный шаг она сделала за 1924 г.

[1]) Данные на 1 января Департамента Земледелия.

В Канаде мы наблюдаем такую же «скотскую дефляцию». В Аргентине, где данные обрываются на 1922 г., наоборот, видим рост: Аргентина и здесь оттесняла Соед. Штаты, которые совсем не по чину заняли часть ее рынков за время войны. Это оттеснение шло в обстановке жестокой конкурентной борьбы и большого понижения цен. Судя по обрывкам цифр, и соседний с Аргентиной Уругвай укреплял свои позиции.

В отношении свиней из заокеанских стран интересны только Соед. Штаты.

Здесь развитие шло таким образом:

1913	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925
61,2	74,6	59,3	56,1	58,3	68,4	66,1	54,2

И здесь за время войны создалась «свиная инфляция», которая сменилась «дефляцией» уже в 1920 году. В 1923 — 24 г. количество свиней вновь возросло под влиянием, между прочим, и германского экспортного спроса. К 1 января 1925 г. число свиней резко упало — вследствие очень скудного урожая кукурузы 1924 года. Эта отрасль животноводства находилась в Соед. Штатах в весьма неустойчивом и колеблющемся положении.

Что касается заокеанских овцеводных стран, то состав овечьих стад в Австралии, Нов. Зеландии, Южн. Африке, Аргентине и Уругвае за 1920 — 1923 г.г. всюду ниже 1913 года — при разном размере понижения — от 5% и до 10 — 15%. Овцеводство этих стран, несомненно, все время находится в состоянии депрессии.

В итоге: лишь в Англии животноводство частью обнаруживает тенденцию к росту, однако за счет закладывания полей под траву, а в последнее время уже за счет расширения овечьих пастбищ. Во Франции — явный застой. В Германии — застой на дефицитном уровне в крупном животноводстве, кроме свиноводства, и процветания — одного только... овцеводства. Восточная Европа конкуренции западной Европе на животноводственном рынке не оказывает, и лишь в одной Румынии развивается овцеводство (без потеснения земледелия). В Соед. Штатах совершалась в 1920 — 1923 г.г., с задержками и перебоями скотская и свиная «дефляция» при весьма неблагоприятных рыночных условиях и большой конкуренции (по говядине) Аргентины, которая отыгрывала свои позиции. Заокеанское овцеводство — в состоянии депрессии. Наоборот, молочное хозяйство даже в Соед. Штатах делало успехи. В общем, кризис в области животноводства слабее, потому что западно-европейское животноводство производит продукты, с которыми заокеанские страны могут конкурировать гораздо меньше, для Соед. Штатов же мясной экспорт отнюдь не имеет такого значения, как хлебный [1]).

---

[1]) Мы в этой краткой характеристике опустили внешние формы проявления кризиса (количество обанкротившихся фермеров в Соед. Штатах, бросивших хозяйство и ушедших — в Канаде и пр.). Об этом см. в других наших работах, в частности, в № 4 журнала «На аграрном фронте». Мы опустили также бывшие нейтральные страны, из которых Дания и Голландия уже оправились от потрясений, вызванных недостатком кормов, но находятся в весьма неустойчивом положении.

6. Изменение обстановки осенью 1924 года. «Ножницы» сходятся.

Ограничимся этой краткой характеристикой положения двух важнейших отраслей сельского хозяйства к началу 1924 — 25 сельско-хозяйственного года. Какие изменения внес в положение этот вновь начавшийся год?

Главная отличительная его черта есть то, что после сбора урожая началось сжатие, а частью и ликвидация «ножниц» как первого, так, несомненно, и второго рода. Мы имеем данные только о судьбе «ножниц» первого рода — расхождения сельско-хозяйственных цен и генерального индекса.

Продолжим приведенную в начале таблицу по четвертям 1924 года. Для сопоставления возьмем и данные 1923 г.

I. Нижеследующие средние цены 1924 в процентах от цен 1913 г.:

	1923	1924				1924 (средн.)	Янв. 1925
		I	II	III	IV		
Англия.							
Оптовые цены вообще (генеральный индекс)	162	173	169	174	180	174,0	177
Цены пшеницы	122,2	119	135	153	155	140,5	167
говядины	165,0	158	167	185	170	170,0	163
масла	161,0	171	147	168	180	166,5	165
Франция.							
Оптовые цены вообще (генеральный индекс)	419	513	458	481	503	489	
Цены пшеницы	329	355	—	392[1])	441	396½	
говядины	373	407	456	454	471	447	
масла.	352	442	311	334	408	374	
Италия.							
Оптовые цены вообще (генеральный индекс).	598	595	592	596	626	609	666
Цены пшеницы	363	372	400	413	558	436	693
Германия.							
Оптовые цены вообще (генеральный индекс)	94	118	121	121	130	122,5	138
Цены пшеницы	82,4	83	81	99	111	93,5	129
» говядины	110,1	98	98	102,5	105	100,9	109
» свинины	132,5	119	97	124	142	120,5	129
масла.	74,5	143	143,5	138	157	145,4	137
Соед. Штаты.							
Оптовые цены вообще (генеральный индекс)	154	151	147	149	154	150,2	160
Цены пшеницы	130,2	128	126	146	177	144,2	206
» говядины	116,2	126	124	116	117	120,5	—
» свинины	117,2	102	126	152	137	129,3	
» масла	145,2	156	123,5	120	130	132,5	

[1]) Среднее из двух последних месяцев квартала.

II. Средний уровень цен сельско-хозяйственных т варов составлял в 1924 году в процентах от ген рального индекса в том же году:

Англия.	1923	1924 I	1924 II	1924 III	1924 IV	1924 (средн.)	Янв 1925
Оптовые цены вообще (генеральный индекс)	100,0	100	100	100	100	100,0	100
Цены пшеницы	75,4	75	80	88	86	80,7	94
» говядины	101,9	91	98	107	94	99,8	92
» масла	99,4	99	87	97	100	95,7	93
Франция.							
Оптовые цены вообще (генеральный индекс)	100,0	100	100	100	100	100,0	100
Цены пшеницы	78,5	69	—	81	88	79,1	93
» говядины	89,0	79	99,5	94	94	91,4	92
» масла	84,0	76	68	69	81	76,5	84
Италия.							
Оптовые цены вообще (генеральный индекс)	100,0	100	100	100	100	100,0	100
Цены пшеницы	60,7	62	67	70	89	71,6	105
Германия.							
Оптовые цены вообще (генеральный индекс)	100,0	100	100	100	100	100,0	
Цены пшеницы	87,7	70	67	82	85	76,3	
» говядины	117,1	83	81	85	81	82,4	
» свинины.	141,1	101	81	104	109	98,4	
масла	79,3	121	119	109	121	118,7	
Соед. Штаты.							
Оптовые цены вообще (генеральный индекс).	100,0	100	100	100	100	100,0	100
Цены пшеницы	84,5	85	86	98	115	96,0	129
» говядины	75,5	83	85	78	76	80,2	—
свинины	76,1	67	86	102,5	89	86,1	—
масла	94,3	103	84	81	84	88,2	

Уже одно сравнение (во второй нашей таблице) средних показателей за 1923 и 1924 год показывает, что положение изменилось, что хлебные «ножницы» сжались везде, кроме Германии. В Англии соотношение пшеничного индекса и генерального индекса было 75,4%, а стало 80,7%; во Франции вместо 78,5% оно стало 79,1%; в Италии вместо 60,7% получается 71,6%, в Соед. Штатах вместо 84% имеем 96%.

Но это в среднем за год, а в этот год входит и первое полугодие, когда еще действовали старые условия. В последней четверти года соотношение в Англии равняется 86%, во Франции 88%, в Италии 89%, в Соед. Штатах даже 115%, т.-е. уже имеются «ножницы с плюсом». В январе такие же ножницы появляются в Италии, а в Англии показатель пшеницы доходит до пределов 94% к генеральному индексу, во Франции — до 98.5%.

Все это есть результат, как можно видеть из первой части таблицы, прироста пшеничных цен. Они поднялись и в Германии, только здесь общий индекс цен возрос еще скорее. В результате ножницы в Германии не сжались, а развернулись. Относительно Германии можно сказать, что она в 1924 году заняла положение аналогичное тому, в котором другие страны находились в 1923 году. Цены на масло в ней даже находились в более выигрышном положении, чем в 1923 году в Англии и Соед. Штатах. Но положение зернового хозяйства ухудшалось, и так же обстояло дело с крупным мясным животноводством. Как ни жаловался немецкий крестьянин на вред от бумажно-денежного хозяйства, но только после стабилизации марки он почувствовал настоящий кризис, и только с этого времени начали аграрии свою агитацию за сельско-хозяйственные пошлины.

Интересно отметить, что рынок масла во всех странах, кроме Германии, в 1924 году не был уже так благоприятен, как в 1923 году. Повидимому, здесь действовало непрерывное расширение экспорта из Дании, Новой Зеландии, Австралии, из нового, быстро развивающегося района — Аргентины, а также— появление на рынке долго отсутствовавшей на нем советской России. Очень вероятно, что благополучие молочного хозяйства интенсивных стран уже подходит к концу.

Мясной рынок, наоборот, обнаруживает относительно бо́льшую устойчивость. Это — в Европе. В Соед. Штатах положение с говядиной неизменно: «говяжья инфляция» сохраняется. Цены на свинину, вследствие плохого урожая кукурузы, было подскакнули, но в ноябре снизились опять. Это было результатом большой ликвидации свиного запаса под влиянием недостатка кормов (ср. выше данные о крупном сокращении свиных стад на 1-ое января 1925 года — ниже довоенной нормы). Не составляет труда предсказать, что цены на продукты свиноводства в 1925 году должны подняться, и в Америке, и — отраженным порядком — в Европе. Но этот под'ем вряд ли будет длительным.

7. Первый и второй фактор перемены: неурожаи в Европе, неурожаи в заокеанских странах.

Откуда же взялось это повышение хлебных цен, в каких формах оно протекало и каковы его дальнейшие перспективы?

Во-первых, из плохого сбора всех хлебов в Европе. Этот сбор составлял в 1923 и 1924 г. г. [1]):

	Пшеница.	Рожь.	Ячмень.	Овес.	Кукуруза.	Итого.
1923 г.	340,7	211,3	138,2	248,2	90,1	1.028,5
1924 г. . .	292,2	165,7	118,4	225,6	102,1	904,0
%% к 1923 г.	85,8	78,4	85,7	90,9	113,3	87,9

[1]) Данные сводки декабрьского бюллетеня Межд. С.-Х. Института, исправленные по двум последующим бюллетеням, в квинталах (6,1 пуда). СССР не включен.

Дефицит по сравнению с прошлым годом получается в 12% для всех хлебов и притом для продовольственных (пшеница и рожь) в отдельности — 17%, а для кормовых в отдельности — только 6,4%. Последнее обстоятельство, между прочим, дает еще одно об'яснение, почему цены на масло находились в менее приподнятом положении, чем пшеничные цены.

При этом в одних только 17 потребляющих странах Европы сбор пшеницы сократился с 224,2 милл. кв. (1923 г.) до 195,2 милл. кв., а сбор ржи с 181,5 милл. кв. до 144,3 милл. квинталов. Недобор был — в первом случае 29 милл. квинталов, во втором 37 милл. квинталов. Предполагая сохранение потребления 1923 — 24 г., необходимым оказывалось соответственное расширение ввоза.

Продукция пшеницы в этих странах относилась в 1923 году к ввозу, как 224,2   154,3 (или 59,2%   40,8%), продукция ржи, как 181,5   15 милл. квинталов [1]). Следовательно, необходимым оказывалось немалое расширение импорта.

Но, — и это является вторым обстоятельством, которое надо учитывать, — сбор в заокеанских странах также оказался значительно ниже 1923 года.

Он составил в важнейших заокеанских производящих странах следующую сумму:

	Пшеница.	Рожь.	Ячмень.	Овес.	Кукуруза.	Итого.
1923 г.	586,0	21,9	106,1	280,4	790,2	1.784,6
1924 г.	530,5	19,7	100,4	290,3	636,0	1.576,9
%% к 1923 г.	90,5	90,1	94,6	103,5	80,5	88,4

Только в отношении овса могли бы заокеанские страны расширить подвоз в Европу. Но с овсом в Европе как раз дело обстояло лучше других хлебов. Вопрос заключался в пшенице и ржи, а по этой линии в заокеанских странах тоже обнаруживался недобор.

Имеются подсчеты Международного С.-Х. Института о свободных к экспорту излишках пшеницы в заокеанских странах за несколько прошедших сезонов и за нынешний. Вот эти данные:

Сезоны.			
1921—22 г.	1922—23 г.	1923—24 г.	1924—25 г.
214	227	259	213

Итак, излишки по сравнению с прошлым годом меньше на 46 миллионов, а спрос потребляющей Европы должен быть на 29 миллионов квинталов больше (если исходить из прошлогоднего потребления). К тому же в потребляющих странах имеется недобор ржи в 37 милл. квинталов, который совершенно не

[1]) За отсутствием данных за 1923—24 г. берем максимальную цифру чистого ввоза последних лет, имея в виду крупный вывоз из СССР в прошлом сезоне.

может быть покрыт: Соед. Штаты и Канада (единственные поставщики ржи в Европу, кроме СССР) за 1920 — 1923 г.г. вывозили только половину своей продукции, каковая в 1924 г. составила менее 20 милл. квинталов. Допустим, что нажав на внутреннее потребление, они вывезут ¾ продукции. Все же остается дефицит в 22 милл. квинталов, который, очевидно, тоже надо покрывать пшеницей. В итоге спрос на пшеницу должен возрасти на 50 — 51 милл. квинталов (300 милл. пудов), а излишков — меньше на 46 миллионов.

Если сделать для 17 потребляющих стран примерную прикидку того, что они могут потребить в нынешнем году по сравнению с прошлым, получается следующая картина:

1923—24 г.			1924—25 г.		
Собств. производство.	Ввоз	Итого.	Собств. производство.	Ввоз.	Итого.
224	154	378	195	118	313
181	15	196	144	15	159
405	169	574	339	133	472

Результат получается тот, что потребляющая Европа в лучшем случае может рассчитывать на сохранение 82⅓ % прошлогоднего потребления.

Уже это сокращение на 18 % обосновывает наметившееся сжатие «ножниц». Но повышение цен на пшеницу и рожь вовсе не происходило только в обратной пропорции к сокращению снабжения. Оно шло, особенно в Соед. Штатах, гораздо скорее. Надо, впрочем, заметить, что рост цен отнюдь не должен итти в обратной пропорции к сжатию потребления. При явном перевесе спроса над предложением: 1) определяющими цену становятся предприятия (или страны) с наиболее высокой себестоимостью и 2) более зажиточные группы потребителей (или страны), а также более дефицитные группы или страны, склонны итти на более высокую оплату товара.

8. Третий фактор перемены: диспозиция в лагере продавцов.

Надо при оценке нынешнего положения на рынке принимать во внимание одно весьма существенное — третье по счету — обстоятельство, именно, конкретное расположение участников игры на стороне предложения.

В 1923 — 24 г. закончился процесс вытеснения с пшеничного рынка Соед. Штатов Канадой [1]. В этом же сезоне вышла на рынок Советская Россия и для начала выкинула Соед. Штаты с ржаного рынка. Соед. Штаты были вытесняемы с пшеничного рынка также Аргентиной, а в хорошие годы на Соед. Штаты поднажимала и Австралия.

[1]) Об этом процессе см. нашу брошюру «Сев. Америка, Россия, русский хлебный вывоз».

Это ясно видно из таблицы, где сопоставляются: 1) средние данные за первые три послевоенных года, когда Соед. Штаты еще господствовали на рынке и 2) три последующих сезона.

I. Вывоз пшеницы в зерне и муке (в милл. квинталов):	1919—1921 г.г.	1921—22 г.	1922—23 г.	1923—24 г.
Соед. Штаты	82,0 (44,3%)	61,3 (35,3%)	57,0 (31,2%)	39,2 (19,5%)
Канада	38,8 (21,0%)	49,7 (28,6%)	74,8 (41,0%)	93,0 (46,2%)
Аргентина .	38,3 (20,7%)	32,0 (18,4%)	37,8 (20,7%)	46,6 (23,1%)
Австралия .	25,8 (14,0%)	30,6 (17,7%)	13,0 (7,1%)	22,5 (11,2%)
	184,9 (100%)	173,6 (100%)	182,6 (100%)	201,3 (100%)
II. Вывоз ржи в зерне:				
Соед. Штаты .	10,1	8,0	13,2	4,0
Канада	0,7	1,1	2,5	2,0
	10,8	9,1	15,7	6,0

К сезону 1923 — 24 г. Канада поставила Соед. Штаты в то самое положение (и в абсолютном и процентном выражении), в каком она находилась в 1919 — 1921 г.г., сама же стала на их место.

На ржаном рынке Соед. Штаты держались до предпоследнего экспортного сезона; тут мы наблюдаем внезапное сокращение их экспорта более, чем в три раза. В ежемесячных бюллетенях Международного С.-Х. Института, откуда мы берем посезонные данные, Сов. Россия отсутствует. Но в его последнем ежегоднике мы находим, что СССР в 1923 календарном году вывез 12,0 милл. квинталов ржи: вот кто ликвидировал Соед. Штаты на ржаном рынке.

Что случилось с вывозом СССР в нынешнем экспортном сезоне — известно. Экспорт заменился импортом, который снял с мирового рынка 3 — 3½ милл. квинталов хлеба (эту сумму надо, кстати сказать, вычесть из излишков, могущих достаться Европе).

С Канадой произошло нечто сходное. Вот сопоставление ее сбора в прошлом и нынешнем году:

	Пшеница.	Рожь.	Итого.
	Милл.	квинталов.	
1923	129,1	5,9	135,0
1924	71,3	3,6	74,9
	— 57,8	— 2,3	— 60,1

Канада собрала 55,5% прошлогоднего сбора. Неурожай в Канаде гораздо значительнее, чем в России, и только потому, что ее хлебное производство рассчитано на экспорт, что она вывозит бо́льшую часть урожая, в ней не возникает продовольственных затруднений.

В Аргентине положение тоже не из блестящих: вместо прошлогоднего сбора в 67,2 милл. квинталов пшеницы она имеет лишь 52,1 милл. квинталов, т.-е. на 15 милл. квинталов меньше прошлого года. В одной только Австралии сбор выше прошлогоднего: 44,1 милл. квинталов вместо 34,0 милл. квинталов.

Но мы видели только что в таблице, что Австралия по своему удельному весу стоит позади трех остальных партнеров [1]).

Каково же положение Соед. Штатов? Вот тут-то и зарыта собака. Сбор Соед. Штатов в прошлом и нынешнем году равнялся:

Пшеница.	Рожь.	Итого.
217,0	16,0	233,0
237,5	16,1	253,6
+ 20,5	+ 0,1	20,6

Несмотря на то, что Соед. Штаты сократили по сравнению с 1923 годом на 9% посевную площадь пшеницы и на 19% площадь ржи, они имеют блестящий урожай и сбор выше прошлогоднего.

Теперь нам ясна вся диспозиция игры (ибо игра тут может быть и действительно происходит — на бирже). Самый крупный конкурент по пшенице—Канада—устранен; самый крупный конкурент по ржи—Россия — устранен. Устранены они с полнотой и внезапностью, облегчающей спекулятивную игру. Три второстепенных партнера в сумме имеют дефицит против прошлогоднего и существенной конкуренции развить не могут. Соед. Штаты же имеют и сразу колоссально возросший удельный вес в снабжении вообще и крупный плюс в сборе против прошлого года. Для Соед. Штатов в значительной степени складывается монопольное положение, напоминающее военные годы.

При такой ситуации Соед. Штаты вполне в состоянии, придержав свой вывоз и предоставляя Европе попробовать покрываться из Канады, Аргентины, Австралии, Индии, заставить цены автоматически расти до очень крупных пределов. Ведь не надо забывать, что экспортный излишек колоссально неурожайной Канады (его исчисляют в нынешнем году в 47,3 милл. квинталов пшеницы; по ржи его почти нет) совершенно необходим для покрытия дефицита в Европе и является крупнейшим излишком тотчас вслед за излишком Соед. Штатов (исчисляемым по пшенице в 71,3 милл. квинталов, по ржи он, может быть, достигает 15 милл. кв.). Предположим, что с рынка снимаются не только Соед. Штаты, но и Канада. Это значит, что снимается 133½ милл. квинталов. Тогда потребляющая Европа может рассчитывать только на 338½ милл. квинталов снабжения, т.-е. 59,2% прошлогоднего. Это — буквально голодная норма.

Виннипегская биржа (в Канаде) тесно связана с Чикагской и Миннеаполийской (в Соед. Штатах). В Канаде фермерские «пули» (союзы для поднятия цен на хлеб) организованы давно. Интерес у фермеров Канады и Соед. Штатов однороден: первые будут стремиться получить за весь свой урожай 1924 года (хотя он составляет 55% прошлого года) ту же сумму, какую стоил

[1]) Удельный вес Индии еще меньше, и потому мы ее не приводили в таблице. Сбор Индии определился в 99,1 милл. кв. вместо 101,4 милл. кв. в прошлом году. Рассчитывают на вывоз Индией лишь 10 миллионов квинталов.

урожай 1923 г.; ведь затраты на производство того и другого урожая приблизительно одинаковые; а это означает, что канадские фермеры будут стремиться задерживать сдачу хлеба, пока цена не достигнет размеров немногим меньше двойной по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, фермеры, Соед. Штатов будут стремиться получить за свою пшеницу хотя бы себестоимость производства. А мы видели выше, что она в 1920 — 1923 г.г. была в районе яровой пшеницы 193,5% довоенного (без ренты) и в районе озимой пшеницы 184,5% (также без ренты).

И такой цены фермеры Соед. Штатов и Канады, — а вернее сказать — хлебные торговцы и банкиры обеих стран, которые снимут с этой операции большой процент сливок, — об'ективно могут добиться. Такую игру можно разыграть, и если кому в пору это сделать, — так это торговому и финансовому капиталу Сев. Америки. Сейчас мы увидим, что эта игра и была хотя и не в полном об'еме и с запозданием — но разыграна.

Но тут перед нами встает еще один вопрос. А даст ли такую цену европейский покупатель? В состоянии ли он ее дать? Не предпочтет ли он стянуть покрепче пояс и сократить потребление, поскольку платежеспособность его не соответствует аппетитам чикагской и виннипегской биржи?

9. Четвертый фактор перемены: изменение в положении покупателей.

И тут выступает перед нами еще одна причина (четвертая по счету), делающая возможным повышение цен. Покупательная способность Европы по сравнению с годами острого кризиса 1920 — 21 г. все же возросла. Нельзя сказать, что европейская промышленность вступила в полосу под'ема, как промышленность С. Штатов [1]), но в ней все же несомненное улучшение. Оно обнаруживалось уже до ликвидации рурского нашествия и окрепло после принятия плана Дауэса. Уже сами по себе последние два обстоятельства создают значительную конкретную перемену, меняя положение на германском рынке, хотя бы это и было (так, конечно, и будет) временной передышкой. После принятия плана Дауэса Соед. Штаты возобновили в некотором масштабе кредитование Европы. Немецкий заем (вместе с ликвидацией расходов по сопротивлению французам в Руре), несомненно, высвободил порядочные средства. Не следует преувеличивать значение этого обстоятельства, как это делает упоминавшийся в начале немецкий профессор М. Зеринг. Он целиком выводит под'ем цен из принятия плана Дауэса, и весь аграрный кризис связывает с судьбами Центральной Европы. Он учитывает (и в преувеличенном виде) лишь перемены на стороне спроса и вовсе не хочет оценить ситуации, создавшейся на стороне предложения.

[1]) Между прочим: возобновившийся с осени 1924 г. под'ем в промышленности Соед. Штатов (весной и летом 1924 г. в этом под'еме обнаружился перерыв, перебой) и связанный с ним рост внутреннего спроса усиливает позицию повышателей хлебных цен в Америке.

Хотя «план Дауэса» — реформистская попытка разрешения конституционального кризиса мирового хозяйства, преступавшего после войны — ничего не разрешит и только оттянет развязку, но этот план вместе с улучшением европейской кон'юнктуры достаточно укрепляет положение европейского покупателя, дабы наступление продавцов могло иметь шансы на успех. Обе стороны, в особенности продавцы, преувеличивают происшедшую перемену, и, как в 1919 — 1920 г.г., развилась огромная спекуляция в расчете на будущий спрос Германии, Австрии, Сов. России, так и теперь в расчете на золотой век Дауэса поднятие цен до двойного уровня против довоенного кажется обоснованным.

Продавцы при этом рвутся вперед гораздо быстрее покупателя. Сравним, насколько возросли декабрьские цены пшеницы в 1924 г. против декабрьских цен 1923 г. в Канаде, Соед. Штатах, Англии. Франции и Италии.

Канада.	Соед. Штаты.	Англия.	Франция.	Италия.
+ 60,9%	+ 50,4%	+ 27,9%	+ 29,6%	79,5%

Больше всех рвется вперед неурожайная Канада: в Соед. Штатах любят ссылаться на то, что-де Канада больше Соед. Штатов повышает цены; фактически Виннипег является только застрельщиком Чикаго и Миннеаполиса. Покупатели, кроме Италии, слабее подымают цены: они дают в декабре на 28 — 29% больше, а не на 50 — 60% (в январе, однако, их удается уже гораздо больше сбить с позиции).

10. Ход перелома цен и кто от него должен был выиграть.

Причина перелома цен нам теперь ясна. Разберемся теперь в тех формах, которые имело это повышение, так как это влияет и на пределы благоприятного для сельского хозяйства действия высокой кон'юнктуры и на перспективы будущего его развития. По этому вопросу мы имеем материал из Соед. Штатов, т.-е. из страны решающего ныне на рынке значения.

Вот как проходило по месяцам развитие цены озимой пшеницы № 2 в Нью-Йорке (данные Межд. С.-Х. Института):

Средняя на 1913 г.	Средняя на 1923 г.	1 квартал 1924 г.	2 квартал 1924 г.	Июнь.	Июль.	Август.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.	Январь 1925 г.
97,25	125,7	124,2	122,7	126,5	137,9	143,0	145,1	159,1	167,0	182,0	200,6
—	100	98,8	97,6	106,3	109,7	113,8	115,4	126,6	132,9	144,8	159,6
100	129,3	127,7	126,2	130,1	141,8	147,0	149,2	163,6	171,7	187,1	206,3

Мы видим, что цены «тронулись в ход» уже в июне, сделали дальнейший скачок в июле (под влиянием известий о плохом урожае в Канаде в первую очередь; также и сбор в Соед. Штатах сперва оценивался ниже прошлогоднего), затем медленно росли до октября и отсюда быстро полезли вверх.

Чтобы оценить значение этих обстоятельств, надо принять во внимание следующее. По отчетам 3.500 мельниц и элеваторов за пять сезонов 1918 — 1922 г.г., из всего годового поступления пшеницы 50.7% сдается фермерами с 1 июля по 1 октября; по 1 ноября сданным оказывается 62,3%, по 1 декабря — 70%, по 1 января — 76,4% [1]).

Когда идет осенний поток хлеба, цены обычно держатся ниже среднего годового уровня: хлеботорговцы пользуются необходимостью для фермера поскорее реализовать хлеб и покупают его по пониженной цене. Уже давно в Соед. Штатах толкуют о том, как устранить такое положение.

В нынешнем сезоне фермеры Соед. Штатов продали половину своего урожая в июле, августе, сентябре по ценам лишь на 10 — 15% выше прошлогодней средней цены и на 20 — 27% выше прошлогодней цены за те же месяцы; большого улучшения это для них не составляет, потому что они все же продавали на много ниже себестоимости. Можно с уверенностью сказать, что они продали таким образом даже и не 50,7% урожая, а больше, т. к. повышение цен только на 20 — 27% против осенних цен 1923 г. все же было облегчением кризиса, а насколько прочно будет такое улучшение, они не могли знать. Ведь октябрьско-ноябрьское повышение очень многими сведущими людьми оценивалось только как искусственный маневр перед президентскими выборами, поэтому приток хлеба на рынок был минувшей осенью особенно силен. А биржевики остерегались начинать крупный «бум», чтобы не задержать выхода дешевого хлеба в их руки.

Если сделать на основании: 1) вышеупомянутых помесячных данных о выходе хлеба на рынок и 2) сопоставления помесячных цен осенью 1923 и осенью 1924 г. примерный расчет того, насколько дороже прошлого года фермеры сбыли 70% своего урожая, вплоть до 1 декабря 1924 г., мы получаем, что $^{7}/_{10}$ урожая были проданы всего лишь на 27% выше прошлогоднего. Этот подсчет, вернее, прикидка, конечно, очень мало надежен, т. к. взята цена лишь одного сорта пшеницы в Нью-Йорке, а не средняя местных цен; да и помесячный выход хлеба на рынок мог значительно отклониться от средней. Прикидка, может быть, преуменьшена. Но дороже, чем на 30 — 40% прошлогоднего, фермеры ни в коем случае не продали главной массы своего хлеба. А ведь цены в прошлом году были на 20 — 30% выше довоенных, себестоимость же — на 85 — 90%.

Понятно поэтому, что мы находим в «Нью-Йорк Таймс» (от 1 января) следующие строки в корреспонденции из наиболее урожайного ныне Канзасского района: «Сельское хозяйство нуждается в еще одном годе хорошего урожая и хороших цен. Закончившийся год положил хорошее начало. Он принес значительные доходы, но в течение одного года нельзя рассчитывать преодолеть минусы давно существующих долгов и отчислить сколько-нибудь значительную прибыль на постоянный капитал». А в другой заметке (от 8 января) та же газета сообщает, что в Канзасе исчисляют остатки на фермах

---

[1]) Данные из Ежегодника Деп. Земледелия С.

пшеницы в размере только 10% урожая (при нормальном течении выхода на рынок в Канзасе на 1-ое января должно еще оставаться у хозяев 26% урожая). 90% своего урожая канзассцы продали до нового года, а мы сейчас увидим, что именно в январе разыгралась главная спекуляция на повышение. То же, что произошло в Канзасском районе озимой пшеницы, произошло и в сев.-зап. районе яровой пшеницы; в том же номере газеты мы находим корреспонденцию из Миннеаполиса, где говорится, что перед президентскими выборами наблюдалось большое переполнение рынка пшеницей и понижение цен, потому якобы, что «некоторые политики» советовали фермерам сбыть хлеб до выборов. 70% урожая было продано фермерами по сравнительно еще низким ценам и перешло в руки биржи. Ну, а вывоз за границу хлеба — сколько он составил до 1 декабря 1924 г.?

Было ли также выброшено за границу 70% экспортного излишка?

Ничего подобного. Хлеботорговый капитал поступал гораздо осторожнее. Кампания по вывозу урожая 1924 г. началась с 1 августа. За четыре месяца, по 1 декабря, было вывезено всего 39,8 милл. квинталов пшеницы в зерне и муке (пересчитанной на зерно). Экспортный излишек считается, как мы видели выше, 71,3 милл. квинталов. Итак, вывезено лишь 55,8% возможного годового экспорта. 44% экспорта было удержано для продажи по очень высоким ценам. Уже из этого ясно, кто реально пожинал плоды высокой кон'юнктуры на экспортном рынке. На внутреннем рынке эти плоды были, конечно, еще обильнее, т. к. здесь перепродажа скупленного у фермеров хлеба рассрочивается более регулярно на весь год, а не сосредоточивается, как экспорт, преимущественно на осенние месяцы.

В таких результатах реализации урожая 1924 года, конечно, повинна в первую очередь не сознательная политика крупного капитала, а об'ективная логика положения и логика капиталистического торгового механизма. Нельзя себе представлять дело так, что уже в августе 1924 г. руководителям хлебной торговли в Чикаго, Миннеаполисе и Виннипеге стала ясна вся та диспозиция игры, которую мы очертили выше, что они не начинали этой игры только ради того, чтобы «не спугнуть» фермеров, что они поэтому не задерживали также и отлива хлеба за границу по сравнительно дешевым ценам. Нет, тогда еще и им эта диспозиция не была ясна до конца; не было ясно, например, важнейшее обстоятельство: будет ли вывозить Россия? Это обстоятельство не было ясно даже в СССР. Неясны еще были и перспективы урожая в Аргентине, в Австралии. Все это начало проясняться лишь к ноябрю месяцу — и тут-то и началась кампания повышения.

Но нет сомнения — ибо все это лежит как раз в обычной логике действия капиталистического хлеботоргового аппарата — что в первые три месяца сезона, самые обильные по подвозу хлеба, хлеботорговцы тщательно воздерживались от всякого «бума», дабы дать фермерам сдать хлеб по недорогой цене. Эта обычная логика и принесла свои плоды.

В ноябре же начала становиться ясной вся диспозиция. И началось явное накручивание цен. Параллельно и на фондовой бирже, после принятия плана Дауэса, после президентских выборов развернулась энергичная спекуляция.

11. «Сведущие люди» пред лицом назревающего «корнера».

Это накручивание было настолько заметно, что уже в декабре месяце в Англии, где, как мы видели, не хотели следовать по стопам американских повышателей, был поставлен вопрос: а не образовался ли в Соед. Штатах корнер, т.-е. тайный союз крупных спекулянтов с целью взвинчивания цен на хлеб? Ответ на это английские «спецы» дали отрицательный. 17 декабря газета «Чикаго-Трибюн» получила следующую телеграмму из Лондона:

« — Нет возможности в наше время образовать корнер на мировом хлебном рынке, или даже только корнер в масштабе американского рынка, и в этом направлении не было сделано ни одной попытки вот уже более двадцати лет, — заявил сегодня сэр Герберт Т Робсон перед королевской комиссией, председателем которой является сэр Оклэнд Джелдс.

«Сэр Герберт, являющийся британским хлебным экспертом, заявил, что несмотря на издержки перевозки, перегрузки и прибыли посредников, цены на хлеб ниже в Лондоне, чем в Чикаго, Нью-Йорке, Торонто и Монреале. Он отметил, что северо-американский урожай 1923 г. был продан ниже издержек производства и с тяжелым убытком для производителя.

«Сэр Герберт рассказал о своем посещении Чикаго по поручению британского правительства в целях обследования условий пшеничного рынка. Он сказал, между прочим: — Нас сопровождали сыщики, дабы, по их словам, защищать нас от возмущенной черни Чикаго. Но я думаю, что они присутствовали там, дабы внимательно наблюдать за нашими действиями и получить уверенность, что мы не имеем намерения создать корнер на хлебном рынке».

Британский эксперт не только ошибся в том, что более двадцати лет не было попыток «корнеровать» американский хлебный рынок (последняя попытка относится к 1908 г.), не только ошибся в оценке антимонополистской щепетильности чикагской полиции, но он ошибся и по существу. В это время корнер Кэттена (о нем ниже) уже начинал свою работу. И немало спекулянтов у ж е в декабре месяце успели нагреть руки, как показывает, например, заметка в «Нью-Йорк Таймс» от 30 декабря: «На Уолстрит (нью-йоркская фондовая биржа) вчера было получено сообщение, и в известных кругах ему приписывают значительную достоверность, что некоторые из тех, кто нажил крупные состояния, спекулируя на пшенице и кукурузе в течение нескольких последних месяцев, ныне обратили внимание на фондовый рынок. Большая часть из них живет в Чикаго и ведет операции из этого пункта».

Накануне помещения этой заметки та же газета следующим образом описывает положение на чикагском хлебном рынке к 28 декабря 1924 г.: «Хлебные цены достигли уровня, при котором большое число оптовиков распродали свои запасы с прибылью от 20 до 40%, с такой же прибылью и на ржи. Уровень цен так высок, что большинство опытных спекулятивных дея-

телей и «снимателей скальпов» из «колодца» [1]) боятся следовать за дальнейшими шагами взвинчивания цен, в то время как крупнейшие держатели пшеницы закупили ее по таким низким ценам, что колебания в 5—10% не смущают их даже при нынешнем уровне цен. Действие на рынок запасов, находящихся в их руках, проявляется более сильно, и рядовой биржевой торговец постепенно переходит на сторону покупающих [2]) в то время, как экспортеры в приморских городах, в тесном контакте с заграничной ситуацией и с лидерами партии повышателей в Чикаго, чувствуют себя вовсе не плохо.

«Те, кто имели наклонность к понижению с тех пор, как цена пшеницы перешла через уровень 1 долл. 20 центов [3]) говорят, что рынок находится в опасном состоянии... Для всех видов зерна имеется крупно-спекулятивная ситуация, при которой можно ожидать значительных колебаний, и при которой у крупных держателей имеется твердая уверенность... в высоких ценах на ближайшие шесть месяцев».

В начале января начинает усиленно отмечаться то обстоятельство, что экспорт пшеницы стал сжиматься, т. к. заграничные рынки сокращают покупку из-за высоких цен (ср. выше о «контакте» экспортеров и чикагских повышателей).

Вследствие все более усиливающихся разговоров о спекулятивной оргии на биржах, в особенности со сделками на будущие поставки, а также обвинений Деп. Земледелия (коему поручен контроль за этими сделками), что он не вмешивается в эту опасную спекуляцию, 6 января выступил с успокоительным заявлением министр земледелия Гор. «Администрация по сделкам с «будущим зерном» Деп. Земледелия,— заявляет министр,— посылает каждый день компетентных обследователей в залы важнейших бирж, ведущих сделки на будущие сроки. Кроме того, она получает отчеты, ежедневно обрисовывающие текущие операции всех фирм. В распоряжении рыночных контролеров нет информации, которая давала бы почву для беспокойства относительно того, что важнейший продовольственный хлеб Соед. Штатов сделан предметом злостной и опасной спекуляции». В дальнейшем министр земледелия старается доказать: 1) что цены в Ливерпуле выше, чем в Соед. Штатах [4]), а также отмечает, 2) что в Канаде цены

---

[1]) «Сниматель скальпов», примерно, то же, что «биржевая акула», а «колодец» — углубление со ступенями на чикагской бирже, где производятся операции с продажей зерна на будущие сроки.

[2]) Т.-е. играющих на повышение.

[3]) Читателю, которому покажется, что уровень цен в 1 долл. 20 центов является невысоким, надо иметь в виду, что здесь (в отличие от наших таблиц) имеются в виду чикагские цены, более низкие, нежели цены в приморском городе Нью-Йорке.

[4]) Для этого он ссылается на определенный момент, когда цены на будущее зерно были выше в Ливерпуле, чем в Чикаго и Канзас-Сити

выше, и выводит, что «американская цена слишком низка (!), а не слишком высока, как утверждают». Это подкрепляется обзором урожая в различных странах, из коего выводится неизбежность повышения цен. Такое повышение является заслуженной компенсацией американскому фермеру после того, как «четыре года производитель пшеницы изнывал под бременем бедствий».

«Ныне в ходу заявления, что производитель не в выигрыше от высокой цены пшеницы и что потребитель в результате этого несправедливо отягощен. Кроме того, ответственными за это считают хлебные биржи. Существующие жалобы на чрезмерную высоту хлебных цен не обоснованы, т. к. цены только достигли паритета покупательной силы с остальными товарами [1]), а индекс пшеничных цен все еще значительно ниже индекса заработной платы. То, что фермер в выигрыше от прироста цен, легко показать на том, что цена пшеницы на фермах в 1923 г. была лишь немного больше 92 центов за бушель, тогда как 1 декабря 1924 г. эта цена была 1 доллар 30 центов за бушель».

Однако и министр земледелия не может отрицать уже отмеченного нами обстоятельства. «Конечно, положению нашего производителя пшеницы присуще (inherent) то обстоятельство, что он вынужден сбывать хлеб немедленно или скоро после уборки урожая. Согласно среднему расчету за девять лет, около 70% урожая пшеницы уходит с ферм в течение пяти месяцев с июля по ноябрь включительно. Май является месяцем наиболее высоких цен. Но он также является месяцем наиболее низких цифр поступления на рынок».

И министр земледелия заканчивает обычным призывом к изменению такого порядка вещей. Конечно, это вполне платонический призыв, а все его сообщение является лишь неудачной попыткой оправдать биржевые махинации в расчете, что от них хотя бы малая толика перепадет и фермеру. Холодный язык цифр говорит нам, что эта толика очень мала, нажива же посредников, как сейчас увидим, была огромна

12. Эпопея Артура В. Кэттена, или Америка еще раз «помогает» России.

Пока делались эти успокоительные заявления, спекуляция окончательно завладевала запасами и рынком. Все попытки партии понижателей продавать зерно немедленно парализовались его закупкой повышателями, что вызывало скачки цен в течение дня вниз и вверх. К середине января повышатели во главе с некиим Артуром Кэттеном окончательно овладели рынком и началась буквально спекулятивная вакханалия.

---

[1]) Это утверждение, несомненно, неправильно: уже в декабре пшеница имела «ножницы с плюсом» в отношении генерального индекса.

Вот как шло развитие цен с конца декабря и по конец января[1]):

	Декабрь 1924 года.				
	4	11	18	24	31
Цены в центах за бушель в 1924—25 г.	1.82 3/4	1.77 1/4	1.92 1/4	1.96 1/2	2.02 7/8
Цены на соответств. числа месяца год назад.		1.24 3/4			
В нынешнем году выше прошлогоднего в %%	+ 46,5	+ 42,1	+ 55,7	+ 59,1	+ 62,3
Выше средней цены 1913 г. в %%	+ 75,7	+ 70,4	+ 84,8	+ 88,9	+ 95,0

	Январь 1925 года.						
	8	15	22	24	26	28	31
Цены в центах за бушель в 1924—25 г.	2.02 3/4	2.14	2.24 1/4	2.25 5/8	2.26 3/8	2.34 3/4	2.32 1/2
Цены на соответств. числа месяца год назад		1.25 1/4	1.28		1.28	1.29 3/4	1.29 3/4
В нынешнем году выше прошлогоднего в %%	+60,9	+ 70,5	+ 75,2	+ 76,3	+ 76,9	+ 80,9	+ 79,2
Выше средней цены 1913 г. в %%	+94,9	+105,7	+116,6	+116,9	+117,6	+125,7	+123,5

Мы видим, что пока английские эксперты обследовали чикагскую биржу, а министр земледелия успокаивал публику, цена на озимую красную к концу декабря — началу января уже дошла до двух рублей 37 коп. за пуд (два доллара 2¾ цента за бушель), превысив прошлогоднюю цену на 61 — 62%, а довоенную — на 95%. Но этого было мало. Энергичная атака союза повышателей началась во вторую неделю января. В течение этой недели цены подняты на 11 центов за бушель (13 коп. на пуде); в следующую неделю достигнуто повышение на новых 10 центов (12 коп. на пуде) и затем в течение шести дней создается новое повышение на 11½ центов (13½ коп.). Итого за три недели цена поднята на 32 цента за бушель, или 37 коп. на пуд. И в рекордные дни 28 — 29 января она доведена до уровня в 225,7% довоенного уровня и в 180,9% прошлогодней цены. К этому моменту красная озимая пшеница достигла цены в 2 р. 75 к. за пуд (два доллара 34¾ цента за бушель), цены, приблизительно равной средней цене последнего года войны (1918 г.), небывалой с октября 1920 г., т.-е. с того момента, когда уже начиналось падение невероятно накрученных спекуляцией цен 1919 — 1920 г.г., но это падение было еще в самых первых стадиях, и небывалой также в довоенные годы со времен знаменитого корнера 1898 г.

Как и кто проделывал эту атаку? Приходится констатировать, что главным козырем в руках г.г. спекулянтов и одним из об'ектов их стараний была Сов. Россия. Они «помогали» ей так же, как в 1921 — 22 г. помогала

[1]) Берем на этот раз котировку озимой красной № 2 в Нью-Йорке по данным «Брэдстритс» и «Нью-Йорк Таймс». Этот сорт пшеницы ценится выше прежде упоминавшегося сорта (озимой твердой № 2), цены которого регистрируются в бюллетенях Международного С.-Х. Института. Средняя цена озимой красной № 2 в 1913 году — 1 доллар 4 цента.

АРА, поставляя в Россию по дорогим ценам массы кукурузы, давившей на американский рынок и сжигавшейся даже в печах за ненадобностью.

С конца декабря 1924 г. и в начале 1925 г. биржевые обзоры американских газет ежедневно пестрят сообщениями о том, что Россия закупает хлеб, что она будет закупать очень много. Руководитель несомненно существовавшего в эти дни корнера Кэттен выступает с заявлениями о том, что он «убежден» в «неизбежности» крупного повышения цен. Пускаются в оборот соображения о том, что Россия не только в нынешнем году вышла в тираж, но что она в течение ряда лет вряд ли сможет вывозить что-либо [1]). На бирже идет паника. Рядовые биржевики только покупают, а крупные «скальпоснимателн» под шумок заключают выгодные контракты, в том числе — увы!— конечно, и с контрагентами Сов. России.

Власть, депутаты парламента, пресса пассивно воспринимают происходящее. К концу января 1925 года союз повышателей решает, что работа его закончена, «скальпы» сняты, «дичь убита» (все милые американские биржевые обороты). 5 февраля мы находим в «Нью-Йорк Таймс» характерное сообщение: «Артур В. Кэттен уезжает завтра на отдых во Флориду (место расположения самых шикарных курортов. *Н. О.)* и продолжает предвидеть в конечном счете более высокие цены». Т.-е. не только г. Кэттен снял значительное количество скальпов, но он сделал это еще по убеждению, он остается «сторонником» «идеи» высоких цен, несмотря на то, что цены уже падают (вследствие вынужденной реализации товара увязавшимися в повышательную кампанию вслед за Кэттеном рядовыми биржевиками). Одновременно газета «Уорлд» печатает любопытную заметку, характеризующую г. Кэттена и итоги его операций под заглавием: «Десяти — пятнадцатимиллионная «добыча» [2]) Кэттена — величайшая в истории зернового колодца». Мы узнаем здесь: «Чикагский биржевой комитет отмечает, что Артур В. Кэттен извлек из его кампании с пшеницей и рожью больше прибыли, чем когда-либо раньше было получено за одну операцию. Комитет оценивает его выигрыш между 10 — 15 миллионами долларов. Операции минувших дней далеки от его гигантских покупок и продаж. Считают, что он оперировал с 10 — 20 миллионами бушелей (17 — 33 милл. пудов) декабрьской и майской пшеницы, выиграв по 75 центов на бушеле. Кроме того, он имел миллионы бушелей ржи и кукурузы. Ныне он заявляет, что вышел с рынка... Кэттен никогда не менял своих взглядов (!) в отношении пшеницы, ржи или овса (как видите, в Соед. Штатах имеются «взгляды на овес». *Н. О.)*. В настоящий момент он не имеет интереса к кукурузе. Раз 12 в течение истекшего месяца, когда пшеница слегка колебалась, разносилась молва, что он начал продавать. И всегда он давал тот же ответ: «положение остается без перемен» (заметьте, тов. читатель, этот комически-суверенный тон. *Н. О.)*. Кэттен мал ростом, сухощав и остроглаз. Он скопил 3.000 долларов на должности клэрка в хлебной фирме, сделался независимым спекулятивным деятелем и сделал свой первый «кил-

---

[1]) Ср., например, новогодний обзор чикагской биржи в «Нью-Йорк Таймсе».
[2]) Собственно «killing», т.-е. «убийство»—убийство зверя на охоте.

линг» (см. примечание. *Н. О.)* на бумагах линии Су, что дало ему прибыль в 150.000 долларов. Он не верит в рыночную стратегию, основывающуюся на печатных материалах и таблицах (т.-е. он, очевидно, сторонник спекулятивного «вдохновения». *Н. О.).*

13. «Сведущие люди» после завершения эпопеи.

Пока печатались подобные трогательные характеристики, цены быстро летели вниз, так как крупные «охотники» кончили работу.

Вот дальнейшее движение этих цен, в сопоставлении с положением в декабре:

	31 дек. 1924 г.	Янв. 1925 г.		Февраль 1925 года.						
		28	31	2	4	7	10	11	12	16
Центов за бушель	$2.02^7/_8$	$2.34^3/_4$	$2.32^1/_2$	$2.29^1/_2$	$2.26^1/_4$	2.18	$2.10^3/_4$	2.05	2.01	$2.02^1/_2$

С от'ездом Кэттена на отдых, цены пошли вниз еще скорее, чем они в свое время лезли вверх. К середине февраля, на каковой срок мы в момент написания этой статьи имеем данные, они вернулись на декабрьский уровень, т.-е. на исходную точку спекулятивного под'ема: этот уровень немного менее, чем вдвое выше довоенного и на 61—62% выше прошлогоднего.

Только в этот момент лица, коим подобные дела «ведать надлежит», наконец, так сказать, пробудились от спячки. В начале февраля появляются известия, что в конгрессе поставлен вопрос о запрещении вывоза пшеницы в целях снижения цен. На это чикагские биржевики правильно возражали, что об'ективной надобности, с точки зрения состояния запасов, в этом нет: в стране имеется свободный экспортный излишек в 75 милл. бушелей (21 милл. квинталов или 126 милл. пудов), да еще такой же переходящий в новую кампанию резерв. 4 февраля сенатор Камерон вносит предложение: поручить федеральной комиссии по торговле произвести расследование, не совершено ли на бирже «коллективных нарушений законодательства против трестов» в связи «с операциями по пшенице, муке и хлебу, и нет ли связи таковых нарушений с движением цен». Появляется известие, что и штат Иллинойс хочет произвести подобное расследование на чикагской бирже. Но уже 9-го февраля «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что «движение в сенате Соед. Штатов в пользу расследования повышения цен на пшеницу до 2-х долларов за бушель [1]) вряд ли пойдет далеко. Руководители торгового мира и правительственные чиновники смотрят на дело так, что расследовать нечего. Повышение цен естественным порядком совершилось во всем мире, хотя и было стимулировано недолжной (indue) спекулятивной скупкой, что от времени до времени случается, когда публика подпадает под впечатление и получает уверенность, что положение обеспечивает высокие цены».

---

[1]) Имеется в виду чикагская цена, которая отстает от цены Нью-Йорка на 20—25 центов.

Даже из этого заявления как будто вытекает необходимость расследования, но, в конце концов, виноватой оказывается «публика». Реальное действие таких заявлений на биржу было только то, что «распасовка» цен пошла еще быстрее. Ее еще усилило выступление главного правительственного биржевого инспектора чикагского района, Дювеля, который лишь к 9 февраля надумал поставить вопрос о том, что при сделках на будущее зерно на чикагской бирже замечались слишком большие колебания в течение одного биржевого дня и что надо принять меры против таких скачков, ограничив пределы ежедневных колебаний (по образцу хлопковых бирж). Г. Дювель слишком поздно заметил эти колебания, ибо больше всего они развернулись в начале января в борьбе повышателей и понижателей. Тогда бывали случаи, когда цена — благодаря выпуску на рынок реальной или номинальной партии товара — падала с начала биржевого дня на 10 центов, а затем вновь возвращалась вспять; тогда надо было бороться с этой азартной игрой, которая все же составляет лишь формальную сторону дела. 10 же февраля выступление Дювеля имело только один результат: «Сегодня на рынке разразилась буря операций по продаже пшеницы. Предложение, сделанное д-ром Дювель о том, чтобы колебания цен были нормированы биржами, было причиной развития ряда диких слухов, и много мелких держателей в панике бросились продавать, в результате чего майская пшеница снизилась на 11 центов против высшей точки вчерашнего дня и на 7 центов в течение сегодняшнего» («Нью-Йорк Таймс»).

Таковы условия хлебной торговли в Соединенных Штатах, таково регулирование ее, хвалебные отзывы коему пишутся в русских книжках [1]), так хорошо и безнаказанно умеет там торговый капитал разыгрывать крупную игру за счет своих фермеров и за счет отечественных, а также и заграничных потребителей [2]).

14. Приостановка или перелом? О ценах на сентябрьскую пшеницу, о перспективах промышленной кон'юнктуры, о росте посевных площадей.

После всего вышесказанного, думается, не трудно ответить на вопрос: имеем ли мы дело с приостановкой или с переломом мирового аграрного кризиса?

Ответ в значительной мере дают уже многократно упоминавшиеся котировки чикагской биржи на будущую пшеницу. 17 февраля, когда в Нью-Йорке наличная озимая красная пшеница ценилась 2 доллара 2½ цента бушель

[1]) Ср. «Зерновое хозяйство Сев. Америки» Н. П. Макарова и нашу критику этой работы в № 1 журнала «На аграрном фронте».

[2]) В № английского «Экономиста» от 28 февраля сообщается, что 22 января 1925 г. хлеботорговый центр американской фермерской кооперации подал записку в президентскую «с.-х. комиссию», где самым оптимистическим образом оценивает торговлю «будущей пшеницей» в Соед. Штатах, утверждая, что никакой спекуляции на американских биржах нет и т. п. После сего можно еще добавить: «и такова с.-х. кооперация в Соедин. Штатах»!

(2 рубля 37 коп. пуд), цена пшеницы в Чикаго с поставкой на май (т.-е. в пределах нынешнего сезона) была 1 долл. 84½ цента (2 р. 16 коп. пуд). Разница с Нью-Йорком об'яснялась стоимостью перевозки и отчасти различием сортов. В то же время Чикаго котировал поставки пшеницы *на июль* 1 долл. 55,7 цента (1 р. 82 коп. пуд.) и на *сентябрь* 1 долл. 43¼ цента (1 р. 68 коп. пуд). Иначе говоря, Чикаго предвидел значительное *понижение* цен пшеницы в ближайшем сезоне (на 48 коп., или на 22%, беря сентябрьскую цену), хотя полагал, что все же она будет процентов на 40 выше довоенной.

Но и предположение о превышении сентябрьской ценой (каковая приблизительно соответствует годовой средней) довоенного уровня на 40% опирается исключительно на горячечно-спекулятивную психологию нынешнего года.

В самом деле, если «дней Дауэсовых прекрасное начало» (а гораздо больше закупка хлеба Сов. Россией) позволили вынудить покупателей на мировом рынке к повышению цен, если их повышенная платежеспособность, может быть, и расценивается основательно пределом в 40% выше довоенного, то ведь вопрос еще и в положении продавцов.

В нынешнем году мы имеем совершенно исключительное сочетание обстоятельств: 1) неурожай в Европе, 2) неурожай (беря дело суммарно) в заокеанских странах, 3) такое положение, когда «предельной» страной явилась катастрофически неурожайная Канада, а Соед. Штаты, с их организацией торгового капитала, определяли судьбу массового предложения.

В будущем году такая ситуация не то что может не повториться, а 90—99% вероятности, что она не повторится. Стоит в Канаде оказаться хорошему урожаю, если даже в Соед. Штатах он будет неважный и в особенности, если он будет хорош,—и конец кон'юнктуре. То же самое можно сказать о хотя бы среднем урожае в Европе. Очень существенным фактором является и СССР. Если у нас будет урожай,—неизбежно снижение мировых цен до довоенного уровня (к которому они уже подходили зимой 1923—24 года, а частью уже и выравнялись на него в Сев. Америке). Но если даже у нас будет неурожай, что очень возможно, то и без нас с ситуацией на хлебном рынке отлично справятся, вследствие отнюдь все же не довоенной покупательной способности и потребления Европы, если притом мировой урожай окажется приличным.

Далее, вот какое обстоятельство надо учитывать. Действие родит противодействие. Рост хлебных цен родит расширение запашек. Оно уже в ходу. В февральском бюллетене Международного С.-Х. Института есть данные о посевах озимой пшеницы в разных странах мира. Итог тот (еще неполный), что посевная площадь увеличилась с 50 милл. до 51,75 милл. гектаров или на 3½%. Притом сокращения наметились только в Испании (где посевная площадь раздута во время войны) и в Румынии, которая пока на мировом рынке никакой роли не играет [1]). Во Франции прирост на 310 тысяч гектаров (4%), в Италии

[1]) Это сокращение об'ясняется сильным неурожаем в Румынии, где площадь посева в 1924 г. была расширена на 17%, но сбор оказался всего 73% прошлогоднего. Такое же положение наблюдается в Венгрии.

на 173 тыс. гектаров (3,5%). В Соед. Штатах же прирост на 1.045 тыс. гектаров (6,5%). Да и в Индии (собирающей урожай в марте) уже успели учесть кон'юнктуру и расширили посев на 780 тысяч гектаров (4,8%).

Американские фермеры не выдерживают характера. Мы видели выше, что они с 1921 года постепенно спускали площадь посева. Еще осенью 1923 года тогдашний министр земледелия в своем докладе президенту «о положении с пшеницей» усиленно пропагандировал скорейшее сокращение пшеничных площадей и возвращение к довоенным пропорциям культур. В 1924 г. фермеры действительно спустили озимую площадь на 1.240 милл. гектаров. Но в нынешнем году они ее подняли на 1.045 тысяч. Притом это происходило ранней осенью, и на них действовало только то сравнительно небольшое повышение цен, которое тогда имелось. Весной их стремление к увеличению площади, несомненно, примет более обширные размеры.

15. Американский Департамент Земледелия и его советы фермерам.

В начале февраля 1925 года Департамент Земледелия Соед. Штатов счел уместным выступить с циркулярными советами фермерам своей страны. Журнал «Брэдстритс» излагает их под несколько ироническим заголовком: «Правительство дает советы фермерам». Здесь Департамент отмечает, что в нынешнем году кон'юнктура для сельского хозяйства хороша, но «возможно сокращение внутреннего спроса в ближайшую зиму». «Нет гарантии, — говорит циркуляр, — что промышленное оживление первой половины 1925 года продлится на том же высоком уровне и в 1926 году, и если обнаружится сокращение хозяйственной деятельности в результате перенапряжения кон'юнктуры, то можно ожидать ослабленного спроса на некоторые из культур урожая 1925 года. Заграничный рынок для большинства американских сельскохозяйственных продуктов обещает быть, по крайней мере, так же хорош, как в истекшем году».

Если Департамент Земледелия совершенно правильно учитывает здесь перспективу надвигающегося промышленного кризиса после под'ема 1924—1925 г.г. в Соед. Штатах, то совершенно непонятно, почему он: 1) не желает учитывать того, что в Европе отзвуком этого кризиса будет депрессия промышленности (острый кризис менее вероятен, так как и под'ема в Европе не было) и 2) не желает учитывать повсеместной об'ективной неизбежности того самого, что он старается отсоветовать фермерам, именно — расширения посевных площадей. Откуда опять-таки Департамент выводит, что 1925 год будет так же хорош, как и 1924 год, — неизвестно. Дело, очевидно, просто в том, что Департамент лавирует между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, он только что потакал спекулятивному повышению цен, об'ясняя его солидным изменением мировой ситуации, и теперь не может отказаться от этой постановки вопроса, с другой стороны, надо дать фермерам лозунг не расширять продукции — иначе

грозит перепроизводство, ибо *на деле* — рост цен был *случайный*. Как бы то ни было, производителям яровой пшеницы дается совет — не увеличивать производства свыше отечественной потребности, а для этого удержать посевную площадь на прошлогоднем уровне. Свиноводам дается совет не увеличивать количества выводимых свиней, а молочникам — не производить «никакого дальнейшего расширения производства».

К этому «Брэдстритс» справедливо замечает, что совет, конечно, хорош, но что «двухдолларовая пшеница (наличная и майская цены близки к этому уровню) составляет искушение, которое трудно будет превозмочь северо-западным фермерам» [1]). И «Брэдстритс» советует им больше обращать внимания на *сентябрьскую* цену и не слишком увлекаться.

Нет, однако, сомнения, что и фермеры ярового района увлекутся перспективой цены в полтора раза выше довоенного и прибавят лишний миллион гектаров еще и на яровую пшеницу. А надбавка в 2 милл. гектаров озимого и ярового посева составляет по средней норме урожайности последних лет 20 милл. квинталов (122 милл. пудов) лишнего сбора в одних Соед. Штатах.

Между тем уже и в Канаде ничтожная по абсолютным размерам (327 тыс. гектаров) площадь озимых (их там почти не сеют) расширилась на 30%. Это предвещает крупное расширение яровых посевов в Канаде, где прирост площади пшеницы отнюдь не означает еще экстенсификации хозяйства, как в Соед. Штатах, а означает раздвижение его пределов на огромных пространствах свободной земли.

16. Не перелом, а новое обострение наиболее вероятно в будущем.

Поскольку в сельском хозяйстве масштаб производства в сильнейшей степени определяется метеорологическими условиями, ни один разумный человек не возьмется предсказывать его кон'юнктуру на близкие и короткие сроки — даже в тех пределах, как это мыслимо в отношении промышленности. Для последней можно уже без труда предсказать (как это и делает Деп. Зем. С. Ш.) минимум — наступление значительной депрессии и минимум — через год.

Конечно, не исключена вовсе возможность повторения в будущем году всей той «диспозиции», которая наблюдается в нынешнем. Как бы ни была ничтожна вероятность этого повторения, но, разумеется, она теоретически мыслима.

Однако неизмеримо б ó л ь ш а я вероятность на стороне «диспозиции» с о в е р ш е н н о и н о й, ибо об'ективно учитываемые факторы все говорят за нее: 1) глубокая коренная размычка между городом и деревней в мировом масштабе отнюдь не изжита, и в частности платежеспособность Европы

---

[1]) «Северо-западные фермеры»—т.-е. фермеры того северо-западного района Соед. Штатов, где сосредоточено производство я р о в о й п ш е н и ц ы. О посевах яровой пшеницы весной нынешнего года в этом районе идет речь в циркуляре Деп. Земледелия.

весьма низка, 2) не Соед. Штаты являются предельным фактором, определяю щим цену хлеба; таковыми являются Канада и Сов. Россия, где себестоимост производства весьма низка, 3) земельные запасы в Канаде, Аргентине, Ав стралии очень велики, 4) промышленная депрессия (частью острый кризис все больше приближается по логике капиталистического цикла, 5) под'ем це уже стимулировал увеличение производства хлебов в виде расширения площад озимых. Яровые от озимых не отстанут. Вследствие специфических услови мирового зернового хозяйства (длинный производственный период, масс разрозненных единоличных предприятий) его отклики на изменения кон'юнк туры всегда оказываются «не отвечающими моменту».

Огромную вероятность имеет за собой не сохранение высокой кон'юнктуры в ближайшем сезоне, а наоборот: еще более обостренное перепроизводство, которое охватит уже и более интенсивные отрасли сельского хозяйства (как, например, молочное дело).

Это — поскольку речь может итти о перспективах ближайшего года. Поскольку речь идет о ближайших годах, для которых входит в действие закон средних, ликвидирующий метеорологические колебания, можно с уверенностью сказать: мировой аграрный кризис не прекратится, а наверное — обострится.

Ибо всякий метереологический цикл имеет конец, ведет от неблагоприятных условий к благоприятным, а это значит, что Советская Россия выйдет на мировой рынок. Она уже показала в 1923—24 году, что означает ее вмешательство в европейские хлебные дела, показала пока на ржаном рынке. И на Украине (как это фиксируют уже бюллетени Римского Института) озимая пшеничная площадь нынешней осенью расширилась на 8%. Выступление СССР на пшеничном рынке очень близко. Факторы постоянного характера делают его неизбежным. Вместе с Канадой, с Румынией и другими придунайскими странами (которые тоже созревают для выхода на рынок) СССР будет господствовать на рынке, что означает существование цен, далеких от идеала г. Кэттена и совершенно неудовлетворительных для сельского хозяйства Соед. Штатов, Франции, Англии и т. д. при нынешних социальных и технических предпосылках этих стран.

17. Не перелом, а расширение сферы кризиса в более отдаленном будущем.

Намечается, далее, и еще одна перспектива, которая может затронуть сельское хозяйство Дании, Голландии, Бельгии, с одной стороны, и Германии — с другой. До войны первые три страны, особенно Дания, вели крупное молочное и мясное хозяйство на привозных русских кормах — на ячмене и жмыхах. Германия больше всего строила на нем свое мясное производство и интенсивное земледелие с обильным удобрением. Это положение пока восстановилось в первых трех странах, в последней же не могло еще восстановиться. Но это положение не может быть долговечным. После октябрьской революции нашему сельскому хозяйству открылись совершенно

новые горизонты. Наша задача состоит теперь не в том, чтобы вместе с восстановлением экспорта пшеницы и ржи восстановить и экспорт ячменя и жмыхов (которые составляли огромную долю русского экспорта). Наша задача организовать внутри страны использование тех кормов, которые нами до войны вывозились. Нашей задачей является также заменить хотя бы часть ячменя кукурузой. Здесь не место распространяться на тему о том, каковы преимущества кукурузы. Надо только вкратце сказать: неутомимый пропагандист кукурузы, тов. Раковский, совершенно прав. Кукуруза даст возможность еще лучше использовать корма внутри страны и в частности отвоевать у Соед. Штатов последнюю монопольную их цитадель на европейском рынке: экспорт свиного сала и его произведений. Но кроме этого, Сов. Россия должна бороться за рынки свинины всех видов, масла, сыра, птицы, яиц и прочих видов интенсивного животноводства.

СССР по об'ективным причинам, развивая производительные силы страны, должен выступить конкурентом и на тех рынках, которыми до войны еще владели интенсивные районы Европы. Вот почему и этим районам угрожает — рассматривая дело в более отдаленной перспективе — глубокий кризис. И это тем более, что уже и заокеанские страны, как Аргентина, Нов. Зеландия, восточная Канада все больше расширяют свое влияние на рынке продуктов интенсивного животноводства.

Аграрный кризис старого мира неустраним. И он имеет тенденцию к дальнейшему углублению и расширению. Он неустраним до тех пор, пока не будет устранена его предпосылка — капиталистический способ производства.

P. S. После того, как предшествующее было уже набрано, в наше распоряжение поступил новый материал, подтверждающий и поясняющий высказанные нами положения. Сообщаем его вкратце.

1. В февральском выпуске «Исследований о пшенице» пищевого ученого института при стэнфордском университете (Калифорния) сообщены данные о ходе поступления пшеницы в важнейшие хлеботорговые города Соед. Штатов осенью 1924 года. За август - ноябрь (включительно) поступило 324 милл. бушелей, при валовом сборе 873 милл. бушелей, т.-е. 37%. За предшествующие четыре года соответствующий процент составлял — 20% — 24% — 24% — 24%. Иначе говоря, поступление в 1924 г. шло более чем в полтора раза энергичнее, и действительно, фермера должны были сбыть большую часть своего хлеба по сравнительно низким ценам. Характерно, что уже за август-октябрь (включ.) поступление составило 30% сбора. (Читатели должны иметь в виду, что мы сейчас приводим сведения о поступлении хлеба в города, а раньше в нашей статье приводились данные о поступлении его на местные элеваторы и мельницы. Те и другие данные между собой несоизмеримы. Подача хлеба в города отстает от сдачи его в элеваторы, процентные показатели в первом случае меньше).

2. В последней книжке журнала германского министерства земледелия помещены интересные данные о том, как американский хлеботорговый король Армор, путем основания лжекооперативного оптового хлеботоргового товарищества (фактически — треста четырех крупнейших хлебных фирм), подчинил своему влиянию большую часть американской фермерской кооперации. Эти данные проливают яркий свет на ту удивительную солидарность биржевых, правительственных и кооперативных кругов, которая обнаружилась во время спекулятивной горячки в январе 1925 года. Сведения об этом мастерском трюке американского капитала мы печатаем в № 4 журнала «На аграрном фронте», к которому и отсылаем читателей.

Политика как наука.

(К вопросу о принципах систематизации ленинизма).

Г. Яковин.

Наши тактические принципы, отточенные и законченные, войдут в историю рабочего движения и социализма России, как краеугольные камни.

Ленин, Собр. соч. т. VIII, стр 516.

Теоретические положения, формулировки, обобщения, которые давал тов. Ленин, делались, в значительной мере, на девять десятых, от случая к случаю... Они разбросаны по всем многочисленным томам его сочинений и, как это ни трудно понять, именно потому, что они разбросаны, что они не преподнесены нашей читательской публике в сжатом, закругленном, законченном виде, именно поэтому очень многие считают, что тов. Ленин, как теоретик, в значительной мере уступает Ленину-практику.

Но эта мысль, я думаю, будет разбита в течение ближайшего будущего, а в течение более отдаленного будущего тов. Ленин станет перед нами во весь свой рост, не только как гениальнейший тактик рабочего движения, но и как гениальнейший его теоретик... Ленин еще ждет, как теоретик, своего систематизатора.

Н. И. Бухарин, Атака, стр. 242—243.

Ленин называл «хорошим марксистским обычаем»—давать связное и цельное изложение основ своих взглядов и своей тактики. Не говоря уже об образцово-систематических работах 90-х годов против народничества и Струве, Ленин во все переломные исторические моменты давал систематическое рассмотрение выдвигавшегося вопроса, одним концом упирающегося в основы марксистского мировоззрения, другим—в тактические задачи и «технические» формы борьбы партии при данной ситуации.

Ленин, единственный из писателей, участвовавших в борьбе с экономистами (а среди них был такой «академик», как Плеханов), который не ограничился газетно-разоблачительной критикой экономистских теорий, политических задач и методов борьбы, а дал систематическое развитие и изло-

жение взглядов на значение марксистской теории для революционной борьбы, на отношение сознательности к стихийности, политической организации рабочего класса к профессиональной, — на-ряду с защитой очередных злободневных задач, по организации партии и об'единению ее вокруг газеты. Когда революция 1905 года стала на очередь дня, то Ленин дал (в «Двух тактиках») систематическое изложение взглядов на исторические задачи русской революции, связав общие вопросы марксистской тактики с анализом положения разных классов в революции, их интересов и преследуемых целей, точно так же, как и необходимых тактических приемов и средств борьбы. В ряде работ эпохи реакции Ленин развил цельную систему взглядов, начиная с общих основ учения Маркса и кончая вопросами о блоках и избирательной технике на выборах в Госуд. Думу и вопросами тактики с.-д. фракции в самой Думе.

Если Ленин в книжке об империализме (при всей систематичности ее) не дал нам, помимо учения об основах империализма и корнях оппортунизма, также и учения об общем характере начавшейся эпохи революции, о задачах пролетариата в революции, об отношении пролетариата к буржуазно-демократическим и национальным движениям, — то только потому, что книжка писалась для царской цензуры, и В. И. «был вынужден строжайше ограничить себя исключительно теоретическим — экономическим, в особенности — анализом», как писал он сам в предисловии к изданию 1917 г. Но то, что дано Лениным в ряде других брошюр и статей, дополняющих эту основную брошюру, очень близко к систематическому изложению этих вопросов. Ленин тщательно собрал несистематизированные, разбросанные мысли Маркса и Энгельса о государстве и задачах пролетариата в революции, о форме пролетарской диктатуры, о политических и экономических задачах ее в переходный период и дал систематическую книжку по этому вопросу в самый разгар революции.

Далее, Ленин дал также систематическое изложение революционной тактики (т.-е. форм борьбы) партии в «Детской болезни», хотя она и посвящена задачам дня. Даже свои предложения о технических усовершенствованиях госаппарата и работы ЦК В. И. развил систематически, поставив их в связь с общим историческим характером эпохи, мировой обстановкой и судьбами мировой революции.

Все работы Ленина проникнуты злободневностью, но, на-ряду с этим, надо подчеркнуть, что во всех его работах злобы дня связаны с основными принципами теории, которые большей частью в этих работах и развиты, а научная систематизация как раз и заключается в увязывании отдельных взглядов и частных положений с основными, руководящими принципами.

Является ли ленинизм системой или только научным методом?

В своей известной статье («Ленин как национальный тип»), написанной в апреле 1920 г. к пятидесятилетию жизни В. И., тов. Л. Д. Троцкий,

делая сопоставление между Марксом и Лениным, писал: — «Маркс весь в «Коммунистическом Манифесте», в предисловии к своей «Критике», в «Капитале». Если бы он даже не был основателем Первого Интернационала, то навсегда бы остался тем, чем является сейчас Наоборот, Ленин весь в революционном действии. Его научные работы — только подготовка к действию. Если бы он не опубликовал в прошлом ни одной книги, он навсегда бы вошел в историю таким, каким он входит теперь: вождем пролетарской революции, основателем Третьего Интернационала». В подчеркнутых мною словах хорошо оттенена действенная черта Ленина, но совершенно не оценено теоретическое значение его работ. В недавно выпущенной первой книге «Архива Маркса и Энгельса» имеется посвящение Ленину, в которой он характеризуется, как «Исполнитель заветов Маркса и Энгельса, гениальный мастер классовой борьбы и великий теоретик пролетарского государства», — здесь оценка теоретического значения Ленина ограничивается только теорией пролетарского государства. Я уже не говорю о том примере вульгарного противопоставления Ленина-тактика и практика — Марксу-теоретику, на который указывает т. Бухарин (см. эпиграф). По существу такое же противопоставление Ленина-практика Плеханову-теоретику мы находим и в книжке Горева о Плеханове.

Все это — разновидности одного и того же взгляда: ленинизм не наука, а метод.

История повторяется. Некогда в гегельянских кружках спорили о том, есть ли философия Гегеля метод или система, не замечая того, что она есть одинаково и новый метод, и новая система, хотя гегелевский метод и пережил его систему. Эти споры повторялись и в отношении Маркса: до сих пор еще немецкий левый ревизионист Г. Лукач не считает для себя решенным вопрос: есть ли марксизм научная система взглядов или только метод [1]). Вернее, он решает его, в смысле трактовки марксизма как метода, придавая его содержанию второстепенное значение. Если метод марксизма, может быть, и переживет марксистскую систему, то, пока не исчезли во всем мире те общественные образования, обобщением которых явился марксизм, до тех пор научная система марксизма имеет не меньшее значение, чем его метод.

Ни одно новое философское или научное направление не выдвигало нового метода мышления без связанной с ним научной или философской системы. Бэкон не является исключением, ибо он не создал нового философского направления, он только вытащил на свет божий забытый в средние века эмпирически-экспериментальный метод познания древних философов-материалистов. Спиноза издевался над людьми, желающими сначала изобрести правильный метод для того, чтобы при его помощи открыть правильную науку: он рекомендовал им, для большей правильности, сначала найти правильный метод для нахождения правильного метода и т. д. «Свет освещает самого

---

[1]) См. Деборин, Г. Лукач и его критика марксизма.

себя и темноту», писал по этому поводу Спиноза. «Истина есть мера самого себя и ложного», писал Гегель. Повторением этих древних латинских афоризмов великие философы, создатели двух величайших философских систем и методов, подчеркивали неразрывную связь между содержанием науки и ее критерием или методом.

В ленинизме точно так же метод неразрывно связан с его содержанием. Метод без системы есть, по меткому слову т. Радека (по другому поводу сказанному) — ключ к неизвестному ящику.

Однако, если ленинизм есть система и марксизм есть система, то каково отношение первой ко второй? Нет ли здесь разрыва с марксизмом, отказа от него и противопоставления ему ленинизма. Именно из боязни этой серьезной опасности останавливались товарищи, касавшиеся этого вопроса перед тем, чтобы считать ленинизм наукой. Приходилось лавировать между Сциллой и Харибдой: или признать ленинизм новой научной системой и тогда, как казалось, впасть в противоречие с марксизмом, или признать ленинизм только методом действий, и тогда свести на-нет его теоретическое значение. Отсюда путаные и эклектические «определения», которые ничего не определяют.

Все знают о том, что марксизм имеет три источника, из которых он развился: классическую философию, политическую экономию и утопический социализм. Когда говорят о марксизме, то имеют в виду, собственно говоря, философию как общее учение о развитии в природе и обществе (следовательно, включая сюда материалистическое понимание истории) и политическую экономию как теорию хозяйства капиталистического общества. А что сталось с утопическим социализмом? Он не развился в самостоятельный элемент марксизма, а растворился в двух других элементах. Ленин об этом вопросе не такого мнения. Он стоит на противоположной точке зрения.

В своей известной, много раз перепечатывавшейся, но в самом интересном пункте, как мне кажется, большей частью, непонятой статье, «Три источника и три составных части марксизма», напечатанной в большевистском журнале «Просвещение» в марте 1913 г., В. И. писал не только о трех источниках, но и *о трех составных частях марксизма*, т.-е., что утопический социализм развился в самостоятельный научный элемент марксистской системы. Изложив в первом параграфе этой статьи, в качестве первой составной части марксизма, материализм, диалектику и исторический материализм, Ленин во втором параграфе в качестве второй составной части марксизма излагает экономическое учение Маркса (стоимость, прибавочная стоимость, капитал, концентрация средств и неизбежность социализма) и в третьем параграфе, в качестве третьей самостоятельной составной части марксизма, излагается *учение о классовой борьбе*. При чем из дальнейшего видно, что это учение трактуется не в смысле учения об основах исторического развития, а в смысле *умения вести классовую*

борьбу. «Чтобы сломить сопротивление господствующих классов, — пишет там т. Ленин, — надо найти в самом окружающем нас обществе, просветить и организовать для борьбы такие силы, которые могут и по своему общественному положению должны составить силу, способную смести старое и создать новое». Именно это знание, как найти и как организовать революционные силы, которые могут и должны совершить революцию (статья печаталась в легальном журнале и в ней слово «революция» не упомянуто) имел в виду Ленин, когда он писал в «Детской болезни», «что политика есть наука. и искусство, которое с неба не сваливается, даром не дается», и далее он раз'яснял, что «наука» требует, во-первых, учета опыта других стран, особенно, если другие, тоже капиталистические, страны переживают или недавно переживали весьма сходный опыт; во-вторых, учета всех сил, групп, партий, классов, масс, действующих внутри данной страны, но отнюдь не определения политики на основании только желаний и взглядов, степени сознательности и готовности к борьбе только одной группы или партии.

И об этой третьей составной части или третьей стороне марксизма, как науки о том, как вести и как организовать классовую борьбу, Ленин говорил неоднократно. Например, в статье «Наши упразднители» читаем: «При богатстве и разносторонности идейного содержания марксизма, ничего нет удивительного в том, что в России, как и в других странах, различные исторические периоды выдвигают особенно вперед то одну, то другую стороны марксизма. В Германии до 1848 г. особенно выдвигалось философское формирование марксизма, в 1848 г. политические идеи марксизма, в 50-е и 60-е годы — экономическое учение Маркса. В России до революции особенно выдвинулось применение экономического учения Маркса к нашей действительности, во время революции — марксистская политика, после революции — марксистская философия. Это не значит, что позволительно когда бы то ни было игнорировать одну из сторон марксизма; это значит только, что не от суб'ективных желаний, а от совокупности исторических условий зависит преобладание интереса к той или другой стороне.

Но была ли в марксизме политическая теория? Была, только в зародыше. Философия диалектического материализма была в основных своих чертах намечена Марксом в 40-х годах и через 30—40 лет систематически развита и в ясной и законченной форме изложена Энгельсом в «Анти-Дюринге» и «Людвиге Фейербахе». Экономическое учение научного социализма было начато разработкой Энгельсом и Марксом также в 40-х годах (главным образом, в сочинении Энгельса «Положение рабочего класса в Англии») и систематически было разработано Марксом через 20—30 лет и изложено в законченной, цельной и образцовой систематической форме в «Капитале». Политические же идеи их остались в той общей форме первоначальной наметки, какую, примерно, в области философии представляли тезисы Маркса о Фейербахе. О том, каковы были взгляды Маркса и Энгельса на политические вопросы (в особенности после работы Ленина о «Государ-

для нас актуальной задачей. В этом отношении огромное значение имеет Ленинское изложение в спорах с народниками Марксовой теории рынка. Такие работы, как «Сисмонди и наши отечественные сисмондисты», Profession de foi народничества и критика его в книге г. Струве, «Развитие капитализма в России», сыграли уже свою роль разрушителей народничества, но изложенная и раз'ясненная в них теория рынка еще не сыграла всей своей роли, особенно в связи с существующими превратными толкованиями Марксовой теории рынков, как в кругах марксистов, так и не марксистов. Популяризация взглядов Ленина и положительное их изложение, освобожденное от устарелой полемики, имеет в наше время большое значение.

5. Законы аграрного развития. В этом вопросе Ленин, разумеется, почерпнул все основные положения из той богатой сокровищницы мыслей, какую представляют собой III и IV тома «Капитала». Но Ленин подтвердил Марксовы законы таким обилием статистических данных новейшего развития, так уточнил законы Маркса, придал самым трудным вопросам аграрной теории такую убедительную ясность и сделал из этой экономической теории такие важные политические выводы, что многие старые положения Маркса кажутся новыми. Самым важным является проведенное через все работы Ленина разграничение между концентрацией земли и капиталов на земле. В работе о «Капитализме и земледелии в Соед. Штатах Сев. Америки» это разграничение дается в виде ясной формулировки двух тенденций аграрного развития: 1) вытеснение крупными по капиталу хозяйствами мелких по капиталу, 2) вытеснение на определенных ступенях развития мелкими по площади земли интенсивными хозяйствами крупных по площади земли хозяйств. Первая тенденция бьет по ревизионистам, эсерам и прочим защитникам «трудового», т.-е. мелко-буржуазного хозяйства, вторая опровергает меньшевистское доктринерство: будто раздробление земельной площади есть всегда реакционный, с экономической точки зрения, шаг. Как из всякого широкого теоретического обобщения, из него следует ряд других выводов, выходящих даже за пределы аграрной теории, имеющих не меньшее значение и практическое приложение. Одним из таких выводов и является обоснование сотрудничества классов в революции.

6. Классы, классовая борьба и классовое сотрудничество. У Ленина можно найти и точное определение классов и отграничение этого понятия от понятия сословия и изложение процесса нарождения и развития классов. Но всего важнее у Ленина точная формулировка марксистских понятий, классовой борьбы и классового сотрудничества, в отличие от реформистских. В особенности важно и ново (хотя указания в этом смысле давались неоднократно и Марксом и Энгельсом) обоснование принципов сотрудничества классов — пролетариата и мелкой буржуазии — в революции и на почве борьбы за революционные цели.

Ко второй группе вопросов надо отнести все остальные проблемы, выдвинутые нашей эпохой и разработанные Лениным.

1. Проблема империализма, корни оппортунизма и вопросы эпохи социальной революции.

2. Национальная политика пролетариата, значение национальных движений, как звеньев эпохи социальной революции и союзников пролетарской революции.

3. Теория революции. Вопрос о буржуазно-демократической и социалистической революциях. Теория перерастания первой во вторую.

4. Пути и задачи русской революции. Первая революция, из буржуазно-демократической, переросшая в пролетарско-социалистическую. Сюда входит оценка отношения классовых сил в России, характеристика роли и значения классов в революции, гегемония пролетариата в буржуазно-демократической революции, превращение этой гегемонии в диктатуру пролетариата. Эти вопросы имеют большое значение для правильного понимания наших задач, но и несомненно значение их для ряда стран, особенно восточных.

5. Принципы международной политики Советской России, основывающиеся на бесспорном факте гегемонии России в революционном (пролетарском и национально-революционном) движении мира.

6. Принципы экономической политики, при особо трудных условиях строительства социализма в России. Сюда входят вопросы о «выращивании» социализма из капитализма, о плановом хозяйстве и рынке, об их взаимоотношении и пределах, принципы экономической политики в деревне, имеющей в виду обеспечение наилучших условий строительства социализма в деревне, только завершившей буржуазно-демократическую революцию. Как непродолжительна ни была деятельность Ленина, при условиях, созданных нэпом, он дал много обобщений и данных, которые могут быть именно формулированы в виде принципов.

7. Вопрос о главных задачах и об основном лозунге эпохи, наступившей после революционных боев 1920 года для Советского Союза и Коминтерна.

8. Стратегия революции. Революционная цель (ломка государственного аппарата) и средства борьбы. Соотношение между об'ективными причинами революции и суб'ективными условиями, необходимыми для завершения ее. Вопрос об определении революционной ситуации и выборе момента для решительного боя. Экономическая и политическая стачка и восстание. Уроки опыта русских революций 1905 и 1917 г.г. по вопросу о «восстании как искусстве». Восстание, революционная армия и революционное правительство. Значение советов в опыте русской революции, как органов восстания и зародышей революционнного правительства.

9. Организация революционной власти; теория диктатуры пролетариата и политика переходного периода.

10. Роль и значение партии до и после завоевания власти, принципы организации и формы борьбы (тактика).

11. Коммунист. Интернационал. Историческое место и задачи, принципы политики и организации. Современные задачи.

Если для удобства обозрения об'единить перечисленные в обеих группах 18 вопросов в подгруппы, наиболее сходные по содержанию, то получим пять следующих подгрупп:

в первой группе:

I подгруппа. Обще-теоретические (философские) вопросы.
II подгруппа. Экономические вопросы.

во второй группе:

III подгруппа. Движущие силы, пути и задачи мировой революции.
IV подгруппа. Пути и задачи русской революции.
V подгруппа. Учение о подготовке и организации революции и революционной власти.

Следовательно, первая группа — это вопросы философии и экономики, вторая — об'единяет проблемы науки пролетарской политики в эпоху упадка капитализма и борьбы за революцию и диктатуру пролетариата.

Это есть теория пролетарской революции в широком смысле этого слова (т.-е. не в смысле только непосредственного проведения революции в решительный момент).

С полной научной точностью и без малейшей доли преувеличения можно сказать, что ни в одном из этих вопросов Ленин не выступает в роли простого популяризатора марксизма. Во все проблемы первой группы (философию и экономику) Ленин внес много нового и ценного, по-своему обработанного, по-новому заостренного и раз'ясненного. Н о о с н о в н о е в э т и х в о п р о с а х в с е ж е д а н о М а р к с о м и Э н г е л ь с о м.

Что касается проблем второй группы (т.-е. науки политики), то тут сравнивать работу Ленина не с кем и не с чем. Здесь Ленину по многим вопросам приходилось буквально строить на пустом месте. Даже ценнейшее учение Маркса о государстве и диктатуре пришлось откалывать из груды вольных и невольных извращений, фальсификаций и сокрытий, которым оно подвергалось в течение 30 лет. Нечего уже говорить о тех проблемах, которые встали только перед пролетариатом впервые в XX веке. Искать у Плеханова их решения также нельзя: Плеханов был одним из наиболее талантливых представителей II Интернационала, а политические проблемы, решавшиеся Лениным, принадлежат эпохе III Интернационала.

Выяснивши принципы классификации и изложения теории Ленина, и тем самым определивши ее историческое значение и место, которое она занимает в истории марксизма, нужно в заключение еще остановиться на значении терминов: «большевизм» и «ленинизм». Тот, кто стал бы противопоставлять «большевизм» «ленинизму» по политическому содержанию этих учений и политическому смыслу этих слов, совершил бы ошибку или извращение и большевизма, и ленинизма. Но, тем не менее, эти термины, на мой взгляд, не являются синонимами. Большевизмом следует называть миросозерцание, теорию и политические принципы нашей партии. Ленинизм же — это

особенное и новое в трудах Ленина, что внес Ленин в общую сокровищницу марксизма и что естественно связано с его именем (Сталин, «О Ленине и ленинизме») [1]).

Иначе говоря, большевизм обнимает и материализм (вместе с выводами естествознания, на которых он покоится), и диалектику, и всю экономическую теорию Маркса, и то историческое учение о пролетарской революции, которое разработано Лениным. Ленинизм же есть только это последнее («Ленинизм, по определению тов. Сталина, есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика пролетарской диктатуры в особенности).

Точно так же, как неправильно было бы обозначать «марксизмом» учение Кант-Лапласа о системе мира и биологическую теорию дарвинизма только потому, что обе теории излагал и защищал Энгельс в «Анти-Дюринге», точно так же было бы неправильно обозначать ленинизмом те проблемы, которые, хотя и защищались Лениным, но в которых он не выступал самостоятельным творцом, — а все проблемы первой группы являются именно такими. Но они тем не менее образуют неразрывную составную часть и основу большевистской теории и большевистского мировоззрения.

---

[1]) Сталин, О Ленине и ленинизме, стр. 23, Гос. Изд. Ленинграда, 1924 г

Ритм жизни и творчество.

П. Ю. Шмидт.

Ритм, ритмическая повторяемость явлений охватывает весь окружающий нас мир, проникает во все области и составляет едва ли не наиболее распространенный и всеоб'емлющий закон естества. Куда ни направили бы мы свои взоры, всюду встречаем мы не безнадежный бесформенный хаос движений, а движения размеренные, ритмичные, часто принимающие характер правильных волн, быстро сменяющих одна другую.

Закон тяготения устанавливает основной ритм движений макрокосма. Извечно несутся сонмы небесных светил по предопределенным этим законом кривым, свершая предначертанный цикл в мировом пространстве. Чрез известный период времени каждое из них возвращается в свое исходное положение и вновь пускается в путь. Пути же их сложны, — скорее бесконечные спирали, чем замкнутые кривые, — каждое из них имеет в мировом пространстве по меньшей мере два движения, а то и более.

И так же ритмичен, как мы теперь знаем, и микрокосм атома. Эта мельчайшая, как недавно еще казалось, неделимая далее частица материи представляется нам теперь в виде сложной солнечной системы, где вокруг центрального положительно заряженного ядра несутся по предустановленным орбитам с невероятной быстротою отрицательные электроны — частицы электрической энергии, свершающие ритмически предустановленный путь. И не удивительно ли думать, что из мириадов этих ритмически вращающихся частиц слагаются и камни, и воздух, и безбрежное море, и наше тело, и наш мозг, порождающий мысль!

А энергия? Не состоит ли она сплошь из проявлений ритма, прилагаемых к разным субстанциям? Свет, не порождается ли он волнообразными колебаниями эфира, распространяющимися с быстротою 300.000 километров в секунду? Или не состоит ли он, по другому современному учению, по теории квант, из ритмических извержений частиц энергии? Тепло и звук, мы знаем это твердо, не что иное как ритмические колебания материальных частиц, распространяющиеся волнообразно в нашем мире материи. Наконец, и электричество, эта вездесущая энергия, которою об'ясняется теперь все существующее, не является ли и оно результатом ритмических процесов внутри атомов, выбрасывающих наружу свои электроны?

Итак, со всех сторон окружены мы то частым ритмом, выражающимся в миллионах колебаний в секунду, то ритмом величаво плавным, охватывающим своими размахами периоды в миллионы секунд, иногда—в миллионы лет...

Но не является ли жизнь нарушительницей ритма? Жизнь с ее хаосом движений, действий, чувствований, не вторгается ли властно в мировую гармонию ритмов, не подчиняет ли своей загадочной сущности материю и энергию мироздания? Или же и жизнь подчинена послушно взмахам палочки незримого дирижера — мирового ритма?

На взгляд живое существо несет энергию в себе самом и ею подчиняет себе и своим желаниям окружающую природу, как бы само отбивает такт, которому следует мертвая материя. Но так ли это? Не существует ли ритма жизни, подвластного ритмам материи и энергии?

Как ни странно, этот вопрос не вставал как будто до сих пор перед биологами во всей его философской широте, хотя давно уже физиологи знакомы с длинным рядом ритмических явлений в живом организме.

Нельзя не признать крупной заслуги в этом отношении за нашим талантливым молодым физиологом, Н. Я. Пэрна, который, к несчастью для русской науки, пал жертвою злого недуга в самом начале своей ученой карьеры. В его только что вышедшей посмертным изданием небольшой книжечке [1]) мы находим широко задуманную и талантливо осуществленную разработку вопроса о ритме жизни, не только телесной, но и духовной, в ее высшем проявлении — в творчестве. Думаем, что читатели не посетуют на нас за передачу в самых общих чертах, — поскольку позволяет небольшое имеющееся в нашем распоряжении место, — идей и выводов автора.

Предварительно выскажем несколько собственных мыслей о сущности и назначении ритма.

На низших ступенях жизни мы не встречаем ритмических явлений, — по крайней мере, не можем уловить их. У бактерий и амёб движения если и наблюдаются, то не имеют закономерной последовательности. Однако уже у более сложных одноклеточных организмов ритмические явления развиты широко и составляют едва ли не главную сущность их жизни. Так, у ресничных инфузорий все тело покрыто густым лесом ресничек, мерно ударяющих в такт и тем вызывающих движение животного. Каждая ресничка — вырост протоплазматического тела инфузории, содержащий внутри более плотную и эластичную ось. При ударе реснички протоплазма с одной ее стороны сжимается, укорачивается и сгибает внутренний упругий стержень. В следующий момент сила упругости берет свое и выпрямляет ресничку, как выпрямляется пригнутая к земле камышинка. Затем опять через некоторый короткий период времени процесс сокращения повторяется, и получается следующий удар реснички.

Периодичность и ритмическая размеренность явления получается здесь в результате борьбы двух сил, поочередно нарастающих и ослабевающих, — сокращения протоплазмы и эластичности стержня. Но каков смысл этого

---

[1]) Н. Я. Пэрна, Ритм, жизнь и творчество, изд. «Петроград», 1925.

явления? Прежде всего — сложение усилий во времени. Энергия, развиваемая каждым сокращением протоплазмы реснички, бесконечно мала и не могла бы иметь полезного эффекта. Сокращения, следующие быстро друг за другом, слагаются и дают уже нечто более ощутимое. Кроме того — и сложение усилий в пространстве. Реснички, покрывающие тело инфузории, исчисляются тысячами. Если бы каждая из них не действовала строго размеренным темпом, получались бы перебои, — действие одной уничтожалось бы деятельностью другой. Ритмические же удары их действуют совершенно так, как дружные взмахи весел катера при хорошо обученной команде.

Итак, сложение, интеграция бесконечно малых усилий, — вот основная цель и главный смысл ритма, вот что делает его целесообразным приспособлением. И эта целесообразность об'ясняет нам, почему с развитием и усовершенствованием организации ритмические явления все шире и шире развиваются и становятся основным лейтмотивом всей жизнедеятельности организма.

Наиболее сложный, представляющий собою наивысшее достижение жизни, организм человека, которому посвящена книга Н. Я. Пэрна, весь пронизан бесчисленными ритмами всевозможных жизненных процессов, ритмами весьма различной периодичности. Иногда они мало заметны, вследствие слишком большой быстроты своих колебаний, иногда же, наоборот, — из-за медленности и замаскированности другими не ритмическими процессами. Лишь немногие из них — как биение сердца и пульсацию сосудов — мы улавливаем непосредственным самонаблюдением.

Среди ритмов телесной жизни человека мы различаем прежде всего тканевые ритмы. Из них наиболее важны ритмы мышечной и нервной ткани. Мышечное волокно, этот первоисточник всякого движения в организме человека, — при своем сокращении внешне не обнаруживает ритма. Сокращение его представляется нашему глазу непрерывным и единым явлением. Однако исследование внутренних, протекающих в мышечном волокне при сокращении, процессов показывает, что сокращение слагается из ряда ритмических процессов.

Новейшими приборами, особенно струнным гальванометром, можно точно зарегистрировать электрические процессы, протекающие внутри мышечного волокна, и на получающихся кривых ясно обнаруживается ритмическое нарастание и убывание электрического тока в мышце при ее сокращении. Аппарат вырисовывает ряд равномерных волн, доказывающих, что процесс этот состоит из волнообразных, ритмических колебаний.

При том физиологам, посвятившим много труда исследованию мышечных сокращений, удалось констатировать несколько ритмов различной частоты. Частота естественного мышечного длительного сокращения в лягушечьей мышце — 100 колебаний в секунду, в человеческой мышце — 50 раз в секунду. Кроме того, наблюдается ритм и более медленный — около 10 раз в секунду. Ритм сокращения так называемых гладких мышечных волокон, приводящих в действие кишечник, мочеточники и другие внутренние органы, является гораздо более медленным. Так, кишечник обнаруживает перисталь-

тические сжатия через 5—6 секунд и еще более медленные колебания внутреннего напряжения мышц, так называемые колебания тонуса, через 30—40 секунд.

Близок к мышечному ритму и непосредственно связан с ним ритм процессов, протекающих в нервной клетке и в нервном волокне. Он обнаруживается также электрическими явлениями и по частоте совпадает с мышечным, так что является даже вопрос, не в нем ли следует искать и первоисточник мышечных сокращений.

Подобно тому как из тканей слагаются органы, так из тканевых ритмов слагаются ритмы органов. Ритм сокращений сердца имеет своей причиной ритм мышц и нервов его. Точно так же — и сокращение сосудов, играющее не малую роль в кровеобращении, и ритмическая деятельность дыхательной системы.

В деятельности пищеварительной системы, кроме указанных ритмов гладких мышц, наблюдается и ритмическая деятельность пищеварительных желез — печени и поджелудочной железы. Кроме того, при отсутствии в кишечнике пищи, наблюдается своеобразный, очень медленный ритм деятельности всей пищеварительной системы. Именно, через полтора-два часа начинается совместная деятельность всех органов: сокращаются стенки желудка, выделяется желчь и поджелудочный сок и сок кишечных желез. Такая совместная работа длится 15—20 минут, затем прекращается, чтобы через установленный срок начаться снова.

Обнаруживается ритм и во многих процессах деятельности нервной системы, но ритмичность их пока еще мало подвергалась исследованию. Некоторые нервные явления, впрочем, хорошо всем известны, как периодические и ритмичные. Таковы ритмические колебания болевых ощущений, например, при зубной боли и при ревматизме, периодические родовые схватки и протекающие нередко с длительными периодами приступы мигрени.

Уже этот краткий обзор ритмов тканей и органов человеческого организма показывает, что вся его жизнедеятельность сплетена из бесчисленных разнообразнейших ритмов, налагающихся друг на друга. Но, кроме того, обнаруживаются и биологические ритмы с более длительною периодичностью, с суточными или месячными колебаниями.

К суточным колебаниям жизни относится прежде всего смена сна и бодрствования. Существует мнение, что периодическое наступление сна есть приспособление к условиям среды — к наступлению ночного времени, неблагоприятного для жизни, — или же, что сон есть следствие усталости организма. Н. Я. Пэрна отвергает эти оба взгляда и рассматривает сон и бодрствование, как две равноценные фазы жизни, проявляющиеся не только в нервной системе, но и во всем организме, как целом. Мы не можем здесь подробно останавливаться на его доводах и отсылаем интересующихся как к цитированной выше книге, так и к, еще более подробно трактующей этот вопрос, изданной им при жизни [1]).

[1]) Н. Я. Пэрна, Сон и его значение, изд. «Полярная Звезда», 1923.

Ритмичность сна и бодрствования во всяком случае не может подлежать сомнению и для каждого очевидна. В состоянии как сна, так и бодрствования обнаруживается и некоторое волнообразное нарастание и падение. Так, глубина сна неодинакова в разные часы, — она наибольшая через 1 — 2 часа после засыпания, затем круто убывает, и через 5 — 6 часов после засыпания сон становится наиболее чутким, а затем опять вторично начинается углубление его, но гораздо меньшее, чем первое.

Точно так же и во время бодрствования острота внимания и способность к отчетливой деятельности неодинаковы. Издавна известно, что внимание наиболее обострено в утренние, предобеденные часы. После полудня оно недостаточно остро, сознание немного туманно, позыв к деятельности не так отчетлив. Педагоги также замечают, что внимание учеников наиболее резко в утренние часы и падает после полудня, особенно после 4-го урока.

Другое явление жизни с суточным ритмом — колебание температуры тела. Температура достигает максимума около 6 часов вечера, после чего начинает понижаться и имеет минимум около 4-х часов утра, когда начинается новое повышение. Размах колебания между максимумом и минимумом составляет около 1°Ц. Некоторое незначительное влияние на температуру тела имеет дневная работа, вызывающая небольшое повышение, и момент засыпания, когда наблюдается резкий скачок вниз, но общий суточный ход температуры не зависит ни от сна, ни от бодрствования.

Существуют наблюдения и относительно некоторых других суточных колебаний, например — над изменением частоты пульса, изменением состава мочи и пр. Имеется, повидимому, некоторый суточный ход и психологических процессов, как можно судить по тому, что наблюдаются суточные колебания скорости забывания. При исследовании скорости забывания какого-нибудь заученного отрывка или стихотворения или просто бессмысленного сочетания слогов можно заметить, что в первые часы забываемость идет очень быстро, затем все медленнее, но далее, приблизительно через сутки, опять замечается некоторое освежение в памяти, так что через 24 часа после заучивания вспоминается лучше, чем через 12 часов. Ясно, что процессы, которые лежат в основе памяти, протекают с колебаниями, имеющими примерно суточный ход.

Кроме суточного ритма, в жизни человеческого организма наблюдается явление и с ритмом еще более медленным — м е с я ч н ы м.

Наиболее известны в этом отношении изменения женского организма, выражающиеся в месячных очищениях. По новейшим взглядам, причина их лежит не в местных изменениях полового аппарата, а в правильных, периодических изменениях всего тела — в изменениях пульса, дыхания, температуры тела, кровяного давления, обмена веществ, совершающихся соответственно «менструальной волне». Все органы принимают в этих изменениях участие, и изменения в половом аппарате являются лишь частным случаем общих колебаний с ритмом в 28 дней.

По исследованиям Н. Я. П э р н а, нечто подобное наблюдается и у мужчин. Главный источник, послуживший для его выводов — его собственный

дневник, представляющий собою человеческий документ, вообще совершенно исключительный, в смысле проведенного с поражающей выдержкой научного самонаблюдения. В течение 18 лет, изо-дня в день, без единого пропуска, почти машинально, отмечались им особыми значками и обозначениями все интимнейшие явления внутренней жизни, переживания и настроения. Особенно отмечались все изменения в эмоциональной, главным образом сексуальной сфере, и изменения в сфере интеллектуальной. Наблюдения эти велись первоначально безо всякого преднамеренного плана и даже без идеи о какой-нибудь возможной закономерности, и только через 18 лет были обработаны статистическим методом. Они являются, таким образом, в достаточной мере об'ективными.

Исследуя по своим записям периодичность повышения сексуальной восприимчивости, сопровождавшейся или не сопровождавшейся тем или иным физиологическим эффектом, Н. Я. Пэрна установил, что наиболее часто такая восприимчивость наблюдается через промежуток в 7, в 14, в 21 и в 28 дней (а также в 30 дней). Данные за 18 лет, нанесенные в виде кривой, выразились рядом резких под'емов в эти сроки. Детальное исследование таких кривых еще более делает ясным, что существует некоторая недельная периодичность, зависящая не от внешних, а от каких-то внутренних, автономных причин. И если эта периодичность у мужчины не всегда так резко заметна, как в жизни женщины, то это зависит от затемнения ее внешними причинами и от того обстоятельства, что нередко в данном организме одновременно протекают несколько несовпадающих друг с другом периодических процессов того же характера, налагающихся друг на друга и затемняющих картину.

Не менее интересны результаты исследований и второй группы фактов, зарегистрированных в том же дневнике, — колебаний в интеллектуальной сфере. В нем отмечались те дни, когда внезапно появлялась та или иная идея, или когда тот или иной вопрос вдруг становился ясным, или вообще констатировалась повышенная наклонность к обдумыванию, к созерцанию или к сочинительству. Точно так же, как и в первом случае, определялись промежутки между такими днями с записями, отмечающими это повышение интеллектуальной деятельности, и подсчитывалась частота этих промежутков. И опять соответствующие цифры подсчета и построенные кривые показали резкий под'ем интеллектуальной деятельности через 7, 14, 21 и 28 дней.

Те же результаты получились при исследовании дневника за несколько лет, принадлежавшего другому лицу, которое заносило также все свои мысли, приходившие в голову. В этом случае удалось даже констатировать, что часто мысли на одну какую-нибудь тему или по определенному вопросу приходят в голову через недельные промежутки. Такое «выплывание мыслей», занимавших внимание ранее, но затем оставленных, — явление, известное каждому интеллектуальному деятелю, писателю и художнику. Наблюдения Н. Я. Пэрна проливают новый свет на это явление из области подсознательного. Они показывают, что такое «выплывание мыслей» подчинено некоторой закономерности. Эта закономерность может быть сведена к тому, что само мы-

шление есть волнообразный процесс. Гребни волн время от времени вдаются в поле нашего сознания и улавливаются нами, как «мысли».

Но, если недельный ритм (и соответственно — 14, 21 и 28 дневный) наблюдается в половой сфере и в совершенно от нее не зависимой — сфере высшей психической деятельности, если тот же ритм может быть констатирован и в некоторых болезненных процессах, зависящих от расстройства всего организма (к таким болезням относится маниакально-депрессивное помешательство, невралгии, эпилепсия, мигрень, периодические параличи и различные проявления неврастении), то не следует ли признать, что причины его лежат в общей жизни всего тела? Все тело, как совокупность, как синтез, как интеграл всех органов и тканей, как некая самодовлеющая единица, обнаруживает ритмичную периодичность в своей жизни, проявляющуюся в самых различных сферах его деятельности.

Биологический ритм суточный и месячный соответствует периодам обращения Земли вокруг своей оси и Луны вокруг Земли, — не стоит ли он в связи с этими космическими явлениями, как это часто и принимается по отношению к периодичности месячных очищений? Некоторое влияние космических причин нельзя здесь отрицать, но все же главное значение имеет самостоятельная тенденция организма к волнообразному течению. Сами жизненные процессы, протекая ритмически, образуют волны, которые, слагаясь и интерферируя, порождают колебания более крупного масштаба — длительные циклы.

Но если это так, то не наблюдается ли и дальнейшее сложение волн, образование еще более крупных колебаний, колебаний с бо́льшим размахом, более длительных циклов?

Н. Я. Пэрна приводит це́лый ряд доказательств тому, что так оно и есть на самом деле. Жизнь человека сама есть некоторый волнообразный процесс. В ней можно уловить волны с периодом в 6 — 7 лет, и с каждой такой волной человек как бы переходит в новую фазу жизни, с каждой волной он как бы заканчивает один цикл и вступает в другой.

Наблюдения его касаются прежде всего собственного подробного дневника, который велся им в течение 18 лет, при чем в нем записывались все мысли и внутренние переживания. Исследовав записи прежде всего с точки зрения частоты и об'ема их, он заметил, что в некоторые годы записи были обильны и занимали большое число страниц, в другие — малочисленны и коротки. Когда были составлены кривые частоты записей, числа написанных страниц и количества «новых» мыслей, встречавшихся в записях, то обнаружилось, что все эти три кривые согласно показывают повышение в определенные годы, а именно в годы, соответствовавшие возрасту в 19 лет, 26 лет и в 32 года. Промежутки соответствовали примерно 6¼ года. При том в годы под'ема кривых в записях преобладали ноты бодрости, самоуверенности, и вообще замечалась яркость душевной жизни, тогда как в промежуточные годы высказывалась неуверенность в своих силах и равнодушие.

Обращаясь к исследованию более раннего периода жизни, до начала дневника, он констатировал, что 7-ой и 13-ый год жизни также отличались

некоторым повышением интеллектуальной деятельности. Так, к 7-му году жизни относилось наибольшее число сохранившихся в памяти воспоминаний, на 13-м же году наблюдалось увлечение коллекционированием и рисованием, и к этому же году было приурочено первое сексуальное переживание.

Конечно, результаты, полученные над одним лицом, — к тому же путем самонаблюдения, об'ективность коего всегда может быть заподозрена, — не имели бы большой цены, если бы не находили себе подтверждения в других более об'ективных данных.

К таким данным относятся, прежде всего, наблюдения над детьми, производившиеся многими исследователями детского возраста с самых различных точек зрения. Так, исследования над ростом и весом детей показывают, что наблюдается период особенно усиленного, скачкообразного развития их между 7 — 9 и между 13 — 17 годами. Затем измерения различных психических способностей детей, например, тонкости мышечного чувства, времени психических реакций, внушаемости, а также исследование рисунков детей и детских игр, указывают довольно согласно на существование двух узловых точек — в 6 — 7 и в 12 — 13 лет, когда наблюдается или некоторая задержка, или некоторый перелом и как бы переход к новому циклу. Еще больший перелом составляют период достижения половой зрелости, относящейся к 18 — 19 годам, — к этому времени складывается уже окончательно взрослый человек.

В настоящее время, с развитием учения о внутренней секреции и о гормонах, можно связать эти узловые точки в развитии детского организма с некоторыми стадиями развития желез внутренней секреции. На развитие вообще имеют большое влияние железы полового аппарата, собственное развитие которых сдерживается другими железами. В первые годы жизни половым железам противодействует шишковидная железа (эпифиз), которая, как раз к 7 годам, атрофируется. С прекращением ее тормозящего действия первый цикл развития закончен, и человек мог бы начать функционировать в половом отношении. К этому времени относится иногда и первое пробуждение полового инстинкта.

Однако шишковидную железу тотчас же сменяет зобная железа, точно так же задерживающая развитие половых желез. Она развивается до 12 — 13 лет и затем подпадает атрофии. Половые железы опять оказываются свободными и могли бы действовать. И, действительно, в этот период опять наблюдается иногда пробуждение сексуального чувства. Существует, повидимому, все же какой-то третий тормозящий аппарат, задерживающий развитие половых желез и пока еще не открытый. Половой инстинкт остается в скрытом состоянии, иногда выражаясь в беспокойстве, нервности характера, в неясных стремлениях и немотивированных поступках. Это так называемый «переходный возраст», когда мальчики бывают особенно несносны. Лишь к 18 годам заканчивается этот третий цикл, созревает окончательно освободившийся от тормозящего влияния половой аппарат, и вполне пробуждается половой инстинкт.

Таким образом данные о существовании в детском возрасте трех узловых точек, совпадающие с приведенными выше самонаблюдениями, находят себе и некоторое физиологическое об'яснение.

Но каким же способом возможно проверить существование и дальнейшей волнообразности жизни? Ясно, что для этого наилучшим материалом могут служить биографии великих людей, выделившихся на интеллектуальном поприще. Их жизнь является и наилучше исследованной многочисленными биографами, и отмечена как бы вещественными доказательствами их интеллектуальной деятельности — продуктами их творчества.

Около половины книги Н. Я. Пэрна посвящено рассмотрению биографий выдающихся людей с этой точки зрения. Он берет биографии 20 крупных деятелей из различных областей творчества: Бетховена, Рихарда Вагнера, Моцарта, Глинки, Шуберта, Шумана, Пушкина, Гёте, Шиллера, Байрона, Гейне, Гоголя, Канта, Спинозы, Рембрандта, Гельмгольца, Р. Майера, Жерара, Дэви и Либиха.

Подвергая биографии этих деятелей исследованию статистическим методом, — именно, нанося на графике их произведения в виде столбиков на горизонтальной прямой, разделенной соответственно годам жизни, можно обнаружить, что порыв к творчеству проявляется не всегда с одинаковой силой, — есть годы особенно плодотворные и годы ослабления. Затем оказывается, что эти под'емы творчества наступают через определенные, почти правильные промежутки времени, в большинстве случаев довольно хорошо совпадающие с теми «узловыми точками», которые наметились путем исследования дневников. Кроме того, обнаруживается, что каждая «узловая точка» не только соответствует повышению интеллектуальной жизни, но и является некоторым поворотным пунктом, переходом к новому характеру творчества, выдвиганием новых задач, новых людей в творчестве.

Мы не имеем возможности здесь рассмотреть все или хотя бы большинство приводимых биографий и отсылаем интересующихся к подлиннику, но для того, чтобы показать, насколько точно совпадают под'емы творческой мысли с этими «узловыми точками», рассмотрим, для примера, вкратце биографии Бетховена, Гёте и Пушкина.

Бетховен родился в 1770 году и уже в 1782 году написал первые три фортепьянные сонатины. Это первое пробуждение творчества на 12 году соответствует «второму узлу» жизни. Затем последовал ряд лет, когда талант его постепенно развивался, но сочинения его, в общем, не представляли ничего особенного. Период 18 — 19 лет — «третий узел» жизни — также ничем особенным не ознаменовался, и лишь в конце 1794 года началось пробуждение гения. К этому периоду, падающему на 25 — 26 год жизни, относятся его первые трио, первые фортепианные сонаты, романс «Аделаида» и несколько позднее соната «Патетик» и целый ряд других первоклассных произведений, отличающихся глубиною мысли и новизною настроений. Этот период может считаться волною философского углубления музыки и совпадает с «четвертым узлом» жизни.

Последующие годы до начала 1802 г. хотя и были богаты сочинениями, но в них не было в полной мере того истинно бетховенского блеска, который так ярко сказывается в предыдущем периоде. Период 1802 — 1804 г. г., когда Бетховену было около 32 лет, соответствует «пятому узлу» жизни и ознаменовался новым расцветом его таланта. К нему относится его третья симфония, фортепианные сонаты Cis-moll (ор. 27), D-moll (ор. 31) и скрипичная A-dur.

После 1804 года наблюдается опять некоторое ослабление силы творчества великого композитора, но с 1806 года наступает новое пробуждение его гения, достигающего своего апогея в 1808 году. К этому периоду относятся лучшие произведения Бетховена — 5 и 6-ая симфонии, музыка к «Эгмонту», квартет ор. 95 и др. Притом этот период отличается совершенно особым колоритом: в произведениях его, среди глубочайшей сосредоточенности мысли, звучит что-то властное и могучее, какая-то железная упругость и мощность тем, отличающихся широким обхватом и всечеловечностью своих идей.

С 1812 года гигантский порыв творчества начинает утихать, и лишь в 1814 году наступает новый под'ем — «седьмой узел» жизни, соответствующий 44 году жизни. Творения этого периода носят отпечаток самоуглубления и грусти и резко отличаются от произведений последующего периода, относящегося к 1819 — 1821 г.г., когда творения Бетховена — «Торжественная месса» и три лучшие его сонаты (ор. 109, 110 и 111) — полны созерцательно мистического настроения.

Перед смертью (1827 г.) Бетховен был полон новых идей и иных настроений и, может быть, если бы он не умер, мы увидели бы новый под'ем творчества, соответствующий новому узлу жизни.

Мы видим, как вся творческая деятельность великого гения разбивается на ряд отдельных периодов под'ема и периодов относительно спокойного развития или даже остановки и между ними почти правильные промежутки в 6 — 7 лет. Творчество не развивается равномерно и непрерывно, а представляет собою как бы ряд волн, набегающих и спадающих одна за другою.

Такую же картину представляет собою творчество величайшего германского поэта Вольфганга Гёте. Он родился в 1749 году, и на 11 — 12 году жизни, соответственно «второму узлу», наблюдается первое пробуждение его артистического таланта, — он увлекается живописью, театром и пробует свои силы в лирике. Но более ясно его поэтический дух проявился только в Лейпциге, во времена студенчества, когда ему было 17 — 19 лет. Этот период его жизни можно считать проявлением «третьего узла». После этого наступает некоторый перерыв и лишь с конца 1771 года начинает формироваться творческая волна, разросшаяся скоро в бурный порыв — «период бури и натиска», соответствовавший «четвертому узлу»—от 23 до 26-летнего возраста. «Гёц фон-Берлихинген», «Вертер», «Клавиго», начало «Фауста», «Эгмонта» и «Тассо» — относятся к этому времени.

Затем наступает некоторый перерыв и только в 1779 году вновь пробуждается творчество, при чем происходит и перелом во внутреннем духовном

облике поэта: он переходит к исканию более совершенных и строгих форм. К этому периоду, падающему на возраст 30 — 33 лет, относится создание «Ифигении», окончание «Тассо» и «Эгмонта», создание лучших баллад.

Далее следует опять перерыв с 1783 по 1785 год, когда творчество Гёте было мало продуктивно. Начиная с 1785 года, снова поднимается волна, и вместе с тем творчество поэта опять меняет характер, — оно отличается теперь строгой классичностью и величавостью. «Вильгельм Мейстер», переработка «Ифигении», «Тассо» и «Эгмонта», «Римские элегии» относятся к этому времени.

После этого снова перерыв с 1789 по 1792 год, заполненный мелкими и мало удачными произведениями и характеризовавшийся подавленным душевным настроением. В 1793 году начинается новое оживление, соответствующее новой волне, относящейся к возрасту 44—48 лет — к «седьмому узлу» жизни. «Рейнеке Лис» и «Герман и Доротея» характеризуют этот период, отличающийся стремлением к реальным, простым, жизненным образам в особом полусимволическом освещении.

После 1797 года наступает перерыв, и далее нельзя уже проследить таких правильных под'емов и опусканий волн творчества Гёте чрез столь правильные промежутки. Волнообразность здесь также заметна при внимательном рассмотрении, но волны короче, как бы сближаются и заходят одна на другую. Возможно, что в данном случае происходит такое же комбинирование двух волновых течений разной частоты, какое наблюдается иногда и при изучении биологических ритмов.

Сходные «узлы жизни» можно подметить и в истории развития творчества Пушкина. Он родился в 1799 году, и первая вспышка его творчества относится уже к 1810 году, т.-е. к 11-му году его жизни, что соответствует «второму узлу»... Первые крупные его произведения относятся, однако. к 1817 — 1820 г.г. («Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Братья-разбойники»), — это «третий узел» (18 — 21 год), характеризующийся романтизмом с его жгучими красками и сильными страстями.

После некоторого перерыва, с конца 1823 года, начинается опять под'ем с поворотом к изображению простой, искренней жизни. В течение 1823 — 1826 г.г. Пушкин пишет «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова». Затем следует «Граф Нулин», «Полтава», «Арап Петра Великого». Нетрудно видеть здесь новую волну творчества, соответствующую «четвертому узлу» жизни — 25 — 26 годам. Затем следует некоторый перерыв в деятельность, и только в 1830 году Пушкин, по словам одного из биографов, «почувствовал новый порыв к творчеству». Он оканчивает «Евгения Онегина» и пишет «Домик в Коломне» «Моцарта и Сальери», «Скупого рыцаря» и целый ряд своих очаровательных «сказок». К этому же периоду серьезного и проникнутого истинно народным духом творчества относятся и несколько позднее написанные (1832 — 1833) «Медный Всадник», «Русалка», «Капитанская дочка», «Повести Белкина».

После этого под'ема наступает опять перерыв в творчестве поэта, длившийся до самой его смерти (1837), которая застигла его, быть может, перед

самым началом новой волны творчества, — согласно с наблюдаемым у других великих людей, ее можно было ожидать в возрасте 37 — 38 лет.

Длинный ряд других разобранных Н. Я. Пэрна биографий великих музыкантов, художников, писателей, философов и ученых подтверждает ступенчатое, волнообразное течение творческой жизни и существование особых «узловых точек», совпадающих обыкновенно с годами жизни: 6 — 7 лет, 12 — 13 лет, 18 — 19 лет, 25 — 26 лет, 31 — 32 лет, 37 —38 лет, 43 — 44 лет, 50 — 51 лет и т. д. Эти узловые точки характеризуются: 1) прояснением и усилением духовной жизни и творчества, 2) некоторым качественным изменением характера творчества и 3) особою чувствительностью организма. Последняя выражается в периодичности многих душевных заболеваний, совпадающей с теми же узловыми точками жизни, как показывает целый ряд наблюдений психиатров.

Каждый период жизни между двумя узловыми точками соответствует до известной степени той или другой из рассмотренных выше волн биологического ритма, и основою его являются, надо думать, изменения, связанные с ритмическою деятельностью желез внутренней секреции, а может быть, и других органов тела.

В жизни человека, особенно в его духовной деятельности, мы видим, следовательно, сложный синтез всех процессов в организме, особый «процесс жизни», сам по себе составляющий нечто целое и, как таковое, протекающий периодично, с соблюдением особого ритма.

Грандиозная картина ритмов, слагающихся в ритм жизни, раскрывается перед нами. Из мельчайших ритмов в доли секунды слагается ритм тканей тела. Более длительны периоды и более сложны ритмы органов. Еще более длительные волны видим мы в биологических периодах, например, в половой жизни. И, наконец, высший синтез, поток жизни, в который входит вся совокупность всех процессов, слившихся воедино, требует наиболее длительных волн, измеряемых годами.

Невольно рождается мысль: находится ли здесь предел, не идет ли синтез и далее? Не слагаются ли волны жизней отдельных личностей в еще более могущественные колебания, в приливы и отливы исторических волн? Одним словом, — не существует ли и исторического ритма?

Автор рассматриваемого нами произведения отвечает на этот вопрос утвердительно. Он видит и в истории человечества ритмические колебания, волны под'ема и падения народного духа с периодами приблизительно в 600 лет. Однако эта часть его сочинения является наименее развитой и наиболее спорной, — она лишь намечена и требует дальнейшей разработки. Но возможность такой периодичности, конечно, не исключена, — напротив, на наш взгляд вполне вероятна, — разумеется, чем сложнее синтез, тем труднее уловим ритм, тем более он затмевается побочными обстоятельствами!

Мы видим, сложна, чрезвычайно сложна жизнь, но во всех своих проявлениях она подчинена единому и всеоб'емлющему закону ритма!..

ЗА РУБЕЖОМ

Франция и Америка.

М. Танин.

Изучение наметившейся новой стадии американско-французских отношений представляет особый интерес по двум причинам: во-первых, она выявляет ход наступления стремящегося к мировой гегемонии американского империализма на одном из наиболее важных участков мирового фронта; во-~~первых~~ вторых, она развертывает картину падения французского империализма после того, как он достиг кульминационной точки в начале 1924 года, когда Пуанкаре еще надеялся на удержание командных высот в Руре. Оба эти, тесно связанные между собой, фактора имеют огромнейшее международное значение и близко задевают интересы нашего Советского Союза, и их внимательнейшее рассмотрение весьма своевременно.

* * *

Когда американский империализм после некоторого периода колебания решил разбить своего германского конкурента и стал на сторону Антанты, продажная американская печать и весь «идеологический» аппарат американского капитала стали воспевать «прекрасную Францию», Францию Лафайэта, борца за американскую независимость, Францию — «традиционного верного друга Америки». Правда, напоминание об этих «традициях» поневоле должно было освежить память и о других традициях — о старой борьбе с Англией, ставшей союзницей Америки и Франции против «германских варваров». Но все же усиленное подогревание исторической дружбы с Францией было необходимо для борьбы со сторонниками нейтралитета и с германской пропагандой американских немцев и известного газетного треста «Херста», — и французская кампания развернулась в таком грандиозном, чисто американском масштабе, что вскоре околпаченный американский обыватель стал видеть Францию, окруженною ореолом лучезарной демократии, идеализма и проч. и проч.

Так было дело в начале мировой войны. Теперь же, в связи с американско-французским спором о долгах, в сообщениях из Нью-Йорка мы находим такую характеристику американских настроений по отношению к Франции:

«Поэтическая симпатия к Франции, которая захватила Америку во время войны, испарилась вместе с другими прекраснейшими идеалами того

времени...» («Манчестер Гардиэн Викли» 12/XII 1924 г.). А редактор «Вашингтон Пост», бывший американский посол в Лондоне, ныне весьма влиятельный американский политик, напоминает Франции, что если она не заплатит своего долга, «старые раны общей борьбы ничего не будут говорить американскому сердцу».

В чем же кроются причины этой перемены? Ее нельзя об'яснить исключительно спором о долгах; нужно искать причин глубже. Мемуары бывшего статс-секретаря при Вильсоне — Лансинга («The Peace Hegotiations». «Мирные переговоры»), равно как и мемуары Бекера, шефа бюро печати при Вильсоне на мирной конференции, свидетельствуют, что новый американско-французский антагонизм наметился уже во время этих переговоров. И это вполне естественно. Тогда уже обнаружилось, что победоносный французский империализм намерен занять место разбитого германского. Это вовсе не входило в расчеты Америки, и Вильсон пытался умерить французские аппетиты. Но вся его роль на конференции с точки зрения американского империализма была весьма жалкая: несмотря на огромную роль Америки в последний период войны, он не смог обеспечить ей «заслуженной» доли при дележе добычи и в конце концов в основных вопросах уступал французской дипломатии, которая, очень удачно спекулируя на idée fixe Вильсона — Лиге Наций, вырывала у него одну уступку за другой. В этих уступках Вильсон зашел так далеко, что в день подписания Версальского договора (28 июня 1919 года) он также подписал гарантийный договор, по существу — обязанность охранять французские завоевания на случай реванша со стороны Германии.

Но американский сенат вместе с Версальским договором отверг и гарантийный договор (19 ноября 1919 г.). Это был первый серьезный удар по американско-французской дружбе. Им поспешила воспользоваться английская дипломатия, чтобы и со своей стороны отказаться от гарантийного договора с Францией. В дальнейшем отношения между Соед. Штатами и Францией все ухудшаются. В 1921 году на Америку обрушивается жестокий экономический кризис. Сумма экспорта в 1921/22 фискальном году резко падает до 3,8 миллиардов долларов против 6,5 миллиардов долларов годом раньше. Американский капитал, в то время еще не освободившийся окончательно от об'ективно-изжитых традиций «блестящей изоляции» начинает убеждаться, что одной из важнейших причин кризиса является падение покупательной способности Европы, а оно в свою очередь в значительной степени обусловлено дезорганизаторской брутальной политикой французского империализма. Отсюда дальнейшее ухудшение американско-французских отношений.

Это особенно рельефно проявилось во время Вашингтонской конференции по сокращению вооружений (12 ноября 1921 г. — 6 февраля 1922 г.), когда Франция резко выступила против американско-английских предложений о способах так называемого «разоружения». Франция, главным образом, настаивала на полной свободе в области усиления своего подводного флота, направленного против Англии. Но Америка, за значительные уступки со стороны Англии, поддерживала протесты последней против французских

планов, тем более, что она (Америка) сама была заинтересована в том, чтобы осадить чересчур зарвавшуюся Францию. В результате создалось такое положение, что французские дипломаты в Вашингтоне стали поддерживать японскую делегацию против наметившегося в то время американско-английского блока. А это, естественно, еще более обостряло анти-французские настроения в Соед. Штатах.

Вопрос о долгах стал более актуальным. В печати все чаще стали раздаваться голоса протеста против неисправного должника, который, уклоняясь от уплаты долга, все же находит средства на усиленное вооружение и смеет стать поперек дороги кредитору — Америке. 7 февраля 1922 г. американские законодательные органы проводят закон о создании особой комиссии для консолидации иностранных долгов. Этим Франции (а также и Англии) дается понять, что Америка не намерена отказаться от взыскания своих долгов.

Немного позже американский капитал в лице Моргана на конференции банкиров в Париже (23 мая — 10 июня 1922 г.) заявляет Франции, что «в Соед. Штатах и Великобритании капиталисты не обнаруживают тяготения к предоставлению Германии займа, который рассчитан на разрешение репарационной проблемы» (из резолюции конференции). В то же время печать сообщала, что Морган согласился бы участвовать в займе, но только под условием, что Франция даст обязательство не захватывать германской территории и не подрывать таким образом платежеспособности Германии. В том же духе высказывается Юз в своей речи в Нью-Гейвене 29 декабря 1922 года, посвященной лондонской конференции. Он высказывается за передачу вопроса о репарациях международной экспертной комиссии и против удушения Германии.

Но все эти выступления со стороны Америки не были сделаны в достаточно решительной форме. Американская дипломатия все еще была вынуждена платить дань традициям политики «блестящей изоляции», чтобы сторонники последней не обвиняли государственный департамент в вовлечении Соед. Штатов в «грязные дела» Старого Света. (Кто жил в Америке, знает, что такое тупоумное презрительное отношение к Европе еще довольно сильно в американском обывателе и отражается такими мелко-буржуазными политиками, как сенатор Джонсон и др.)

Колебания Америки ободряли французских империалистов. 11 января 1923 года Франция вторгается в Рур. Германия взывает к помощи Америки. Официальная Америка остается пассивной. Но в дальнейшем настроение против оккупации Рура и французского нажима на Германию все усиливается. Это настроение питается следующими экономическими причинами: 1923 год проходит в Соед. Штатах под знаком обострения кризиса сбыта сельского хозяйства (при значительном промышленном под'еме). Стоимость урожая этого года составляла 8,3 миллиарда долларов против 7,4 миллиарда долларов в 1922 году и 5,6 миллиардов долларов в 1921 г. Между тем сбыть излишки сельско-хозяйственной продукции было настолько трудно, что число банкротств фермеров стало быстро расти, достигнув цифры в 15% из общего

числа всех банкротств против 4% до войны. Кризис привел к тому, что в 15 земледельческих штатах 8½% всех фермеров-собственников лишились своих насиженных ферм вследствие банкротства. Кроме того 15% тоже прекратили платежи по своей задолженности, но вследствие уступок со стороны кредиторов остались на местах. Тяга фермеров в город приняла угрожающие размеры. Начался испугавший буржуазию быстрый процесс радикализации фермеров. Президент Кулидж в своей речи (в феврале 1924 года) предупреждает, что «недовольство фермеров может вылиться в революционные формы». И правительство вынуждено все больше обращать свои взоры в сторону Европы, как рынка сбыта для американской сельско-хозяйственной продукции.

В ту же сторону толкали американскую дипломатию и заботы о необходимости обеспечить сбыт продуктов все расширяющейся промышленности, тем более, что к середине 1923 года (так же, как и к середине 1924 г.) произошли серьезные заминки в процессе производства, которые многим казались предвестниками надвигающегося кризиса.

Довольно значительным рынком сбыта для американской продукции является Германия. Американский экспорт в Германии за последние годы составлял:

1922 г.	350,5 миллионов долларов.
1923 „	293,1
1924 „	378,3

При чем этот экспорт значительно превышал германский импорт (последний выражается в следующих цифрах: 1922 — 95,6 миллионов долларов; 1923 — 142,9 милл. долларов; 1924 — 146,8 милл. долларов). Прибавим к тому же, что после войны, еще до плана Дауэса немало американских капиталов было вложено в германские предприятия. Все это усиливало заинтересованность американского капитала в судьбах Германии.

Но германский рынок лишь органическая часть европейского. А последний играет крупную роль в американской внешней торговле. Американский экспорт в Европу за последние годы по сравнению с довоенным 1913 г. составлял (в миллионах долларов):

(В скобках процентное отношение американского экспорта в Европе к общему экспорту Соед. Штатов).

1913 год	1.479 (59)	1922 год	2.067 (55)
1919	4.645 (64)	1923	2.035 (51)
1920	4.864 (60)	1924	2.202 (51)
1921	3.408 (52)		

Итак, примерно половина американского экспорта идет в Европу. Может ли после этого могущественный американский империализм позволить французскому произволом и террором, ударами в сердце этого рынка— Германию дезорганизовать и разрушать его? Конечно, нет. Может ли американский империализм призвать к порядку французский империализм, пораженный манией величия? Конечно, да. После того, как французский франк

стал стремительно падать, не выдержав бремени затрат на непосильные вооружения, после того, как французский империализм вынужден был заискивающе протянуть руку Моргану, американское правительство вновь выдвинуло предложение о международной комиссии экспертов для решения репарационного вопроса. И Франция — напомним, что это было еще при Пуанкаре-Война — вынуждена была согласиться с этим предложением.

14 января 1924 года, т.-е. как раз через год после оккупации Рура, в Париже начала работать комиссия экспертов под председательством американского банкира Дауэса, — «политишена» с неособенно чистой репутацией (дело обанкротившегося Лоримера в Чикаго), 19 апреля Дауэс передает репарационной комиссии свой знаменитый план, который, по его уверению, должен повести к «длительному и окончательному миру». 15 мая Пуанкаре, тот самый Пуанкаре, который до того времени так решительно отклонял все попытки Англии привлечь Америку к решению репарационного вопроса, извещает Макдональда, что он согласен эвакуировать Рур на основе плана Дауэса. 16 июля созывается в Лондоне междусоюзная конференция с участием Германии для окончательного принятия плана Дауэса. Американский посол в Лондоне Келлог присутствует только, как «наблюдатель». Американский министр иностранных дел Юз, министр финансов Меллон в сопровождении виднейших финансистов к этому времени «частным образом» прибывают в Лондон. 16 августа Франция на-ряду с остальными союзными государствами подписывает соглашение о проведении в жизнь плана Дауэса.

Что означает этот план, ныне уже реальный фактор, с точки зрения франко-американских отношений?

Франция вынуждена согласиться на эвакуацию Рура. Она обязуется вопросы о том, исполняет ли Германия Версальский договор, — вопросы столь богатые возможностями бесконечного шантажирования Германии, — передать на разрешение Америки (Формально решает репарационная комиссия, к работам которой в таких случаях привлекается представитель Америки. Но по существу это сводится к решению Америки). Другими словами, французский империализм лишается свободы действий в наиболее жизненной для него области — в своей политике по отношению к Германии. С другой стороны, американский генеральный агент по репарациям, в руках которого концентрируются германские репарационные взносы, и который может по своему усмотрению выпускать их из Германии или задерживать (положение плана Дауэса о трансфертном комитете) — этот самый представитель американского капитала в Европе контролирует не только финансовую жизнь Германии, но и косвенно — Франции, зависимой от германских платежей

Но это только начало «дауэсизации» Франции. Америка до сих пор по-настоящему еще не нажимала на другой рычаг, которым можно привести в движение еще более тяжеловесные средства давления на Францию — мы

говорим о долгах. Теперь и для этого наступило время. Но напомним раньше основные факты, относящиеся к этому вопросу.

Согласно опубликованному в конце истекшего года финансовому меморандуму французского министерства иностранных дел, Франция должна Америке по основному долгу 2.933 миллиона долларов плюс 650 миллионов долларов процентами — итого 3.583 миллиона долларов. Об этой сумме французский министр финансов Клемантель даже не счел нужным упомянуть в бюджете, так как она относится к категории не коммерческих, а «политических» долгов. Из меморандума к бюджету мы узнаем, что означает сия «политика».

«Мы не можем, — говорится там, — рассматривать возможность принятия на себя бремени ежегодных платежей (Америке и Англии)... пока мы не выполнили работ по восстановлению разрушенных областей и пока платежи, следуемые нам согласно мирному договору, еще не создали для нас необходимых рессурсов». И далее, в меморандуме весьма напыщенно говорится о «великих воспоминаниях», об'единяющих Францию и Америку, о Лафайэте, Ришамбо и т. д.

К чему сводится «краткий смысл сей длинной речи» и вся «политика» отнесения долга к «высшей» категории «политических» долгов ясна — Франция намерена платить «великими воспоминаниями», но не деньгами. Так это и было понято в Вашингтоне. Американские политические круги не замедлили решительным образом реагировать на подозрительные маневры Франции. Двадцать девятого декабря сенатор Рид произнес в сенате резкую речь против Франции, в которой между прочим заявил:

«В 1917 и 1918 г.г., когда Америка принимала участие в войне, мы заняли у своего народа и немедленно передали Франции большую сумму денег... Мы заняли эти деньги, давая свое поручительство под французскими облигациями. И, давая свои деньги Франции, наш народ получал американское обязательство, которое мы должны уважать... Но Франция не уплатила ни одного пенни по военному займу. Наше правительство, выпустившее боны, чтобы реализовать эти деньги для Франции, аккуратно выплачивало проценты по ним, и эти проценты к 15 ноября 1924 г. составили 796.711.537 долларов. Другими словами, за эти шесть лет мы забрали у наших налогоплательщиков 800 милл. долларов, чтобы платить проценты вместо французских налогоплательщиков!!».

И, указывая на французскую бюджетную смету, не упоминающую даже о долге Америке, сенатор Рид прибавил: «Я считаю, что сенат не может прекратить своей сессии, пока против этого не раздастся голос протеста». И в заключении он напомнил Франции, что «непризнание долга, сделанного во время последней войны, окажется роковым для ее займов в «ближайшую войну», к которой она готовится».

Но еще более решительно высказался Гарвей в «Вашингтон Пост» от 28 декабря 1924 г.:

«Франция, — писал он зло, — хочет отыграться на Америке против Англии, заявляя каждой из них, что она не может заключить соглашение с одной, так как, увы, ей пришлось бы платить другой — прямо ужасное, невозможное положение!»... И далее Гарвей ставит точку над i: «Что другого остается делать Франции помимо того, что, наверно, сделало бы всякое коммерческое предприятие в ее положении? Конечно, созвать совещание ее обоих кредиторов, дать им свободный доступ ко всей информации относительно ее дебета и кредита, рессурсов и возможностей и добиваться справедливого соглашения...».

Мы подчеркнули эти слова о «свободном доступе ко всей информации», так как они по существу равносильны требованию известного контроля над французскими финансами. И именно в таком духе комментирует эти слова весьма влиятельный английский консервативный орган «Спектэйтер». Напоминая Франции ее займы Малой Антанте и «бесшабашные затраты на империалистические планы» в Европе, Азии и Африке, орган правящей партии английской буржуазии присоединяется к выводу Гарвея и при этом прибавляет: «Нам могут возразить, что мы предлагаем вмешательство во французские дела, а это недопустимо... Но разве потеря свободы не есть неизбежный результат неуплаты долгов?». Намеки довольно вразумительные...

Не мало горьких слов пришлось французской дипломатии выслушать и от сенатора Бора, ныне председателя американской сенатской комиссии по иностранным делам, в его речи в сенате 22 января 1925 г. Бора категорически требовал от Франции уплаты долга на определенных и льготных условиях и в малоделикатных выражениях расписал истинные причины, побудившие Францию помочь американским колониям в их борьбе с Англией за независимость, а также цели Франции в мировой войне. Когда же сенатор демократ Брюс, выступая в защиту Франции, призвал в свидетели тень Лафайэта, Бора раздраженно воскликнул:

«Хвала Лафайэту! Но ведь французское правительство пыталось арестовать его, когда он уезжал (в Америку)... И, наконец, в моем распоряжении имеется документ о том, что мы ему заплатили за его услуги и наградили крупным участком земли».

«Поистине, «поэтические симпатии» окончательно испарились, и, хоть Бора это отрицал, Америка теперь говорит с Францией языком Шейлока или, выражаясь по-современному, языком Дауэса. И вот этот самый американский спец по «восстановлению» европейских стран — Дауэс, выступая в конце февраля в клубе банкиров в Чикаго, прямо заявил: «я надеюсь, мы скоро будем иметь комитет Дауэса (для Франции), чтобы исследовать, сколько Франция может платить».

Правда, Дауэс в этой же речи намекнул, что Соед. Штаты согласятся аннулировать часть долга, но важен тот факт, что вице-президент Соед. Штатов открыто говорит о «плане Дауэса» для Франции, с вытекающим отсюда финансовым контролем над Францией. И для того, чтобы придать вес этим домогательствам, в конгресс была внесена резолюция о воспрепятство-

вании заключению займов в Соединенных Штатах тем государствам, которые не выполняют своих обязательств.

После всего этого становится ясным, что «план Герли» или «план Дауэса для Франции», о котором как-то глухо говорилось в телеграфных сообщениях из Вашингтона и Парижа прошлой осенью, имеет под собой серьезные основания. Из американской печати мы узнаем, что Эдуард Герли — член американской правительственной комиссии по консолидации долгов (Funding Commission) и что он в «неофициальном порядке» был командирован в Париж, где вел «частные» переговоры с представителями французского правительства и деловых кругов. В результате этих переговоров и сложился «план Герли». Согласно этому плану весь французский долг должен быть погашен в течение 67 лет, при чем Франции предоставляется мораторий на 50 лет. После этого срока Франция начинает платить по 100 миллионов долларов в год. При этом, в целях удержания финансового равновесия Франции, в Америку уходит лишь половина этой суммы. Другая половина будет американским правительством через посредство особого смешанного франко-американского общества вложена во французские промышленные предприятия. План далее предусматривает создание трансфертного комитета для регулирования перевода платежей с таким расчетом, чтобы не вызывать падение франка; во главе этого комитета стоит американец, «функции которого аналогичны функциям генерального агента по репарациям в Германии» — словом поистине — «план Дауэса для Франции», план подчинения Франции контролю Воллстрит, план создания новой широкой политико-экономической базы американского империализма в сердце Европы.

Таковы замыслы американского капитала по линии использования французского долга, как рычага давления на Францию. Одновременно предпринимаются другие методы давления. Затеваемую новую конференцию «по разоружению» в Вашингтоне опять, как и первую конференцию, пытаются заострить против Франции, и французская печать уже бьет тревогу по этому поводу. Так, например, французский официоз «Temps» (6 марта 1925 г.), комментируя заявление Кулиджа о том, что военная мощь Соед. Штатов должна быть усилена, но исключительно «в мирных целях», не без едкости замечает: «это благоразумная концепция, но она должна сохранять свою силу и для других». «Temps» тут по своему прав. Пацифизм Кулиджа, как и его предшественника, заключается в разоружении других стран при усилении вооружений своего отечества. С другой стороны, американская «Ворлд» (орган демократической партии) пишет: «Соед. Штаты не добьются разоружения на суше, пока не вмешаются в средне-европейские дела». А так как Франция — сильнейшая держава в смысле сухопутных сил в Европе, то ясно, что призыв американской газеты направлен против Франции, политика которой идет в разрез со всей дауэсовской колонизаторской линией американского капитала в Европе.

Позиция Соед. Штатов таким образом ясна. Несмотря на то, что они, перекачав к себе половину всего мирового золотого запаса, прямо задыхаются

в золоте, они все-таки настойчиво требуют от Франции погашения ее долга — пусть и не полностью (Бора говорил о возможности сокращения на 50%). При чем это требование диктуется не столько финансовыми, как международно-политическими соображениями — стремлением связать по рукам французский империализм, чтобы свободно распоряжаться в «дауэсизированной» Европе.

Какова же позиция Франции? Националисты, чувствуя, что «великая победа» ускользает из их рук и что их широкие империалистические планы рушатся под напором более могущественного империализма, беснуются. Нападая на Эррио, «Echo de Paris» (20 марта), возмущенно восклицает: «Когда Америка подает нам счет — да еще в долларах — за шапку, протягиваемую за милостыней искалеченной Францией — должны ли мы благодарить ее?». В таком же духе, но еще резче, писала националистическая «Eclaire», когда был опубликован план Герли: «Англо-саксонский план сделает нас вассалами, и не вассалами американского правительства, а группы финансистов... Шейлоки будут резать нас, чтобы получить свой фунт мяса...».

А бывший министр в кабинете Пуанкаре, депутат Луи Марен, в своей нашумевшей речи в парламенте 21 января, тыкая пальцами в кровоточащие военные раны Франции, патетически восклицал:

«1.425.000 убитых, 300.000 умерших от ран, 4.000.000 раненых... 800.000 девушек, лишенных возможности создать домашний очаг... Если по американскому обычаю расценивать рабочую силу каждого человека на деньги, то Соед. Штаты нам должны миллиарды!.. Наше самоуважение не потерпит, чтобы финансовое превосходство стало орудием политического давления».

Но на благородное возмущение депутата национального блока орган Воллстрит «Нью-Йорк Таймс» (23 января) холодно, но весьма вразумительно ответил заметкой, из которой достаточно привести один только заголовок, (американская газета умеет давать заголовки — по американски):

«Банкиры задерживают планы французского займа. Речь депутата Марена возымела свое влияние».

И, действительно, чего стоят все эти лицемерные протесты прожженных политиканов перед лицом основного факта нынешней французской экономики — падения франка?

Несколько основных моментов экономического характера:

Промышленность Франции сделала после войны значительные успехи. Это следует подчеркнуть, чтобы не упрощать и не затушевывать действительного положения вещей. Общий индекс продукции в октябре истекшего года составлял даже 116,5% против довоенного индекса в 100 в июне 1913 года (территориальные изменения приняты в расчет при составлении этого индекса). Внешняя торговля тоже развивается благоприятно. Экспорт в 1924 году составлял 29,4 миллиона тонн против 24,9 миллионов тонн в 1923 году. Это дает увеличение на 33% против 1913 года (Соответствующие цифры для импорта: 56,5 против 54,9 27%) [1]).

---

[1]) Англ. „Economist Review of 1924".

Но это развитие промышленности и экспорта в значительной степени идет за счет франка. Низкая валюта дает французским экспортерам возможность успешно конкурировать с высоко-валютными странами. Вот почему часть капиталистов до сих пор и теперь еще сознательно саботировала и саботирует оздоровление франка. Но теперь положение уже таково, что падение франка — на 15% со времени прихода к власти Эррио — может расшатать всю экономику страны. Составленный впервые после войны общий баланс государственных финансов вскрыл всю катастрофичность положения, несмотря на все искусство Клемантеля в деле его прикрашивания. Разоблачая эти бюджетные фокусы, солидный «Journale des Economistes» (15 января 1925 г.) приходит к выводу, что в ординарном бюджете не только нет излишка, как это дается у Клемантеля, но на самом деле в нем зияющая дыра — дефицит в 460.000.000 франков. Что же касается внешних долгов, то они достигают астрономической цифры в 35.964.000.000 золотых франков». «Экономическое и финансовое будущее Франции, — пишет «Journal des Economistes», — покоится на поднятии ценности нашей валюты». Докладчик Сенатской финансовой комиссии Беранже выражает в «Journale» ту же мысль краткой формулой: «Le franc, c'est la France» (франк — это Франция).

Но чтобы спасти франк — Францию при самом злостном саботировании всех налоговых мероприятий крупными капиталистами и не менее крупными патриотами, остается один только выход — пойти на поклон к тому самому американскому Шейлоку, на которого они так яростно нападают. Морган дал 100 миллионов долларов и пролонгировал их. Нужно добиваться еще и еще.

После этого становится понятным, почему сам Клемантель заявил американским журналистам, что Франция согласилась бы на применение к ней плана Дауэса. Правда, он при этом сделал оговорку насчет неприменения пунктов, связанных с финансовым контролем. Но чего стоит эта оговорка министра, видно из следующих слов его шефа Эррио в феврале в Палате Депутатов:

«В наше время, когда экономика так тяжело давит на политику, охватывает ее и сжимает (совсем помарксистски. *М. Т.)* государство-должник не является больше совершенно независимым государством».

А орган левого блока «Europe nouvelle» меланхолично подкрепляет это признание: «Это — элементарная истина... Господин Кулидж, принимая нашего посла, указал ему не без резкости, что по счету 1774 (помощь Франции Америке в ее борьбе с Англией) за нами не осталось никакого сальдо, и что, наоборот, нужно урегулировать дела... Нам придется платить»...

Но «горе побежденным!» по-разному звучит в устах самих побежденных и их победителей. Если у Эррио это отдает печальной горечью, то совсем другое мы слышим у победителей. Вот что пишет по поводу американского финансирования других стран их орган, орган американской биржи «Коммерс энд Файэнс».

«Мы все — каждый из нас — стали владельцами сотен миллионов здоровенных (able-badied) рабов. К нам будет направляться поток, если не золота, то товаров. Каждый из нас сможет тратить больше... С таким богатством... мы можем переделывать весь мир согласно нашим желаниям — переделывать посредством денег и крепостных рабов... Мы имеем закладную не только на нынешнее поколение, но и на будущее во всякой стране за и с к л ю ч е н и е м Р о с с и и» (курсив наш. *М. Т.).*

Это не пародия. Это цитируется нами по органу американской радикальной интеллигенции («Нейшен», 18/II — 1925 г.), который выдернул эту «откровенную» по его словам цитату из указанной газеты Дауэсов. Комментарии тут, конечно, излишни. Хочется только подчеркнуть еще раз: «Кроме России»...

Франция, очевидно, включена в этот список порабощенных стран. Ей придется платить своему доблестному союзнику и рабовладельцу. О сумме платежей и об их размере теперь ведутся переговоры в Вашингтоне. Но сколько и как ей ни пришлось бы платить, одно можно уже теперь констатировать, как факт: Ф р а н ц и я у ж е п о п л а т и л а с ь с в о е й н е з а в и с и м о с т ь ю в ш и р о к о-м е ж д у н а р о д н о м с м ы с л е э т о г о с л о в а. В д а л ь н е й ш е м е е с в о б о д а д е й с т в и й е щ е б о л е е с у з и т с я. Ф р а н ц у з с к о г о и м п е р и а л и з м а п е р и о д а з а х в а т а Р у р а т е п е р ь у ж е н е т.

Это — факт огромнейшего международного значения. Е с л и о н о з н а ч а е т к р у п н о е п о р а ж е н и е ф р а н ц у з с к о г о и м п е р и а л и з м а, т о о н о з н а ч а е т т а к ж е к р у п н у ю п о б е д у а м е р и к а н с к о г о и м п е р и а л и з м а. На это не следует закрывать глаза. Американский империализм получает новую базу, откуда ему легко еще больше распространить свое влияние, экономическое и политическое господство на Германию, Балканы и на окраинные государства. Что это означает для нас, для нашего Советского Союза? Минус, конечно. Как это повлияет на отношения Франции к нам? Здесь — сложный процесс. С одной стороны — поскольку Франция сама становится жертвой более могущественного империализма, она, при всей своей классовой ненависти к нашему Союзу, инстинктивно должна искать сближения с ним, как с крупной силой, способной дать отпор этому империализму. С другой стороны, французская буржуазия, те или иные ее группировки попытаются выслужиться перед американскими хозяевами и купить их благорасположение присоединением к общему анти-большевистскому фронту против СССР (Нечто подобное мы уже видали со стороны демократа-пацифиста Эррио). Положение Франции в этом смысле несколько приблизится к положению Германии. В зависимости от конкретной обстановки будут зигзаги и колебания. Нужно учитывать это новое положение.

Как это повлияет на англо-американские отношения, — этот центральный вопрос современной международной политики? Можно полагать, что несмотря на известную согласованность действий между Англией и Америкой, проникновение американского империализма во Францию в конечном счете

не улучшит, а ухудшит отношения между этими составными частями «блока», ибо значительно расширит плоскость трений между ними.

Одна постановка всех этих само собой возникающих вопросов указывает, какие значительные сдвиги в международной политике вызывает факт «дауэсизации» Франции. Данные здесь ответы, конечно, очень схематичны. Но центр тяжести этой статьи не в них, а только в установлении и приковывании внимания читателя к этому крупнейшему факту — капитуляции французского империализма перед американским.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Во тьме...

А. Зорич.

Мы заседаем восьмой день. Перед судом проходят десятками сдержанные, угрюмые мужики, бабы; они вздыхают прерывисто, божутся, плачут и кончиками грязных цветных платков вытирают опухшие, красные от слез глаза.

Бабы и мужики говорят простые слова, рассказывают неспеша и со всеми возможными подробностями о темных и тяжких деревенских днях, — затаенная горькая обида, годами накопленная, взращенная годами боль рвется в простых этих словах, и мрачная и незабываемая разворачивается перед нами картина непроглядной деревенской тьмы, ужасающей забитости и бесправия и отчаянья обездоленных, загнанных в дикую кабалу, во всем разуверившихся людей.

Я вижу, как большим коленкоровым платком отирает председатель покрывшийся испариной лоб — у него расширились глаза, нервно подергиваются губы, он ежится часто, как в ознобе: порой начинает казаться, что ничего этого не было, нет, что все это нелепый чей-то и злой маскарад, что стоит только закрыть на секунду и вновь поднять отяжелевшие, взбухшие от усталости, от бессонницы, от напряжения веки, и это исчезнет все, тяжелая злоба мужичья и боль — она давит на сердце, трудно делается дышать — и красные сукна судейских столов, и обнаженные шашки конвоя, и застывшая, замершая в напряженном молчании деревня, за сотни верст, проселками, путимчиками, тропами и перелесками, в поисках правды, в поисках жизни, пришедшая с надеждою в огромный этот, мрачный и холодный судебный зал.

Но комендант выкликает фамилии, но к красным столам подходят все новые и новые люди, опять плачут и божатся бабы, опять вздыхают покорно и привычно молчаливые, угрюмые мужики — суд идет, суд продолжается...

• •

Деревенька маленькая, глухая и темная, она стоит в болотах затерянная, вдали от всех дорог и перепутий. Когда мы заехали туда на автомобиле, деревня сбежалась к автомобилю, как на пожар: кормящие бабы несли с собою грудных детей, слазили с печек столетние дряхлые старики, плелись с палками, покряхтывая и ковыляя, шамкающие древние бабки.

Мужики щупали пальцами лак и резину на шинах, удивлялись, как оно ходит без пара, спрашивали настойчиво, велика ли пружина — «пружину набьют, заведут, потом она разматывается восемь верст, от этого и получается ход». Автомобиль здесь видели в первый раз.

Мне рассказывал фельдшер в волости, как прописана была бобылю в деревеньку микстуру, ее нужно было принимать по пятнадцати капель в воде. Бобыль выпил пузырек, пустой пузырек принес, как положено, обратно, но продолжать лечение категорически отказался.

— Выпить нетрудно,— сказал он, — да в воде сидеть тяжело, чистая мука, нудит, грудь давит...

Это было холодной осенью, — на задворках, за клунями, за стогами, он налил огромную, многоведерную бочку водой и, исполняя буквально рецептурное указание, каждый раз, когда принимал свои пятнадцать капель, залезал в эту бочку и сидел в ней, содрогаясь и стуча зубами от холода, по горло в студеной, с утра покрывавшейся уже ледком, воде...

В гостиницу ко мне пришла с мужем из деревеньки Прониха — баба, оба они наотрез отказались блазить беса, подниматься в под'емнике: это штука хитрая, это не от бога, православный человек этого не придумает. Прониха крестилась испуганно мелким и частым крестом, вздрагивала от звонков, муж смотрел подавленный и изумленный, широко раскрыв рот, как бегала вверх и вниз нарядная, обитая бархатом, залитая светом кабинка с мальчиком в серебряных галунах.

— Рот закрой, — пробасил упитанный и важный швейцар, — ворона натаво́сит. Удивительно какой это несерьезный народ. Деревня...

Мужик сказал виновато, вздыхая шумно и тяжело:

— Наша жизнь темная, мы в пропастях живем, в слепоте, как слепая лошадь топчемся, как куренок в кругу: это околица, а дальше ни тпру, ни ну...

Они пошли по лестнице, но у Пронихи на пятой ступени стали дрожать и подкашиваться ноги, она, путаясь в валенках и подолах многих тяжелых юбок, сползла вниз. Мужик шел медленно, вцепляясь в перила обеими руками: его тошнило, кружилась голова. Одолев с трудом и впервые в жизни монблановы высоты третьего этажа, он повалился в номере на стул, обессиленный, бледный, весь покрытый липкой предрвотной испариной. Так выглядит человек, не переносящий качки, когда он вступает впервые, измученный двухдневным ненастьем в море, на береговую твердь, или выходит, шатаясь, из крутящейся «чортовой комнаты» балагана чудес и приключений на ярмарке.

Выпив воды и отдышавшись, Пронин сказал:

— Это с нутра, у меня нутро дракон попортил.

На святки, святым вечером, ходит по деревне неизвестный и страшный и таинственный дракон, собирает просвирки, стучит в оконца когтями: эти когти огромные, цепкие, они остры, как жнейка, черны, как вечер, как наговорный папоротник в лесу. С крестом и молитвой дракону кидают в оконце кусок свяченой просвирки, поспешно тушат огонь в хате, сидят в углу под образом недвижно и молча, пока не закричит петух во дворе: петух, господня птица, одним глазом спит, другим сторожит, пока оно

отойдет. Бывает — петух закричит сразу, бывает — маятся люди в страхе всю ночь, — всю ночь, невидимый, бродит, значит, под окнами страшный дракон.

Пронин же был на святой вечер пьян, во хмелю, когда постучался в оконце дракон, он схватил коромысло, с размаху вышиб коромыслом раму, за окном как будто взвизгнуло что-то дико и жалостно. Потом потух сразу свет, загудело в трубе и в щелях, по дому пошел ледянящий, холодный дух; беременная баба выбросила со страху мертвеца, а у самого Пронина перебилося сердце: с тех пор слаба стала голова, налегло что-то на душу, она тоскует, болит.

Кондратьиха, бабка, ненавидимая всеми, потому что способна была, по общему убеждению, грызть вымя у коров, но прославленная гаданьями на еловых шишках и тем, что облегчает гулящих девок веретенцем — Кондратьиха находила болезнь ярицу, когда густеет у человека и запекается в жилах порченная кровь, давала заварку из пышмы-травы, но пышма-трава не помогла, от нее пошла только по всему телу зеленоватая, зудящая сыпь. Дьячок советовал отслужить Власию, или же иметь в изголовьях особую молитву на голландской бумаге, стоимостью в одного гусака, а доктор на пункте прописал порошки и солоновато-горький бром: бром поставили за образа, берегли для ребят от простуды, порошки же выкинули вовсе — это из собачьей кости толчется, и в холерное время был такой случай, когда человек от порошка обернулся собакой, только голос остался человечий: его посадили на цепь, и он говорил этим голосом, что надо пожечь больницы, бараки и каждого доктора заново окрестить на миру, очистить и сделать о том на лбу пометину, иначе замучается окончательно и погибнет весь «хрестианский» мир.

Крестили тогда в округе многих, и, крестя, утопили двоих докторов, оттого, что крестили не спеша и старательно, до обмороков, с молитвою, держали в воде связанных, обезумевших людей, чтобы выгнать окончательно кальянную нечисть, чтобы восторжествовал окончательно православный господний крест, — а нынче уже, в неурожайный год, крестили тем же порядком, а после святого этого крещения избили до крови, изувечили агронома.

Агронома крестили и били потому, что, по общему единодушному убеждению, сухмени, засуха, которая погубила хлеба, пришла от того именно зелья, от белого пепла, который продавал на участке агроном — пепел этот, говорили, привезен был из Китая на хрестьянскую погибель, на русское разорение, этот пепел поганый и не свяченый, он годится под рис, а с нашим хлебушкой схождения иметь не может. И агроному не стать бы поганиться, мучить китайским пеплом православный народ, ему не за это деньги плачены. Они, черти, ученые, а этого не знают, что живет земля от семи планет и, глядя под какою планетою придется участок, такой и получается урожай: придет планета работящая, правильная — правильно и уродит, мышь в колосьях не пробежит, а попадется планета не стоющая — всего и соберешь ничего, в шапку весь урожай помещается.

Пронин рассказывает, он говорит одинаково просто, спокойно и равнодушно и об утопленном докторе, и о китайском пепле, и об агрономе, которого били без злобы, но для порядка после святого крещения, и о просе, посеянному с мывки — «оно сильнее берет якорного» — и о пойманном цыгане-конокраде, которого «катали по бревнушкам». Конокрада катали по бревнушкам, сбрасывая его с амбарной крыши на сваленный общественный лес в сучьях, его кости ломались с хрустом, глаза вылезли из орбит, весь залитый кровью, он кричал дико, молил о пощаде и грозился спалить село. Его кончили и вынесли и бросили бесформенный кровавый ком, как падаль, в лесу: никто не считал цыгана человеком, но известно было давно, что в цыганах течет черная кровь, что это племя вредное и противно богу, оно кошек живьем ест и вьюнов.

Я пробую мягко возражать, говорю о драконе, о Китае, о жутком акушерском «веретенце» Касьянихи, о цыганах и о планетах — о дикой и ужасающей нелепости слухов этих, и представлений, и верований, и бытии.

Пронин соглашается охотно и быстро, вздыхает:

— Это верно. Деревня, чем темней — тем ей верней.

В семнадцатом году, когда в теплушках ехал в Россию фронт, играла ночью на полустанках гармонь, и на полустанках били и убивали начальников, отводивших в тупики эшелоны, — в семнадцатом году приехал в деревеньку человек, Иосиф Воронок, резервный городовой из Риги. Он был мал ростом и худощав, говорил быстро, скороговорочкой, побрызгивая слюной и бегая узенькими и острыми глазками, лоб его, не суливший хорошего, до бровей зарос жесткими черными волосами, вздернутая заячья губа открывала острые и хищные зубы, — его наружность была отвратительна, и управлением в Риге, терпевшим Воронка за жестокость, он посылаем бывал только в ночные операции и на ночные посты, чтобы днем разбойной своей и отталкивающей внешностью не колол бы начальственный глаз.

Никто не знает точно и точно не может об'яснить, как случилось такое, что низколобый, и злой, и отвратительный этот человек — лесной человек, похожий на обезьяну — завладел деревенькой, зажал деревеньку в жадном и грязном своем полицейском кулачке. Никто не знает и не помнит, когда именно и каким образом, какими дверьми вошел этот человек в партию, какими собраниями, чьими голосами проведен был в сельсовет, занял в совете председательское место и прибрал чрезвычайно быстро к рукам общественные фонды, деньги, землю, лес и имущество.

Иосиф Воронок, полицейский, лесной человек, похожий на обезьяну, превратил постепенно в свою вотчину далекую и глухую эту, заброшенную в болотах, деревеньку — и княжил в вотчине безраздельно и безотчетно, скудными крохами оделяя немногих сторонников, подкупая, спаивая и застращивая ропчущих и жестоко расправляясь с восстающими.

Он установил оброчные взятки, этот сельский князек, и деревня тянулась к нему в положенные дни и часы с хлебом, с яйцами, с маслом, с хустками, корзинами и мешками, — он принимал дары, в подворном списке

метил крестами плательщиков, нюхал, щупал и пробовал сало, в ладони пер(сыпал и перетирал хлеб, каждое яйцо просматривал на свет, и если сал оказывалось лежалым и был сыроват хлеб и ссыхались яйца — Воронок би эти яйца о мужичьи головы, тыкал салом в мужичьи физиономии и вспарыва ножом мешки, рассыпая и втаптывая сапогами в грязь по крохам, по фун там собранный мужиками хлеб.

Он говорил при этом, встряхивая подателя за шиворот:

— Это тебе не ссыпной пункт, это тебе не упродком. Ты мне гадост› не носи, не носи...

Из ворованного казенного леса он толокою строил себе дом и службы, и клети, и пристроечки, — работать на стройку ходила безвозмездно вся деревня, мужики возили бревна, топорами рубили многовершковые стояны, пилили доски, бабы таскали краденый кирпич, черепицу, плели штукатурные переплеты, чистили, мыли, белили.

Воронок ходил по постройке, всюду доставал его острый, как у ястреба глаз, он строго покрикивал на мужиков и в закоулках тискал долго и жадно встречавшихся баб.

— Кругла, — говорил он, посапывая, и начинал тяжело дышать, — ты кирпичей не носи, дура, живот надорвешь. Я тебя уволью, прийдешь ночью в баню. Или тебе жалько для председателя?

Бабы вырывались молча, проходили торопливо и молча, они плакали дома, случалось, от стыда и обиды и жаловались мужикам, братьям, отцам, мужьям.

Мужики говорили Воронку:

— Бабочек не трогай, Есип, не шевели бабочек. Мы на тебя стараемся, толокем тебе, как полагается, по два хомута носим, наша сила грязная, она работает покель споткнется — а бабочек не цепляй, крестьяне обижаются...

Воронок молчал, зловеще щурил злобно острые и косые глаза: это не предвещало хорошего, от этого взгляда бегали по спине мурашки. И случалось неизбежно так, что жалобщицам попадала потом на стройке самая тяжелая работа и увеличивался их оброк и продналог, и арестовывалось частенько за двухдневную просрочку, за копеечную недоимку их имущество.

В голодное время, когда для Поволжья собирали в деревне копейки, — потом, кровью давались деревне эти урезанные с трудом из скудных мужичьих крох копейки, — Воронок присвоил общественные «голодные» деньги, на голодные деньги купил в совхозе корову, корова была чужая, большерогая и давала в удойные сутки четыре кувшина.

Потом собирали на воздухофлот, на доброхим, на просвещение, на беспризорных детей, опять несли мужики фунты и копейки, копейки и фунты. Воронок опять прибирал к рукам, что-то покупал, что-то продавал, спекулировал и спекулятивные деньги пускал в чудовищный рост, все глубже и крепче загоняя деревню в невылазную страшную кабалу.

Когда говорили в деревне о школе, о читальне, о том, что надо бы детям дать свет, чтобы дети не жили в слепоте, как отцы и деды, Воронок об'яснял на собрании, что школы в деревне быть не может, что школа по-

лагается по закону в с е л а х только, где есть церковь, и нужно, стало-быть, раньше школы возвести храм, а храмов строить нельзя, за это теперь вешают, и думать о школе нечего, а читальня облагается по закону тысячью рублей в год и эту тысячу придется, значит, раскладывать ежегодно на полтораста дворов. Когда мужики просили прочесть газетку, что делается в свете, чем люди дышат, — Воронок говорил, что свинье на небо глядеть не положено, и темный человек газеты читать не может, он все спутает, перепутает и будет жить и думать н а о б о р о т, газету читает он Воронок, и по каждому случаю может дать гражданам нужное об'яснение. И газету, приходившую в сельсовет, прочитав, он запирал в шкафик или рвал в клочья, и клочья — полоски — продавал мужикам на курево, по яйцу от штуки.

Мужики, редкие смельчаки, пытались вначале жаловаться, искали защиты, правды, закона и справедливости, но в волости и в районе, в районных учреждениях, всюду сидели у Воронка свои какие-то люди, всюду были свои какие-то невидимые связи, ходы, пружинки, знакомства, и охота жаловаться и искать невиданной, неузнанной правды пропадала чрезвычайно быстро.

Пожаловался первым Наум Журба — много дней он рубил тяжелые стояны и пилил на постройке доски у Воронка, обесхарчился, измаялся, спросил за работу полтинник, и когда спросил, фунтовой гирей от весов Воронок искровянил совершенно и обезобразил его лицо, вышиб четыре зуба и перебил в носу хрящ: Журба стал гундосить, из носа у него потек гной.

Журба жаловался в волость, из волости приехал для разбора дела милиционер, до вечера милиционер пил у Воронка самогон, вечером вызвали Журбу. Милиционер кричал, бешено топал ногами, грозился наганом за оскорбление власти, — и посадил Журбу на ночь в яму, в парню, где гнут ободья. Сторожить Журбу в яме вызваны были два мужика, они замешкались несколько, — их посадили тоже, яму завалили досками и караульному десятскому у ямы дали винтовку, с пьяным наказом стрелять каждого, кто из ямы высунет голову. Трое сидели в яме всю ночь, там нечем было дышать, в эту яму посадили однажды собаку по подозрению в бешенстве, и собака сдохла там за сутки — они, задыхаясь, пальцами, ногтями, рвали землю, отрывали воронку, ход для воздуха. Утром их выпустили обессиленных, бледных, в обморочном состоянии. Журба внесен был после этого неожиданно в черный список, лишен голоса и прав. Постановления этого он уже не обжаловал.

Потом жаловалась бобылка-бабка, Воронок топором гнал ее от колодца, где бобылка заспорила с его женой, едва не зарубил топором, изодрав платье, и бобылка спаслась, успев на щеколду захлопнуть дверь в хате.

Бабка ходила с прошениями долго, по всем инстанциям, она ходила, как приблудная овца из деревни в волость, из волости в район, из района опять в деревню и опять в волость, кланялась всюду, просила и плакала. У нее брали прошения, дело обещали разобрать, но прошения исчезали куда-то, или передавались для разбора самому Воронку. Потом приехал начальник милиции, бабку вызвали на допрос. Начальник милиции вынул наган, направил дуло в лицо бабке, рухнувшей на колени и закричал:

— Показывай, стерва; топора у него не было вовсе, это я его зашибить думала коромыслом, ругала самотажником...

И бабка сказала, не вставая с колен:

— Товарищи, дорогие люди, думала зашибить, ругала самотажником...

Тогда начальник вынул баночку с чернилом, чернилом обмазал бабке два пальца, велел приложить пальцы к листу и сказал:

— Паскуда, поди прочь! Извинись поди перед ним, в ножки поклонись...

Бабка пошла, она кланялась Воронку, просила простить Христа ради. Воронок простил и отпустил ее, пнув носком в живот.

Потом жаловались скопом, целыми улицами, и когда опять приехал волостной милиционер для разбора и хотел арестовать зачинщиков и жалобщиков, — деревня, доведенная до отчаяния, сплошной живой стеной окружила зачинщика, мужики и бабы кричали, раздирая рубахи, обнажая и выставляя грудь:

— Не отдадим, нас сначала перестреляй!

Милиционер доложил в исполкоме о бунте, о контр-революции, в деревню на дрожках понаехало все районное начальство и конный усиленный милицейский наряд. По списку, который заготовил в совете Воронок, вызывали, вылавливали и арестовывали людей, арестовали одиннадцать человек, — в ночь, в темень, в грязь, в затяжной и холодный осенний дождь, под конвоем погнали их в волость, в тюрьму, не дав даже обуться, не дав накинуть даже верхнюю одежонку.

По деревне стоял стон, плачущие дети бежали по дороге, у плетней, молили издалека:

— Дайте, матци, хотя свиту одеть!..

Их разгоняли нагайками. Арестованных вели до тюрьмы всю ночь, к утру, иззябшие, промокшие до костей, застуженные и больные, доплелись они до тюрьмы. Полуразрушенная тюрьма без окон, с продырявленной, протекающей крышей, была ужасна: люди сидели в темноте, сбившись в кучу, и ляскали зубами, их не выпускали оправляться, отчего весь пол устлан был человечьими испражнениями, тошнило, кружилась голова, и останавливалось дыхание от этого ужасного смрада, им не давали воды, не пропускали туда приносимую пищу.

Плачущие бабы кричали в щелки:

— Товарищи, хотя двери откройте, воздуху нет!

— Сиди, сиди, — говорили снаружи, — не будешь бунтовать.

Их выпустили через три дня, разбитыми совершенно, обессиленными, они пришли в деревню, в совет — и в совете Воронок кричал скороговорочкой, стуча по столу волосатым, жилистым кулаком:

— На кого ты жалишься, кто мне судья? Я сам себе судья. Ну!?

Бабы кланялись, всхлипывая, без шапок, сумрачные, угрюмые стояли мужики...

Воронка хотели устранить на выборах, но на выборы приехали из волости неизвестные люди, люди из волости об'явили свой список, где первым стоял Воронок, они об'ясняли, что список этот единственный, за который

можно голосовать по закону, потому что он утвержден в городе, что других списков делать нельзя, что за другие списки придется деревне отвечать. Воронок переизбран был снова, единогласно.

Деревня смирилась, покорилась, притихла во тьме и копила обиду, муку, боль: стороною слыхали о новой правде, о новой просветленной жизни, но правды этой не видали, но жизнью этой не жили.

Появился потом, народился, вдруг стал селькор, справедливый человек, вступился за обездоленный хрестьянский мир, говорил, что правда есть, что правда найдется все-таки. Селькора хотели убить, поджечь, травили у него собак, стреляли в его окно, обвинили в воровстве, в бандитизме, арестовали, гоняли этапом, гноили тоже в тюрьме — и все жалели человека, все думали, что пропадет человек, а правда-то, видно, глубоко спрятана, до нее не добраться. Но человек не пропал, и правда нашлась!..

В десятый раз с волнением рассказывают мужики, как смещена и арестована была вся местная власть, как попала и прочитана была на селе первая за время революции газета — их выписывается теперь уже много, как избрали в председатели обходительного человека, и обходительный человек организует сейчас читальню, кооператив, лекции и картины, — они в десятый раз слушают заверения наши и раз'яснения, что люди, которые годами чинили насилия и произвол в глухой этой и забитой деревеньке, не коммунисты и не наши, но глубоко чужие нам люди, что ничего общего не имеют коммунизм и советская система с тем исправничьим деревенским самодержавием, которое пытались они здесь возродить, что совсем в ином заключается наша система и наше чуткое и внимательное к деревне отношение, — бабы и мужики кланяются на суде низко, в пояс, касаясь пола опавшими волосами:

— Товарищи, и мы теперь, спасибо, увидели свет, дышать стали. Мы коммунизм понимаем теперь, какая в нем правда...

— А раньше, что вы о коммунизме думали?

— А думали, что это нахальство.

Суд идет, суд продолжается...

О формальном методе в искусстве.

(Стенограмма речи, произнесенной на диспуте «Искусство и революция» 13 марта 1925 года).

Н. Бухарин.

Товарищи! У нас сейчас будет некоторая стычка между представителями двух методов или двух конструктивных принципов познания и анализа искусства, социологического метода и формального. Свое вступительное слово я посвящу краткой критике этого второго метода или того конструктивного принципа, который носит название формализма. Он здесь представлен Борисом Михайловичем Эйхенбаумом, который будет мне отвечать.

Прежде всего, что такое формальный принцип? Я представляю себе основную аргументацию сторонников формализма в искусстве, в коротких словах, следующим образом.

Возражая против нашего социологического метода, сторонники формального метода говорят:

Вы, социологи, упускаете как раз основную суть проблемы. Конечно, все общественные явления связаны между собой, но для того, чтобы построить науку, для того, чтобы эта наука имела право на свое особое самостоятельное существование, нужно выделить нечто специфическое, нечто особое, то, что отличает данную категорию явлений, данный комплекс явлений от всей действительности, и, выделив это основное, это специфическое, как раз и заниматься тем, в чем это специфическое выражается.

Таков принцип, который выставляют товарищи формалисты. С этой точки зрения они развивают ход своих мыслей. Дальше они говорят: таковым принципом для искусства является принцип формы, для литературы — словесная форма, и, следовательно, то специфическое, то особое, что подлежит изучению, что составляет самую сущность, самую суть науки о литературе — это как раз и есть форма. Между тем, представители социологического метода постоянно выходят за эти пределы, за эти рамки. Настоящая наука о литературе должна рассматривать эволюцию литературных форм. Это и будет то, что требуется. Мы можем взять известный ряд литературных явлений в их специфической характеристике, т.-е. явлений, рассматриваемых с точки зрения их формы. Здесь, само собою разумеется, имеется своя особая закономерность, имеется свой независимый литературный ряд; он-то

составляет об'ект изучения, он-то и составляет предмет науки о литературе. Все, что сверх этого, то от лукавого. Если этот ряд, специфически литературный, или ряд какого-нибудь другого искусства, или искусство все в целом, сопоставить с каким-нибудь другим рядом, поставить в причинные соотношения, каузальные соотношения, и об'яснить одно другим — это будет известное научное грехопадение или, как утверждает Борис Михайлович, здесь наука приносится в жертву метафизическому мировоззрению; совершается метафизическое грехопадение, когда за рамки строгой науки мы переходим в пределы метафизики.

Вот по сути дела логический остов, логический стержень тех рассуждений, которые лежат в основе формального метода; в скобках замечу, что против такого понимания протестует Б. М. Эйхенбаум, но я в его аргументации, т.-е. расщеплении между принципом и методом, не вижу достаточных оснований.

Прежде всего я должен сказать, что собственно основная мысль во всем этом построении безусловно является мыслью правильной. Это есть мысль относительно того, что из каждой науки должно выделить и находить то специфическое, что характерно для данного круга явлений. Эта мысль разделяется колоссальным количеством представителей ученого мира и даже не ученого мира. Подавляющее количество людей, которые занимаются вопросами научной методологии, стоят на этой точке зрения. И должен сказать, что мы, марксисты, эту научную предпосылку точно так же всецело разделяем. Например, мы протестуем против того, чтобы общество рассматривали исключительно с биологической точки зрения, только как организм, и больше ничего. Мы считаем, что различные виды явлений, несмотря на то, что, согласно нашим материалистическим воззрениям, все они могут быть сведены на химико-физические процессы, все же качественно отличаются друг от друга, и в этой качественной характеристике различных рядов явлений мы имеем нечто отличное, специфическое, своеобразное. Здесь та грань, где одна наука отличается от другой. Мы эту предпосылку целиком разделяем. В ней ничего нет нового. Больше того, мне представляется, что ни одна из школ и из научных направлений, которые сейчас выступают, так решительно и резко не подчеркивают этого принципа буквально во всех областях человеческого знания, как именно марксизм. Я приведу пример из области общественных наук. Вы отлично, вероятно, знаете, в особенности наша учащаяся молодежь, которая находится под подавляющим влиянием марксистской идеологии, что даже в пределах одного общественного ряда характерным для марксизма было как раз положение, обоснованное Марксом в первом томе «Капитала», отделяющее марксистскую общественную науку от всех других наук. Маркс в первом томе «Капитала» выставил положение, что нет абстрактных законов, а есть законы, свойственные каждой данной конкретной форме развития общественного организма, что законы капиталистического строя есть законы sui generis, т.-е. такие, которые не представляют из себя действующего фактора для другой структуры: на-ряду с абстрактными законами центр марксистского мышления сосредоточивается на

том особенном, специфическом общественном, индивидуальном, если можно так выразиться, что характерно для некоторого конкретного порядка общества, для некоторого конкретного строя. Больше того, когда я привожу пример из области общественной науки, где марксистская методология наиболее ясно видна, это нисколько не противоречит тому, что мы говорим об искусстве, потому что искусство есть явление общественное и никакое другое. Я беру еще один пример. Когда мы анализируем империализм, мы берем специфическую полосу, и мы говорим, что нельзя об'яснить империалистическую эпоху капиталистической системой в целом. Нужно искать здесь особое, специфическое, так что у нас этот принцип проведен с величайшей последовательностью. Мы сторонники диалектики, т.-е. того взгляда, при котором, несмотря на единство всех явлений, мы имеем постоянное обогащение ряда, нарастание количества моментов, и анализ этого ряда в его изменении есть непременное качество всякого революционного диалектика, так что эта предпосылка, которую Б. М. Эйхенбауму угодно назвать конструктивистским принципом — в данном случае, это безразлично — эта предпосылка целиком, до конца, разделяется нами, при чем мы открыли ее гораздо раньше, и даже мы не открыли, а восприняли и, как никто, последовательно проводим ее во всех решительно изысканиях.

Но вот ряд совершенно других вопросов, и здесь появляется целый ряд сомнений, и даже не сомнений, а решительных возражений — это когда речь идет о другой составной логической части той системы, которая преподносится нам со стороны сторонников формального метода. Другое основное положение заключается в том, что нельзя выходить за пределы данного специфического ряда, чтобы его об'яснить. Если мы берем за основной признак форму литературных произведений или форму другого искусства, как принцип данного ряда явлений, то нельзя выползать для об'яснения этого ряда явлений за этот ряд. Нельзя выскакивать за этот ряд. Это будет метафизика, мировоззрение, сопровождаемое саркастическими кавычками, или соответствующими знаками удивления и вопрошания, это есть нечто ненаучное. Это положение уже вызывает у нас не только сомнения, но и самый категорический и самый решительный протест. Я постараюсь показать здесь, что в этом положении мы как раз имеем прежде всего утверждение отнюдь не новое, отнюдь не революционное, хотя бы даже и в области литературы, а очень почтенного, очень старого возраста и абсолютно научно неплодотворное, т.-е. такое, которое мешает научному исследованию явлений и отнюдь никак его не форсирует.

Прежде всего вопрос — является ли эта постановка вопроса специфической для искусства, в частности для литературы, или нет? Конечно, она ни капли не является специфической, эта постановка очень стародавняя и ее — я повторяю — разделяют очень почтенные личности, такие почтенные личности, которые являются сейчас также анахронизмом в научном смысле слова, как целый ряд других совершенно устаревших людей. Я приведу пример из другой области, не из области искусства, где эта точка

зрения была классической, где эта точка зрения и сейчас является таковой, является мнением всего так называемого образованного общества. Это есть область права. Как рассуждают, как протестуют против марксистской теории права теоретики права, в подавляющем большинстве? Они рассуждают: право есть нечто специфическое. Предположим — они определили право, как систему норм, исходящих от существующей власти. Можно и по-другому определить. Это неважно. Но такие теоретики права — такие же формалисты, каким является Эйхенбаум в области искусства литературы в частности. Они рассуждают так же, как он. Они утверждают: нужно выделить специфическую природу права, а дальше: нужно обследовать сцепление этих отдельных звеньев юридических норм в их развитии и в этом юридическом ряду. Если мы обследуем только этот юридический ряд — мы настоящие ученые, настоящие юристы. Если мы в этом канале, которым мы себя загородили, в этом коридоре смело маршируем по юридическому ковру или по юридическим досочкам, мы всегда прекрасно поймем правовые явления в их специфической сущности. Но стоит нам на одну минуту выбежать из этого коридора и закричать: «караул, здесь душно», мы тотчас же совершаем юридическое грехопадение.

Могу выставить здесь и другую область. Религия имеет свою внутреннюю логику, безусловно. Мы можем, конечно, выстроить различные религиозные системы в один ряд, за один долгий период. Мы можем показать, как одна какая-либо религиозная система постоянно трансформируется, накопляет новые черты, превращается в другую религиозную систему, затем совершает какое-нибудь соскальзывание, затем снова превращается в какую-то другую форму. Такой ряд может быть более непрерывным, менее прерывистым, может итти совершенно прямо, может итти в виде кривой, зигзагообразно — в данном случае это неважно, — но такой ряд мы представить можем. Будет ли в нем своя закономерность и своя внутренняя логика? Безусловно, в нем будет и своя закономерность и своя логика. Будет ли здесь то, что мы выделяем в специфический ряд? Тоже будет. Но если перед нами появятся противники, которые скажут: все-таки тот, кто из области религиозной системы выпрыгивает для ее об'яснения, для ее понимания за пределы религиозного ряда, — совершает грехопадение, не скажете ли вы, что так рассуждает поп, но так не рассуждают ученые? Попы именно так рассуждают. Разве можно, по их мнению, привлечь для об'яснения божественной сущности религии какую-нибудь форму нерелигиозного содержания? Никак нельзя. Это посягательство на священную сущность религиозной системы, это есть грех против духа божьего, который не терпит, чтобы на него земной ручкой замахивались. Эта точка зрения поповская.

Если мы берем анализ юридических норм, то это есть точка зрения юридических кретинов, точка зрения, которая никуда не годится. Почему она никуда не годится? Да потому, что мы никогда не поймем этого явления, если будет так оперировать. Сумеем ли мы создать себе научное представление о религии, если мы будем вертеться только в одной области религии, а не будем ставить вопроса о соотношении этого специфического ряда с другим

рядом? Никак нет. Мы будем знать сколько херувимов, сколько серафимов, архангелов и т. д. и проч. Это мы будем прекрасно знать. У нас будет целый ряд прекрасных каталогов этих вещей, которые мы будем продавать, список составится колоссальный, и это будет очень полезно, очень интересно до известной степени, потому что научная методология предполагает очень хорошую статистику. То же самое и здесь. Хорошее конкретное изучение и составление таких списков есть вещь чрезвычайно полезная, и спасибо тем, которые занимаются, подобно трудолюбивым муравьям, собиранием такого материала. Но когда ставится вопрос, что к чему, т.-е. когда нужно понять явление во всей его сложности, то тут — извините, — тут можно задохнуться в этом проклятом одном ряду, прыгай лишь в этом ряду, из которого не выскочишь, а если не выскочишь, то не поймешь, ибо понять какое-нибудь одно явление можно только в том случае, если его сопоставить с явлениями, которые находятся в связи с этим явлением. В этом заключается понимание всех явлений в целом. Нельзя понять никакого явления, если вы не будете его сопоставлять, координировать и связывать с причиной. Словом, не только сторонники каузального метода, но и сторонники функционального и каузального методов считали, что об'яснить явление — это значит поставить его в связь с другими явлениями. Я сам был на юридическом факультете и решал всякого рода казусы из области юридического права. Никто не может сказать, что можно что-нибудь понять из области римского права, если не привлекать к делу развитие частной собственности и целый ряд других институтов, которые нашли свое юридическое выражение в нормах и в системах норм юридического права. Рецептацию римского права нельзя понять без этого. Я приведу еще один пример гораздо более решительный и более взывающий к чувствам современности. Скажем, мы хотим понять государственные формы. Мы можем построить при этом такой ряд, начиная от государства какого-нибудь Сарданапала и кончая Советской властью. Можем ли мы выстроить все государственные системы в один ряд, вытянув их в одну веревку? Правда, не без некоторого натяжения, потому что были переломы, но все-таки можно все государственные формы вытянуть в одну веревочку и сказать: в ней ничего не поймет тот, кто вылезет за ее пределы и будет апеллировать к классовой борьбе и др., такой будет метафизик. На деле же совершенно наоборот: никогда нельзя ничего понять, если будете двигаться в одном ряду. Никогда вы не поймете, что такое Советская власть по отношению к буржуазной демократии или к государству Сарданапала и что такое наш трудовой кодекс в сравнении с кодексом вавилонского царя, если вы не будете при этом искать совершенно определенного материального субстрата. Отсюда вытекает с очевидностью полнейшая неплодотворность такого конструктивного принципа, никуда он не годится, он стар, покрыт пылью, он обветшал, ему тысяча лет, и теперь этот принцип предлагают, выдвигая его в другой области, за новейшее открытие, но так как совершенно естественно, что у людей очень короткая память и так как не все знают об этих вещах, то естественно, что теперь начинается ренессанс этого метода в других областях, где он еще недоста-

точно дискредитирован и вышиблен. Его начинают обходить с тыла и заявляют претензии на его новизну. Но это никуда не годится, повторяю я.

Вообще говоря, и каталоги на что-нибудь полезны; это есть известная аналитическая работа, которая необходима для дальнейшего построения теоретических систем в одно целое, а синтез всегда предполагает анализ. Например, если вы хотите построить учение об обществе, то вы сперва изучаете одну сторону этого общества, затем ряд второй, третий ряд и т. д. Это есть материал для научного построения, которое вы приведете в связь и получите теоретическую систему. Что делают представители формального метода? Они производят аналитическую работу, которая, как таковая, как известная предварительная стадия для построения определенной теории, для будущего синтеза, вполне приемлема, и здесь можно поставить плюс. Но дело в том, что эта аналитическая работа выдает себя за новейшую теорию, т.-е. претендует на то знание, которого она заранее не может иметь. Она представляет себя в качестве синтетического построения. Такие явления в других областях есть также, например, в области науки, с которой я наиболее знаком, — это в области политической экономии; там есть точно такая же точка зрения, ее представляет Струве. Он говорит, точь-в-точь, как Эйхенбаум, что вообще это — метафизика развивать всякие теории ценностей, а политическая экономия должна быть построена на бухгалтерских принципах. Вот что есть настоящая политическая экономия. В чем же здесь ошибка? Совершенно правильно, бухгалтерия, статистика и всякие подсчеты есть чрезвычайно полезная и очень почтенная вещь в своем роде, это очень прекрасный подступ для дальнейших построений, но это есть величайший декаданс взять и считать эту бухгалтерию за теоретическую концепцию, которая должна быть построена путем восхождения на дальнейшую ступень, т.-е. путем обобщения того, что здесь дано в аналитической форме.

Можно сказать и по-другому то, что я говорю. Эйхенбаум утверждает, что всякое выхождение за этот ряд, который является специфическим рядом, есть ряд метафизики. Но это неверно. Как раз верно обратное, т.-е. точка зрения Эйхенбаума и есть специфическая метафизика. Почему? По очень простой причине. Потому, что один ряд общественных явлений, скажем, искусство, он возводит в субстанцию. То, что имеет определенное жизненное значение, совершенно определенные функции, то, что составляет определенное целое, имеет известную цель, имеет живые черты, — то выделяется в качестве самостоятельного, независимого ряда. Это — настоящая метафизика, потому что здесь зависимый ряд представляется, как субстанция, подлежащая законам своего собственного развития, которую понять можно только не выходя за пределы этой божественной сути, представляющей из себя самодовлеющее, в себе замкнутое единство. Метафизика и заключается в том, что стараются строить сущность из того, что не является сущностью. Но как вы должны действовать, чтобы понять какое-нибудь общественное явление, а никто не будет спорить, что искусство тоже не есть явление вообще, какое-то абстрактное явление, а есть явление общественное? Нужно выделить особые признаки, понять их в их особенности, собрать совершенно определенный

материал, установить особую логику и потом привести в связь с целым. Это и есть понять. Если вы этого не сделаете, вы этого не поймете. К сожалению я совершенно не знаю таких работ Бориса Михайловича Эйхенбаума или кого-нибудь другого — может быть, по своей неначитанности в этой области, — где они бы посчитались с такими вещами, как монографическая наука, или подвели бы больший теоретический базис под свои построения. Не знаю, может быть, и есть такие работы.

Общий ход моих возражений против теоретических конструкций, которые называются формальным методом, такой: правильно, что выделяется специфическое для искусства, неправильно, что нужно двигаться в одном ряду. Наоборот, только тогда можно понять это специфическое явление, если привести его в связи с не специфическим. Вот заостренная формулировка, которой я закрепляю или подвожу итог этой части возражений.

Теперь я перехожу к другой части.

В качестве специфического сторонника формального метода или формального принципа — я извиняюсь за эти оговорки, потому что я не вижу в этом тонком разграничении—метод или принцип—особой принципиальности и особого смысла для той постановки вопроса, которую я делаю, — итак, в качестве специфического признака искусства они выставляют форму, а я утверждаю, что это не форма, потому что совершенно непонятно, почему форма есть специфический признак искусства. Форма есть категория, которая свойственна целому ряду вещей. А для философии форма неважна? Конечно, важна. Для какого угодно построения чисто интеллектуального типа форма неважна? Важна. А есть здесь нечто сходное? Есть, потому что мы можем говорить относительно общности какого-нибудь логического построения. Организующие принципы есть здесь? Есть. Я считаю, что с этим понятием формы, которая не противопоставляется у формалистов содержанию, как они ни разграничивают, здесь начинается область тумана. Я говорю, что это — понятие, значимое для целого ряда других категорий. Они зато пропускают по-моему то, что является гораздо более существенным для этого ряда, для искусства. Именно то, что здесь организуемым материалом является чувственный элемент в противоположность условному интеллектуальному. Это совершенно упускается. А это есть основное. Вы можете брать какой угодно ряд искусства и какой угодно вид искусства и всегда увидите, что материал организуется в данную форму. Я сейчас подчеркиваю всю условность обозначения и различия между формой и содержанием. Существенным для искусства является эмоциональный характер материала, а где это сказано у формалистов, где это выдвинуто у них в качестве конструктивного признака? Что следует за этим? А за этим следует дальнейшее развитие ошибок, которые отсюда вытекают, потому что если бы выдвинули этот элемент, — а конструктивный признак искусства с этим элементом совпадает, — то совершенно естественно, сейчас же дается его зависимость от другого ряда явлений, от общественной психологии, от общественной идеологии, от чего искусства нельзя оторвать, это совершенно ясно видимо. Но рассмотрим этот самый основной признак, который действительно отли-

чает искусство как специфическую категорию от всех других рядов общественных явлений. Специфическое здесь как раз улетучивается, а не специфическое выводится в качестве специфического. То, что в действительности и об'ективно представляет из себя категорию, свойственную целому ряду общественных явлений и даже не только общественных, это выделяется в качестве особого признака, а то, что действительно является специфическим признаком этого ряда общественных явлений, эмоциональный ряд, это улетучивается, т.-е. мы имеем совершенно неправильную, извращенную характеристику: выделяется не то, что должно быть выделенным. Методологическое правило номер первый, то требование, которое выставляется Борисом Михайловичем, выделить специфическое — оно правильно, абстрактно говоря, но оно неправильно разрешается конструктивным теоретическим построением.

Второе замечание, которое делалось неоднократно, касается соотношения между так называемой формой и так называемым содержанием. Этот вопрос не разработан. Ежели бы он был разработан, как следует, тогда, совершенно естественно, пришлось бы опять выскочить из этого узкого коридорчика, выскочить за пределы этого узкого построения, которое дается в теории сторонников формального метода. Можно сказать таким образом: Б. М.Эйхенбаум в одном месте, не помню где, говорит, что всякая другая постановка вопроса неизбежно является схоластикой. Мне кажется, что формальный метод является как раз классическим образцом схоластического построения. Характеристика этого принципа как схоластического лежит параллельно с его характеристикой как принципа метафизического. Почему? Да по очень простой причине. По - настоящему диалектическое понимание такого явления, как искусство, есть понимание в его жизненной функции. Те, кто не понимает жизненной функции какого - нибудь явления, обязательно схоластики, фетишисты и метафизики. Вы можете выделить какое угодно явление из области общественной жизни, какой угодно кусок или ряд, но если в этом куске, в этом явлении или в комплексе явлений вы не увидите его жизненной функции, т.-е. если вы не будете рассматривать его, как некоторую органическую часть общественного целого, если не будете рассматривать его с точки зрения функции этого общественного целого, то вы тогда никогда этих явлений не поймете. Я говорил о праве. Я вернусь к этому с другого конца, потому что он является, пожалуй, еще более классическим. Это вопрос о морали, или этике. Вы можете выделить эти вопросы в один ряд, но если вы попробуете понять этику не в связи с общественным целым, разве вы не будете самым подлинным метафизиком, или разве не будет это в лучшем случае простой этический фетишизм? Наилучшее классическое выражение этого случая заключается в категорическом императиве Канта. Как можно понять этику действительно, по - настоящему научно? Только тогда, если вы сдерете с нее ее фетишистскую шкуру, если покажете ее и рассмотрите с точки зрения функционально - общественного значения. Только там это есть живая часть целого. И когда вы хотите понять часть целого, то вы не поймете ее без целого, не поймете без предварительного анализа и тем

более не поймете этого целого без последовательного синтеза. Вы не поймете никакой частицы, не выделив ее особые признаки, но вы не поймете ее, если не поставите в связи со всем комплексом остальных явлений. И когда нам говорят: первый шаг вы можете сделать, а второй не смеете, то нас тащат назад, а мы не хотим назад, потому что хотим итти вперед.

Должен в заключении остановиться на вопросе, что представляет собой формальный метод, если мы, выходя за его пределы, постараемся об'яснить этот метод с точки зрения общественно-функционального смысла. Прежде всего, такие рассуждения, как различение между формальным искусством и не формальным, я, по правде сказать, считаю ерундой. Формального искусства, как такового, в котором нет никакого содержания, и чистого искусства, которое не было бы известной общественной функцией, не бывает. Это только условное обозначение, потому что само чистое искусство есть рефлекс определенной группы, определенных условий. Постановка вопроса формалистами, это есть узкая точка зрения специалиста своего цеха, это есть теория цеховых ученых, а не настоящих ученых, потому что они не в состоянии выглянуть за рамки своего цеха, они видят только свой цех. Когда я говорил об юристах или богословах и приводил между ними параллель и между представителями формального метода, то эта параллель идет как раз по этой цеховой линии. Если мы имеем какого-нибудь специалиста юриста, то ему, конечно, с высокого дерева решительно наплевать, что существуют какие-то классы, что существует экономика, что существуют еще другие различные вещи и проч. Он подходит к этой проблеме со всеми шорами так наз. ученого, на самом деле с ограниченной точки зрения узкого цеховика. Ни один крупный, действительно выдающийся ум, который продвинул науку вперед, никогда на этой точке зрения не стоял. Наоборот, все наиболее плодотворные сдвиги в области развития науки всегда характеризовались тем, что люди выходили за пределы своего цеха, оплодотворяя своим влиянием другие области. Теперешняя наука находится в состоянии кризиса. Это совершенно ясно, и это уже начинают выражать членораздельно и об этом уже пишут, и этот кризис состоит в том, что очень многие, как раз наиболее крупные умы, приходят к такому заключению, что наука зашла в тупик. В какой тупик? В тупик специальных разработок и невозможности найти на этом пути обобщающую синтетическую точку зрения. Мы увидим дальше, что в странах, особенно в тех, которые были больше всего потрясены войной, наблюдается громадное увлечение так наз. оккультными науками. Почему? Потому, что это есть суррогат единого целого, суррогат синтеза, которого они не могут найти в рамках положительного мышления. Эти поиски синтеза, поиски сведения конца с концами, связи между различными научными отраслями, являются стержнем современных научных изысканий. А что делают формалисты? Они от этой дороги отводят нас назад. Если бы нам сказали: мы делаем предварительную известную разработку вопросов и на большее не претендуем, то тогда можно было бы их на это благословить. Тут мне скажут впоследствии, что это — первая уступка, как Б. М. Эйхенбаум писал в ответ на возражения тов. Троцкого, несколько иного типа. Он писал: вот

делается первая уступка нам. Это напоминает мне один полуанекдотический случай из моей жизни, когда я в споре в тюрьме с одним эсером сказал, что по марксистскому учению вовсе не обязательно, чтобы все крестьяне исчезли Он ответил: «первая уступка». Примерно, в таком положении находится и тов. Троцкий. Но никакой уступки тут нет. Как первый шаг, формальный анализ ценен, но это не первая и не вторая уступка. Если мы признаем такой элементарный факт, то это не спасет от краха всю концепцию. Каталог есть каталог и будет очень ценным, если вы выпишете имена некоторых английских ученых за 4 столетия, это будет очень ценный материал, но если вы этот список будете называть настоящей наукой, то это уж, извините, науку нельзя превращать в каталог.

Точка зрения формалистов — устарелая, схоластическая, метафизическая, а так как мы живем во время, которое требует полезных знаний мы не можем удовлетвориться суррогатом познания. Мы живем в эпоху, когда нетерпимы всякие цеховые точки зрения; более чем в какую-либо другую эпоху, в нашу эпоху, когда разрушается одно и строится другое, каждая величина должна быть рассматриваема с точки зрения своего общественно - функционального смысла. Это есть единственная правильная точка зрения, которая имеет глубочайший общественный базис. С этой теоретической точки зрения и с точки зрения правящего нашего класса мы можем признать, что свою служебную второстепенную роль формальный принцип играет, но мы не должны отступать от проверенного, проверенного действительно, действительно революционного и действительно плодотворного метода, который был в основных своих линиях начертан Марксом.

О группе пролетарских писателей „Перевал“.

А. Лежнев.

Это очень молодая организация: и по времени возникновения, и по своему возрастному составу. Если, например, основное ядро «Кузницы» образуют писатели, начавшие писать и печататься еще до революции, — Ляшко, Обрадович, Якубовский, Низовой, Новиков-Прибой, — то в «Перевале» мы видим исключительно молодежь, выдвинутую революцией и успевшую проявить себя, главным образом, во второй ее период, после 1920 года. Возраст — 18 — 25 лет является здесь преобладающим.

От такой молодой группы нельзя, конечно, требовать, чтобы она, в доказательство своего права на существование, пред'явила целый ряд устоявшихся, законченных писателей. Этого мы, кстати сказать, не встретили не только у «Перевала», но и в более старых об'единениях. Единственное, чего здесь можно (и должно) желать, это — талантливости и серьезного отношения к писательскому делу. Оба эти условия у «Перевала» налицо.

У «Перевала» мало законченных, выкристаллизовавшихся писателей, но много талантливой молодежи. Она еще находится в процессе брожения, роста, формирования, но это не значит, что она бесформенна. Отдельные художественные индивидуальности уже сейчас проявляются своеобразными чертами, иногда очень яркими. Артем Веселый и Ветров, Светлов и Ковынев, Акульшин и Наседкин — не все эти имена пользуются широкой известностью, но для того, кто внимательно следит за молодой литературой, все они — имена собственные, за каждым из них — определенная творческая личность, своеобразное художественное лицо. Эти имена собственные иногда хотят сделать нарицательными — и притом в дурном смысле (стихи Безыменского о Михаиле Голодном и Светлове), как пример рабочих поэтов, оторвавшихся от класса, из-за стремления стать спецами в писательском деле. Упрек необоснованный: верно, конечно, что перевальцы стараются овладеть «секретами ремесла», формой, мастерством. Они проходят стаж ученичества, понимая это выражение в самом широком смысле, и проходят, в общем, хорошо. Но ведь ясно, как день, что овладение элементами художественной грамотности, элементами культуры — первое и необходимейшее предварительное условие для того, чтобы писатель был действительно «организатором сознания», а не халтурщиком. Какова бы ни была врожденная даровитость, писатель не мо-

жет руководствоваться только тем, что «бог на душу положит», пробавляться одним вдохновением. Может быть, потому перевальская молодежь и пишет ярче, колоритнее, интереснее, чем, например, молодежь из Маппа, что она не только говорит об усвоении художественной культуры, но и усваивает ее. Правда, при этом она делает ошибки и усваивает иногда то, что не надо, но эти ошибки свойственны не одним перевальцам. Они исправимы. Известно старое правило, что нельзя выучиться ходить, не падая.

Как и в большинстве современных писательских об'единений (особенно молодых), в «Перевале» поэты сильно преобладают над прозаиками. Это довольно невыгодно отражается на альманахах группы: на каждый сборник приходится до 30 стихотворений. Такое преобладание стихов перешло к нам по наследству от первых лет революции, когда художественной прозы почти не существовало и гипертрофия стихотворной формы достигла максимальных пределов. Но то, что было естественно и неизбежно в годы кризиса, когда старая литература умерла, а новая только нарождалась, становится анахронизмом в наши дни органического роста литературы. Параллельно этому росту и росту требовательности читателя и углубления его запросов, стихи начинают все больше и больше отходить на задний план. Их читают все менее охотно, — и мы стоим теперь перед своеобразным кризисом сбыта стихов. Стихи не находят читателя. Книги, написанные короткими строками неравной длины остаются лежать на складах. Отчасти это, отчасти и другие причины заставляют писателя переходить от стихов к прозе. То же самое, вероятно, произойдет и с рядом перевальских лириков (отчасти, кажется, уже происходит).

Количественный перевес поэтов в «Перевале» не означает, однако, что проза его в забросе. Среди прозаиков находится самая крупная фигура «Перевала» — Артем Веселый. Это — один из наиболее талантливых и многообещающих пролетарских писателей вообще и, пожалуй, самый сильный и оригинальный стилист среди них. Его напряженный, стремительный стиль, в котором динамичность своеобразно соединена со сгущенно-колоритной бытовой, «характерной» речью (род динамизированного сказа), его короткая, отрывистая, задыхающаяся фраза, где глаголы сплошь и рядом опущены, бешено-быстрый темп рассказа, увлекающий читателя, как горная река, и, как горная река, образующий круговороты, пороги, страстная напряженность действия, стремление эту страстность и динамику подчеркнуть всеми имеющимися в распоряжении писателя средствами — вплоть до типографских ухищрений, до игры шрифтов, до опускания знаков препинания, резкие и сильные страсти, цельные примитивные натуры — во всем этом проявляется молодой романтизм, избыточный, полнокровный и героический, сближающий Артема Веселого с молодым Горьким. Есть нечто горьковское в его пристрастии к партизанской вольнице, в его Феньках и Илько. Это дало даже кой-кому повод упрекать Артема в идеализации махновщины. Обвинение незаслуженное: вряд ли кто-нибудь изобразил так ярко махновщину именно с ее отрицательной стороны, как это сделал Артем Веселый, выведя своих незабываемых матросов-дружков, Ваньку-Граммофона и Мишку-Крокодила, героев его

лучшей вещи «Реки огненные». «Отличительные ребятки. Нахрапистые, норовистые, до всякого дела цепкие да дружные. Насчет разных там эксов, шамовки али какой ни на есть спекуляции Мишка с Ванькой первые хваты. С руками оторвут — свое выдерут. Ну, а накатит веселая минутка, и чужое для смеху прихватят. Чорт с ними не связывайся: распотрошат и шкуру на базар. Даешь-берешь денежки в клеш и каргала». Вот как они сами описывают свое участие в гражданской войне: «Жизня дороже дорогова. Пьянку мы пили, как лошади. Денег бугры. Залетишь в хутор — разливное море: стрель, крик, вуй, кровь, драка. Хаты в огне. Хутор в огне. Сердце в огне. Цапай хохлушку любую, на выбор, и всю ночь ей восхищайся... Церковь увидишь и счас снарядом по башке щелк... Вперед жизни бежали... Так бежали: чоботы с ног зваливались...

Ой, яблочко
Да з листочками,
Иде Махно
Тай з синочкамы...

«Реки огненные» служат лучшим образчиком того, что можно назвать первой манерой Артема Веселого. Динамика стиля с его коротким дыханием, с его отрывистой фразой здесь еще не доведена до преувеличений, как в другом рассказе «Дикое сердце», где чрезмерное убыстрение, опускание сказуемых и т. д. порой затрудняют понимание написанного. Нет также в «Реках огненных», проникнутых здоровым грубоватым юмором и большой трезвостью, романтической дымки, явно ощущаемой в «Диком сердце». В «Диком сердце» и «Вольнице» первая манера Артема Веселого доведена до максимального развития. После «Вольницы» наступает резкий перелом. Артем Веселый круто поворачивает на новый путь. Он переходит к большим полотнам, к более спокойному, глубокому и шире-охватывающему действительность эпосу. Этот переход намечен в его романе, изображающем дни революции в провинциальном городе — «Страна родная», еще нигде не напечатанном, но отрывки из которого автор читал на собраниях «Перевала». Трудно судить, конечно, по этим отрывкам о вещи в целом. Пока с уверенностью можно сказать только одно: Артем Веселый не остановился на достигнутой точке мастерства, но продолжает непрерывно развиваться дальше. От крутости и внезапности поворота происходят недостатки новой вещи: новая стилистическая его манера не достигла еще яркости прежней, она несколько тускловата, но по типу своей организации выше, синтетичнее первой. Обширный материал еще не совсем подчинился писателю, он еще им владеет. Вещь (пишущему эти строки известны 7 глав из 12) как будто лишена композиционного единства. В романе явно пробивается сатирическая струя. Некоторые главы очень удачны (рапорт инструктора, спектакль).

Артем Веселый — самый талантливый прозаик в «Перевале». Ветров, автор повести «Кедровый дух», помещенной в первом сборнике группы, не имея стилистической самобытности Артема, обладает все же рядом хороших данных. Это — умный, здоровый писатель, крестьянского толку, рассказы-

вающий о деревне не торопясь, медленно, вдумчиво, задушевно. У него склонность к лиризму, он часто вставляет в ткань произведения лирические описания природы, которые должны создавать «настроение» (здесь слабая сторона писателя). Сибирская деревня во время революции, ее своеобразные нравы и обычаи, отношение к Советской власти, кулацкие восстания, словом, ее «война и мир» показаны автором отчетливо, без излишних нажимов и подчеркиваний и связаны в одно целое узлом истории любви техника Иванова и крестьянки Вари (город и деревня?), рассказанной с мягким, но и чрезмерным, многословным лиризмом.

Костерин, выпустивший книгу «На изломе дней», находится еще в процессе нащупывания пути к самовыявлению. Достижения даются ему трудно, он растет медленно и каждую позицию должен брать с бою. Едва ли не большая часть его вещей посвящена Кавказу. Некоторые из них производят довольно сильное впечатление, — например, «Перевал», — но есть рассказы, как «Ассир-абрек», отличающиеся крайней безвкусицей («Его мятежная душа искала свободы, тешилась веселой абрекской игрой среди станиц... а Нанта? Нанта не любила джигита» и т. д.). Путевые его очерки «На Чечне», помещенные во второй книге альманаха «Перевал», написаны уже гораздо проще и — если можно так выразиться — с большим литературным достоинством, интересны по содержанию.

Среди совсем молодых прозаиков «Перевала» надо отметить А. Платонова. Он находится под сильным влиянием Арт. Веселого — не только стилистическим. Он умеет писать занимательно, интересно — достоинство далеко не маловажное. Неизвестно, конечно, почему его «Броневые отвалы» названы именно так, — с равным успехом можно было бы подобрать еще дюжину звучных и не имеющих касательства к рассказу заглавий, — но читаются эти «Отвалы» легко — и вещь не пустая.

Если мы перейдем от отдельных прозаиков «Перевала» к его прозе в целом, и захотим характеризовать ее тенденции, ее направление, ее особенности, то мы должны будем определить эту прозу, как реалистически бытовую. При чем особенно большое место уделяется изображению деревни (Ветров, Сергеева, Федоров, Ряховский, Путешественник), деревни новой, взбудораженной и пересоздаваемой революцией. Больших художественных обобщений мы в этой прозе — за исключением Артема Веселого — не увидим, но не увидим и идеологических уклонений, по крайней мере, сколько-нибудь крупных. Это — не очень глубокая, но здоровая, ровно растущая литература. Ей, пожалуй, нехватает темперамента, того темперамента, которого так много у Артема.

Иную картину представляет собой перевальская лирика. Она темпераментней и ярче. Большинство перевальских талантов ушло именно в лирику. Там — Светлов, Ясный, Голодный, Наседкин, Ковынев, Василенко. У лириков видна более тщательная работа над формой, они глубже прозаиков. Но именно они навлекли на «Перевал» больше всего упреков в идеологической невыдержанности, в мелко-буржуазности и т. д.

В чем же здесь дело?

Если попытаться одним словом формулировать то первое и основное впечатление, которое производят стихи перевальских поэтов — в отличие от многих и многих других, — то этим словом будет искренность. До конца и безусловная. Перевальцы не декламируют, не показывают только парадные комнаты своего я, не заслоняются вывеской. Мир эмоций всегда отстает от сознания. Рожденье нового человека происходит не сразу и трудно. У поэта есть два пути для выявления этого нового человека. Он может подойти к своей задаче поверхностно, показать поверхность сознания, то, что я назвал парадными комнатами. Это—самый легкий путь, с минимальной опасностью уклонов — и на него чаще всего ступают. Но есть и другой путь, несравненно более трудный, зато и более ценный: показать, как новое, пролетарское мироощущение, новый строй чувств и навыков борется внутри человека с ветхим Адамом традиционных привычек, настроений, вкусов, с налипшими на пролетариат наслоениями прошлых веков, с отпечатками, оставленными в его душе господствовавшими классами (ведь и сейчас еще сохраняют свое значение слова Маркса, обращенные к пролетариату: «Вы должны 15, 20, 50 лет вести междоусобные и международные войны — не только для того, чтобы изменить внешние условия, но и для того, чтобы изменить самих себя»), как шаг за шагом этот новый человек пробивает себе дорогу, соскребает наслоения прошлого, стирает его следы. Этим путем идет — по крайней мере, старается итти — «Перевал». Но, конечно, на нем на этом пути, опасность уклонов гораздо сильнее. Здесь легко сорваться — и, надо признать, — перевальцы иногда срываются. Искренность легко превращается в желание, — а потом и привычку — выворачивать себя наизнанку. Эта болезнь самовыворачивания есть кое у кого из перевальцев (Светлов, Ковынев) и с ней, конечно, надо бороться—в первую очередь тем, которые ею больны— бороться против нездоровых настроений, против прорывающегося порой пессимизма. Следует, словом, взять себя в руки. Но тем, которые так охотно хихикают по поводу «грехопадений» перевальцев, следовало бы быть осторожнее. Ведь они часто только потому имеют возможность выступать в роли незапятнанных судей, что сами боятся быть откровенными, искренними до конца. И если бы они писали с такой же искренностью, как перевальцы, то кто знает, какие песни мы бы от них услышали. Конечно, вовсе не всякое настроение надо обязательно перелить в стихи. Некоторые следовало бы лучше подавить в себе: и в интересах автора, и в интересах читателей. Но это не значит, что нормально такое положение, при котором поэт и его внутренний мир — сами по себе, а стихи — сами по себе, и связь между ними едва ощущается. Вот если бы эти поэты ступили на тот трудный путь, по которому идет «Перевал», и на нем бы не оступились — они бы имели право на превосходство. И мы все-таки считаем, что, несмотря на срывы и уклоны, допущенные перевальцами, которые следует признать и с которыми им надо бороться, дорога, выбранная ими, — правильная. Это — тот путь, который отличает поэта от ритора и декламатора.

Одной из самых характерных фигур «Перевала» является Светлов. В нем скомбинированы типичные для «Перевала» достоинства и недостатки. Это —

поэт умный, со склонностью к тому, что называют лирикой мысли. Он обладает ценным свойством обобщения своих чувств и переживаний; в них он выделяет то, что делает их характерными для целой группы и даже эпохи. С одной стороны он еще связан с прошлым, с еврейским бытом и традициями, с поэзией синагогальных сумерок, со старым ребе, который

Глупей, чем ребенок,
И умней, чем лорд Керзон.

С другой стороны он начинает отходить от прошлого, преодолевать его, синагогальная романтика блекнет, рассеивается — и поэт уже готов, «если надобно, седую синагогу подпалить со всех сторон, и старый ребе умирает под упавшей стеной синагоги». Светлов явственно чувствует власть прошлого — и старается от нее освободиться. Он четко сознает борьбу старого с новым в своей душе, он знает, что отстал от деда и еще не пристал к внуку, но он знает также, что он есть тот мост, который ведет от деда к внуку. Он чувствует свой «высокий рост», и пусть теплушка, в которой он едет, разбитая, это все же теплушка в поезде истории, который мчится вперед:

Но становится теплушка доброй,
Но в груди моей радость иная,
Если деда звериный образ,
Если внука железный образ
Мне буденновка заслоняет...

Понимаю, в чем мое дело,
Узнаю, куда я еду:
Пролегло мое длинное тело
Перешейком меж внуком и дедом.

Но поэт — сын того народа, в котором национальная обособленность проявилась особенно сильно; история обвязала его руки добавочными крепкими путами. Даже тогда, когда он наедине с любимой «девушкой чуждого племени», его глазам представляются картины унизительного прошлого и снова бередят больную чувствительность человека угнетенной нации:

И мне кажется земля моложе,
Сверху небо, внизу зима
И на снежном бездорожьи
Одинокая корчма.

Дед мой мечется от стойки к пану
И от пана к стойке назад.
Пан на влажное дно стакана
Опустил свирепеющий взгляд.

И я вижу в любимом взгляде
Женских глаз голубей степей,
Как встает их разбойный прадед,
И веселой забавы ради
Рвет и треплет дедовский пейс.

Но эти картины не пробуждают в нем гнева, злобы, недружелюбия:

Оттого ли, что, должно быть,
Кровь меняется каждый век,
Оттого ли, что жизнь моя отдана
Дням беспамятства и борьбы,
Мне, не имевшему родины,
Прошлое легче забыть.

Эти слова показывают нам, какая огромная разница между эмансипирующимся от национальной ограниченности буржуазным поэтом, вроде Фруга, и Светловым. Светлова к забвению прошлого, к интернационализму привела революция, «дни беспамятства и борьбы», рабочая солидарность, заводы, которым посвящено им столько влюбленных, хотя и не всегда удачных, строк.

В последнее время у Светлова все явственней пробиваются ноты грусти, уныния. Есть они в его поэме «Ночные встречи», первая часть которой в художественном отношении очень не плоха (вторая, сатирическая, написанная под Гейне, удалась гораздо меньше), есть и в стихах, посвященных Н. Кузнецову. Ноты уныния, ноты сожаления о минувшем времени, о периоде военного коммунизма, когда все было проще, героичней и понятней.

Вряд ли можно короче и ярче определить Светлова, чем сделал он это сам в одном из своих произведений:

Я в гражданской войне нередко
Был веселым и лихим бойцом,
Но осталось у меня от предков
Узкое и скорбное лицо.

Светлов — со стороны формы — развивался под преимущественным влиянием Тихонова (да еще Гейне). Под тем же тихоновским влиянием рос, как поэт, и Ясный.

Ясный бодрее, резче и проще Светлова. У него больше задору и, пожалуй, молодости. Он пишет более неровно, чем Светлов, и у него нет той ясности мысли, которая присуща Светлову, и потому его «умные» вещи выходят несколько темными. Этим страдает и одно из его лучших стихотворений, помещенное в «Красной Нови» и написанное сильным и энергичным стихом, показывающим, как вырос Ясный, как поэт:

Проверенная, что часы
И, как часы, заведенная в вечность,
Гудит от звезд до утренней росы,
Гудит земля тяжелым шагом человечьим.
И отданы: ночам звезда
И крылья дням, чтоб улетали птицами.
А нам даны: жестокая страда
И радость, что ночами только снится.
И верные даны глаза,
Чтоб не глядеть глазам назад.
И черная цветет трава
На буйных крепких головах.

И руки наши—соль земли
Травою рыжей поросли.
И ноги. Пара крепких ног:
Им позавидовал бы бог.
Даны еще крутые лбы,
Чтоб лбами стены прошибить.

Талантливый и совсем еще молодой Ковынев стоит в самом начале своего поэтического пути. У него густой, образный стих и, несмотря на крайнюю молодость, ясно уже обозначенная индивидуальность. Он — под сильным — и формальным и идеологическим — влиянием Есенина (вообще. Есенин на-ряду с Тихоновым, является тем поэтом, который оказал особенно сильное влияние на «Перевал»), но вносит в есенинское много своего. Его революционность гораздо ярче и определеннее; во имя грядущего готов он

Горы несть
И сотни лет стоять на карауле.

Но так же, как и Есенин, он — в грусти о деревне, он не может сжиться с городом, его тянет к лопухам, к вишневым закатам, к еловому шуму:

Я помню день, заброшенный в когда-то,
Я помню край, заросший в лопухи,
Где в тихий звон вишневого заката
Пролепетал я первые стихи.
Я помню лес и старую берлогу,
Что одиноко мается и ждет,
Еловый шум, березку у порога
И на опушке волчий хоровод.
Я с детства самого на сердце прячу
Об этом домике в леску
Мою привязанность собачью,
Мою, как лес мохнатую, тоску.

Но его грусть разче, определеннее, мрачнее, чем у Есенина. Волчий хоровод — не случайный образ. Ковыневу явственно звучит голос «четвероногих прадедов», который зовет его от городов, от людей — к одиночеству и лесу:

Волчий вой мне все-таки милей
Моей родной членораздельной речи

И он признается:

Я чувствую теперь,
Что я и впрямь диковинный калека.
В моей груди ворочается зверь,
Четвероногий прадед человека.

«Волчий вой» и «четвероногий прадед» знаменуют собой апогей этого столь несовременного и несвоевременного романтического протеста против города, культуры, общества, протеста, запоздавшего, по крайней мере, лет на сто Из него давно уже выветрилось всякое положительное содержание, и очень жаль, что поэт с такими прекрасными данными, как Ковынев, мог, хотя бы и на короткое время, стать жертвой таких крайних — и вредных — в своей

антиобщественности настроений. Нам кажется, впрочем, что поэт уже выходит из этой полосы. Само ж по себе характерное для Ковынева тяготение к природе, к простоте и естественности, если его освободить от крайностей, не представляет собой ничего плохого. Оно толкает иногда поэта к созданию превосходных вещей, как, например, «Заячья любовь», конец которой, к сожалению, несколько испорчен обычным промахом Ковынева: ему мало картины, надо к ней написать об'яснительный текст, присочинить, так сказать, мораль басни.

Мы выбрали Светлова, Ясного, Ковынева, как 3-х наиболее типичных в своих достоинствах и недостатках фигуры перевальских лириков. Конечно, ими далеко не исчерпывается вся лирика «Перевала». Нам пришлось оставить в стороне ряд несомненно интересных авторов, как Михаил Голодный, наиболее городской и пролетарский из перевальских поэтов, — Василий Наседкин; с его уверенным, спокойным, торжественным и несколько холодным стихом, Кауричев, Скуратов, Зарудин, Дементьев, 18-летний Джек Алтаузен с его красочными сибирскими вещами и др. Подробное рассмотрение всех этих расширило бы слишком намеченные рамки статьи.

В заключение скажем несколько слов о самом ярком представителе крестьянского крыла в «Перевале», о Родионе Акульшине.

Как лирик Акульшин стоит невысоко. Его сила — в тех небольших эпических вещах, которые посвящены изображению крестьянской жизни. Написаны они стихами, большей частью без рифмы — порой классическим элегическим размером, как у Радимова (чередование гекзаметра с пентаметром), порой другим каким-нибудь протяжным размером (анапест, 5-стопный хорей). Это — всегда почти жанровые картинки, иногда с сильным выступанием анекдотического элемента, написанные с большим вкусом и чувством меры. Для Акульшина не существует неприемлимых, рискованных, непоэтических тем и положений: он рассказывает и о том, как крестьянка рожает, и как бабы ищут друг у друга в голове — и все это у него выходит просто, ненарочито, естественно. И старая и новая деревня, и старики, сватающиеся к вдове Апросинье, кидающие жребий, кому она достанется, — а ей все равно, тот хорош, кто «скорей легистрацию справит», и синеглазый подпасок Иван, который на «дудках выводит» то, что бабы зовут «терцанал», и незадачливый жених «комиссар лягушиный» — все у него показано умно, с несомненным юмором и темпераментом. Он темпераментнее Радимова, влияние которого (да еще, быть может, более отдаленное Гете — «Герман и Доротея») сильно чувствуется.

Современные актеры.

П. Марков.

М. А. Чехов.

1.

Казалось, что этот актер предназначен для Достоевского. Так, по крайней мере, следовало из его первых выступлений. Он появился в Художественном театре в двенадцатом-тринадцатом году, когда театр приближался к пятнадцатилетию. Первый гул разрушения былого единства явственно слышался в театре. Чеховский цикл был завершен. Театр, порою прорываясь к классикам, шел под знаком Достоевского и психологических изысканий. Мучительство психологического эксперимента становилось неот'емлемым от переложенных для сцены романов Достоевского или воплей Андреева и Юшкевича. По существу линия классического репертуара и линия Достоевского в Художественном театре не совпадали; они шли параллельно, не покрывая одна другую. Классицизм, впрочем, уступал остроте психологического проникновения в вопросы душевных противоречий. Их очень любил Худож. Театр, и Горький, бурно протестуя против инсценировки «Бесов», многое верно учуял в роковом ходе его развития. Высшие достижения театра были в те годы в Достоевском; они же грозили опасностью — из области психологии перебросить в область душевной патологии. В эти-то годы Чехов начал выступать в Художественном и его Студии. Поскольку театр шел «под знаком Достоевского», — тень от этой линии падала и на Студию. В Художественный Чехов пришел, окончив обычную театральную школу (Суворинскую в Ленинграде) и недолго поиграв на подмостках Суворинского театра. Его сценическая деятельность целиком связана с Художественным Театром и его Студией.

Чехов еще не был одним из знамен современного театра и еще не встал в первые ряды Художественного, когда обнаружил отличающие его от других актеров черты восприятия основной репертуарной линии Достоевского. То, что в других актерах казалось жирным и подчеркнутым, в исполнении Чехова казалось острым и пронзительным. То, что в других передавалось средствами обнаженного и нарочитого воздействия на зрителя, Чехов делал легким и прозрачным. Дело лежало в особенных качествах его актерской индивидуальности. Первые сыгранные им роли не рвали с установившейся

традицией Достоевского, но переводили ее в иной, более волнующий и для зрителя неожиданный план. Неважно, что в списке его ролей нет ролей Достоевского. Первая Студия, ставя «Праздник Мира» Гауптмана, «Гибель Надежды» Гейерманса, «Потоп» Бергера, смотрела в отраженное зеркало идей и чувств Достоевского, а Чехов, играя пьяненького Фрибэ, конусообразного старичка Кообуса или спекулянта Фразера, к его проблемам и ощущениям прикасался совершенно несомненно.

Многое было мучительно в его игре. Он заставлял зрителя болезненно волноваться, и вместе с тем лирическое начало, тесно связанное с его актерским образом, умеряло мучительность. Доля патологии в его первых выступлениях несомненна. Он нес некоторое «оправдание патологии». Чехов играл «странных» людей — во многом необычных и вырывающихся из обычного круга: он играл всегда и неизбежно «человека навязчивой идеи». Все его герои — будет ли то дряхлеющий игрушечный мастер Калеб, обманывающий дочь и лгущий ей ради ее счастья; неудачный биржевой игрок Фразер, увлеченный мечтой о деньгах; провинциальный юноша Митя, мечтающий о Петербурге, — все его герои равно уязвлены и подхвачены одною, пронзившей их мозг, неотразимо наполнившей их существо идеей. Со стороны они должны казаться чудаками и их возбужденное устремление — чудачеством. Так они и написаны авторами. Чехов обычно смотрел сквозь автора — им овладевало жадное стремление проникнуть к самому зерну, к самому существу образа через сплетение его физиологических, нравственных и иных качеств. И, найдя скрытое зерно, которое заставляло героя действовать, Чехов неудержимо и стремительно бросал его в зрителя.

Самое наличие навязчивой идеи в человеке приносило оправдание людям, которых он играл. В манере, с которой он подавал зрителю свои первоначальные образы, два приема обличали сущность его художественных намерений. Образы часто оставались противоречивыми. Сплетая мучительное самоисследование с подводною лирическою струей, всегда взволнованные и болезненно чувствительные, они подчас казались обнажением качеств современного упадочного городского человека. Но Чехов принес в н е з а п н ы й в з р ы в страстей, который разрывал привычную ткань роли, и вдруг — за пьяненьким слугой почтенного немецкого семейства или за одним из многих тысяч американских граждан — показывал первоначальные, стихийные ощущения: это был взрыв воли, острый удар, разоблачающий истинное лицо ущербных людей. И в т о р о е — то, что придавало им болезненность и обостренность: внезапно люди, увлеченные навязчивой идеей, смыслом и целью своего существования — теряли или ощущение своей связи с окружающей действительностью и растерянные мучительно пытались вернуться к ней и понять ее — так, как это происходит с Мальволио и его эротическими мечтаниями;—или, наоборот, они внезапно забывают и теряют свою сквозную нить, знание своей идеи и тщетно ищут вернуть ее себе, мучительно ловят ускользающее зерно сознания, как будто происходит с людьми какой-то «з а с к о к», и они принуждены внезапно, но совершенно неотвратимо раздваиваться в тщетных поисках своего собственного «я». Колебания этих двух приемов—одного пря-

мого и ясного по своей смелости и полноте, второго — болезненного и раз'едающего, но до конца волнующего—и создают основной, играемый Чеховым собирательный образ его первоначальных героев. Патология сменяется обнаружением подлинно человеческих качеств, а за смешной или жалкой, трогательной или наивной «навязчивой идеей» раскрывается воля и страсть человека.

«Идея» властвовала над ним нераздельно. Мечта о Петербурге, жажда наживы, волнующее любопытство, любовь к дочери, эротическая мечта подчиняли человека. Чехов, видимо, очень любил и жалел играемый им образ. Он смотрел на него ласково, с улыбкой, немного иронической, немного грустной — иногда даже с усмешечкой. Он был способен в самые серьезные минуты всецело подчеркнуть бесплодность их мечтаний и показать их в комическом виде. Он как будто вполне разделял с героями наличие в них «идеи», но не особенно соглашался с некоторыми из них, предположим с американским ажиотажем Фразера. Наличие «идеи» было серьезным и важным обстоятельством, содержание ее было спорным и очень часто смешным. Страдающий Фразер, затравленный Фразер, неудачливый Фразер, озлобленный и патетический Фразер, жалкий, бедный Фразер, которого Чехов любил нежно и сострадательно — поступал глупо и смешно. Благородный и еще более страдающий Калеб из Диккенсовской сказки скрывал истину от дочери неумело и беспомощно. «Идея» делает героев Чехова одновременно и сильными, и беспомощными. Она воодушевляет их и дает им силу жизни; она же неотвратимо подчиняет их себе.

В зависимости от основного качества Чеховского образа лежат и приемы игры. Чехова часто обвиняли в «истерии» и в «неврастении». Может быть, это и б ы л о так. Но так же часто за «истерию» принимали основной музыкальный тон его исполнения — тон тревоги и ожидания, — который не мог не передаваться зрителю и не мог не волновать часто очень мучительно. Повесть о «странных людях», о людях, уязвленных «навязчивою» и блещущей им «идеей», Чехов передавал с предельною внутреннею правдою и неожиданными внешними приемами. Этот человек среднего роста, с нервным и нежным лицом, с иронически-ласковой и острой улыбкой, с матовым звуками глухого голоса — внезапен и дерзок на сцене. Он балансирует между трагическим и комическим. Он смело перебрасывает зрителя от смеха к слезам — и, вызвав радость, сменяет ее едким ощущением жалящей печали. Жонглируя чувствами, он творит своеобразную сценическую психологию и логику. У него есть особенные способы для передачи основных качеств образа. Он наделяет своих героев «затрудненным восприятием». До них медленно и туго доходит все то, что не связано с их основною идеей. Мальволио многократно переспрашивает приказания, тяжко проникая в их простейший смысл. Первоначальный комический прием действует у Чехова неотразимо. У него особая манера говорить: он внезапно «выпаливает» не слова. а звуки; звук разрыва тесно сомкнутых губ окрашивает речь; иногда кажется, что речь и слова живут сами по себе и актер, или играемый герой, не волен удержать слова, которые сейчас польются из его уст. Необыкно-

венно подвижный, знающий законы водевиля, — он как бы танцует иные из ролей. Легкость тела — отнюдь не акробатическая и отнюдь не пластическая — доведена до предела. Точно так, как иногда представляется: слова, звук владеют этим человеком, так иногда представляется: жест, движения владеют им. Неожиданно вылетает вперед правая рука, в комических ролях явно обнаруживая несоответствие своего положения с остальными частями тела, — и все они вдруг приходят в движение, каждая действуя за свой риск, поступая по своим законам, не подчиняясь законам движения всего тела. Такая же мимика: настороженное внимание. любопытствующие глаза, сомкнутые губы, внезапный поворот: — равнодушие, далекий взгляд.

В таких приемах лежало зерно великолепного мастерства, которое сочетало в его лице лучшие достижения современного русского театра и которое до конца вскрылось в следующих ролях. На ранних его созданиях лежала печать ущербности и духовной неполноты. Точно сквозь ткань легкой патологии проступали странные очертания его героев. Полные юмора образы Чехов прорезывал остротою трагического гротеска, а трагическое освещал насмешливо-иронической улыбкой. Он был одновременно жесток и ласков, суров и нежен. В его героях всегда была некоторая болезненность. И Чехов беспощадно обнажал их душевные раны. Во всех самых юмористических ролях нота страдания неизбежно, скрытно, но настойчиво и непрестанно звенит. Иногда от его исполнения рождалось ощущение — как будто слышен звук треснувшего и разбившегося стекла. Он оправдывал страданием, болью, сосредоточенною радостью, скрытою «идеею» играемые, почти патологические всегда странные образы.

Так говорила в нем эпоха. Он сосредоточил лучшие из того, что в области этической (вопрос о страдании, об «униженных и оскорбленных») давала интеллигенция. Но закрывать глаза на ставшие перед ним опасности было невозможно. Чехов был актером романтической иронии и лирического пессимизма. Почти все названные роли созданы в эпоху войны. Их разорванная болезненность могла толкнуть Чехова на путь патологии. Этого не случилось. Некоторое время он, казалось, стоял на опасной и колеблющейся грани. Новые роли, созданные в последующие годы, открыли и новые в Чехове черты, ранее так ясно не различимые: Чехов сыграл Хлестакова и Гамлета.

2.

Чехов — актер единой темы. Среди актеров он то же, что Блок был среди поэтов, а Вахтангов — среди режиссеров. Не напрасно его имя тесно связано с Вахтанговым. Долгое время их творчество шло совместно. Как Вахтангов, переброшенный к трагедии «двух миров», болезненно переживал пришедшую революцию, так Чехов в годы революции укрепил свой художественный путь. Вместе с Вахтанговым в годы 18—20-ом они искали лица своего театра. Революция заражала поэтов и художников интеллигенции в те годы или как эстетическое явление, или как взрыв стихийных сил, почти космического порядка. Социальное ее значение и смысл отходили на второй

план перед разрушительной ее силой, направленной против всего, что, в свою очередь, ненавидели художники и мастера. Положение Вахтангова — человека «между двух миров» — повторяю положение Блока. Жизнь была переведена в иной, более высокий план, как это ранее мечталось художникам: они были наконец-то вырваны из плоскости утонченных и межличных проблем. Немногим был под силу переход к годам реальной и практической работы. Между тем революционный взлет должен был дать закал для работы. Оттого многое в искусстве тех лет было смятенным, противоречивым. Так играл «Эрика» и Чехов. Идея постановки пьесы Вахтанговым лежала в раскрытии «обреченности» королевской власти. Чехов играл человека, находящегося во власти чуждых ему сил. Он играл метание человека, услышавшего тяжелую поступь посторонней силы. Тему пьесы он распространял за пределы вопроса о «королевской власти». Это был явный крик человека, очутившегося «между двух миров», знающего роковой конец, тщетно ищущего выхода. Вахтангов так характеризовал образ: «то гневный, то нежный, то простой, то протестующий, то покорный, верящий в бога и сатану, то безрассудно несправедливый, то безрассудно милостивый, то гениально сообразительный, то беспомощный и растерянный, то молниеносно решительный, то медлительный и сомневающийся,—он, созданный из контрастов, неотвратимо должен уничтожить себя. И он погибнет». «Пылкий поэт, острый математик, четкий художник, необузданный фантазер обречен быть королем». Чехов уничтожал Эриком предшествующих героев. Он подводил им итог, завершая первый период своего пути. Вместе с режиссером он нашел четкую и обостренную форму: огромные и тоскующие глаза на тонком удивленном лице, тонкие руки и ноги, выскальзывающие из серебряной одежды, голос то резкий, то нежный, — внезапные взлеты и срывы движений, мгновенный упадок после взрыва сил: — это было изображение человека, потерявшего себя, подчиненного чуждой силе, с которой напрасно бороться и против которой бесцельно кричать. Так же, как в прежних ролях — страдание героя было обнажено и подчеркнуто, он волновал болезненно и мучительно тоскливой безнадежностью своего взгляда. Эрик был бессилен, беспомощен — игрушка в руках стихийных сил, встреченных им в переходах и коридорах дворца и разбуженных внутри него самого. Эти два взрыва как бы раздавили и уничтожили его.

Так рисовал Эрика Чехов. Художник мог перегореть в пожаре разбуженных чувств и ощущений, — как перегорел Блок, как горел Вахтангов, Чеховский Хлестаков повернул путь Чехова по новому направлению. Его Хлестаков был эстетическим разрешением патологии и болезненности, которая дошла до предела в «Эрике». Сумасшедший гротеск «чиновника из Петербурга», неожиданно явивший фантасмагорическое лицо человека «ни сё, ни то», принятого за ревизора, как будто утвердил на сцене символическое воплощение Хлестакова, как «ветреной, светской совести, продажной, обманчивой совести» — толкование, предложенное Гоголем и поддержанное позднейшими комментаторами. Толкование зависело от восприятия зрителем. Важнее для пути Чехова было то, что он окончательно поднялся над патологией и освободился от нее. В том, как он играл Хлестакова, было «упое-

ние игрой», радость игры, сосредоточение торжество победителя над преодоленным материалом. Как актер Чехов стал мастером и хозяином самого себя. Такого овладения техническим совершенством давно не приходилось встречать на русской сцене.

В конце концов ритм Хлестакова в какой-то мере повторял ритм Эрика. Напрасно думать, что символическая основа исполнения Чехова оторвана от реальной жизни; его Хлестаков крепкими цепями прикован к густоте быта, вырастает из него, как некоторое обобщение. Создавая Фразера, Калеба, — Чехов лепил индивидуальный образ; создав Эрика и Хлестакова — Чехов вылепил обобщенный тип. В прежних ролях окончательного преодоления ущербного «психологизма» Художественного Театра не было. Хлестаковым Чехов преодолел и убил комнатный психологизм. То, что в Эрике звучало болью и казалось обнаженною раною, — в Хлестакове дано как высокое мастерство. Это было полное выражение Гоголевского замысла: «Молодой человек лет двадцати-трех, тоненький, худенький», «говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста и слова вылетают из его уст совершенно неожиданно». Чехов показал в роли «чистосердечие и простоту», как требовал Гоголь— и «тем более выиграл». В последний сезон его исполнение вырастает до предела монументального. Когда в сцене опьянения он вскрикивает: «Петербург!» — когда он, меняя традиционное ударение, упоенно повествует о «тридцати-пяти тысячах о д н и х курьеров»—кажется, что вольный порыв неожиданной фантазии овладевает Хлестаковым и бросает его в ранее ему неизвестные широкие просторы жизни. В Хлестакове Чехов показывает Эрика с другой стороны. Этот «несколько приглуповатый молодой человек»—«один из тех людей, которых в канцелярии называют пустейшими», находится как игрушка во власти неожиданной, разрушающей привычные логические и психологические построения, фантазии. Для Эрика и Хлестакова существенна их пассивность, их безвольность, их подчиненность вне их лежащему началу. Эрик подчинен силе исторической необходимости, роковой и неизбежной гибели; Хлестаков подчинен неожиданным велениям фантазии, заставляющей его броситься к ногам Анны Андреевны, к ногам Марии Антоновны, принять позу важного человека. В «Эрике» тема роковой подчиненности человека стихийным взрывам взята в плане трагического гротеска; в Хлестакове — в плане гротеска комедийного, почти фарсового. «Романтическая ирония» освободила Чехова от паталогии, и востроносенький, быстрый и внезапный «чиновник из Петербурга» «в партикулярном платье» «вертопрах», неожиданно заехавший в уездный городишко, откуда «хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь», и так же внезапно умчавшийся по российским дорогам в Саратов — этот «вертопрах» окончательно перевел творчество Чехова в план обобщения и внутренно наполненных образов. Исполнение Хлестакова шло привычным для Чехова путем — отображения в «малой капле» вод большой темы; но свобода творческой изобретательности, упоение актерской игрой и сила театра оздоровили то больное и страдающее, что было в Чехове. Но в одном отношении круг оставался замкну-

тым — Чехов продолжал играть послушного или протестующего, но неизбежного «раба» страстей или судьбы, и его герои были подчинены и пассивны.

После двухлетнего перерыва без новых ролей Чехов показал Гамлета. Такой Гамлет, как его сыграл Чехов, мог появиться только в после-революционные годы. Может быть и даже наверное — эстетически это наименее законченное и гармоничное исполнение Чехова. Стройности, которая есть в Хлестакове, или холодной графики, которая была в последних спектаклях «Эрика», — нет в «Гамлете». Много пустых мест и провалов смущают зрителя. Самое обращение Чехова к трагедии, к которой он не подготовлен внешними данными: — небольшим ростом, срывающимся голосом, нервностью жеста — вызывало у многих протест. Мы видели, конечно, полный разрыв с каноническим Гамлетом. Те, кто ждал принца Возрождения и веяние эпохи Ренессанса, справедливо разочаровались. Однако ни разу тема Чехова не была воплощена с такою силою и некоторою для Чехова необычностью; вне-эстетическая ценность его исполнения значительнее его эстетических рамок.

Гамлетом Чехов разоблачает себя. Он прочитывает Гамлета по-своему, не особенно считаясь с предшествующими сценическими комментаторами. Как и все роли, он строит Гамлета, исходя из конкретной личной судьбы датского принца. Личная трагедия как будто выдвинута на первый план. Страдания человека, узнающего в отчиме убийцу отца, окруженного толпою придворных, окутываемого клеветою и ложью, ведут постепенно и неотвратимо к основному вопросу о борьбе за освобождение человека. Рационализм и раздвоенность Гамлета приведены к единству; Гамлет Чехова неотвратимо д о л ж е н действовать. Убийство Клавдия Чехов оправдывает из глубоко этических начал. Это — трагедия человека, который при всей боли и ненависти к убийству его совершает, сознавая долженствование убить. Оттого — его исполнение, чрезвычайно конкретное, переводит решение этических вопросов из отвлеченно-метафизического плана в план вполне реальный. Вместо раздвоенной слабости и безволия — Чехов пронизывает Гамлета волею и жаждою действия. Как во всех ролях — более, чем в других ролях — звучит в Гамлете боль и отзвук на страдание человека. Его принц непохож ни на удивленного и изящного Гамлета Моисси, ни на монашествующего и рационалистического философа Качалова, ни на ядовито-ироническогo Самойлова. Бледные волосы лежат некрасивыми и прямыми прядями; глаза — глядят остро и тоскливо; порою — как сыщик — пытливо и насмешливо следит за Полонием; порою гневно и презрительно бросает слова обвинения матери; как подводная лирическая струя живет в его Гамлете — любовь к людям и к каждому реальному человеку — даже к изменившей и предавшей отца — матери, и, как взрыв стихийных сил, как вылет из роли, навстречу зрителю — звучат иные из его монологов.

Чехов разорвал замкнутый круг. Он пришел к созданию обобщенного образа, одновременно вполне реального и наполненного активною волею. Он крепко держит разящий меч в бледной, слабой руке. Гамлет об'ясняет многое в раннем творчестве Чехова: и болезненную чувствительность его

прежних героев, и двойное переплетение страдания и смеха, в освещении которого они показаны, и преувеличенную заостренность его сценических форм. В Гамлете он появился до конца собранным и внутренне наполненным. Повесть Чехова — повесть Блока и Вахтангова. Может быть, такого Гамлета не примет будущее. Но сейчас т а к о й Гамлет свидетельствует о последних годах России. Чехову, чтобы так сыграть Гамлета, нужно было совершить трудный художественный путь — от бьющихся в тоске и ожидании людей, от тревожной жажды, «оправдания жизни» — до звенящего лирическою болью и сурово преодолевающего боль Гамлета: но более всего — нужно было пройти через годы войны, через годы революции, через нашу стремительную и тревожную жизнь. Вероятно, новый театр новой эпохи создаст нового Гамлета. Многое в Чехове покажется чуждым — и былая разорванность форм, и былой лирический пессимизм, и нервность декадентской культуры, и тоска противоречивых ощущений. Рассказ о Чехове — рассказ о человеке, пришедшим из тревожного «страшного мира» — как он представлялся Блоку — но преодолевшего эту мрачность сосредоточенной силой пробужденной, волнующей, звенящей воли. Он пронес через эти годы лучшее, что было в русском театре и в русском искусстве; он оправдывал его внеэстетическими струями. Он обжег и укрепил свое мастерство в последние годы.

„Железный поток" Серафимовича.

В. Полянский.

В. Белинский, анализируя творчество Е. Боратынского, писал: «Поэзия, выразившая собою ложное состояние переходного поколения, и умирает с тем поколением, ибо для следующих не представляет никакого сильного интереса своим содержанием. Мало того: сделавшись органом ложного направления, она лишается той силы, которую мог бы сообщить ей талант поэта». Думая так, критик имел в виду тоску и, наверное, разлад сознания и чувства, которыми проникнута поэзия Боратынского.

Это замечание не утеряло значения и до наших дней. Среди современной литературы не мало встретишь подобных настроений. Лишь немногие, вглядываясь в бурю наших дней, стараются и могут подглядеть новое, грядущее, чтобы показать, где оно зачинается, как растет и что от него следует ожидать. Большинство же, проникнутое иронией, скептицизмом, неверием, двусмысленной улыбкой, тоской и сожалением об уходящем прошлом, видит в современной действительности по преимуществу наносное, случайное, отрицательное, старое и все это преподносит как характеристику нарастающей жизни. Оно иронически хочет сказать: посмотрите, как вы хороши и прекрасна ли вами создаваемая жизнь и как она далека от идеала социализма.

Может быть, критика не совсем права, когда жестоко нападает на них и сурово клеймит их писания, не находя в них созвучия эпохи, созвучия новому классу, выступившему на историческую сцену, как творец коммунистической жизни. От них, как выразителей идеологии мелкой буржуазии, нельзя требовать слияния с пролетариатом. Конечно, его победа в жизни все больше и больше дает ему сторонников, все же есть непроходимая граница, дальше которой мелкая буржуазия в нынешних политико-экономических отношениях подойти к революционному пролетариату не может. Этому мешает ее внутреннее содержание, родившееся и укрепившееся на почве старой буржуазной культуры.

Однако под ударами марксистской критики писатели начинают задумываться над этим положением, они чувствуют разлад, расхождение с жизнью. Говорят, Пильняк и Есенин сели изучать Маркса и Ленина. Вряд ли у этих писателей выйдет что-либо, но попытка их характерна и знаменательна.

Раздумывая над поэзией Боратынского, Белинский закончил статью словами: «Теперь все поэты, даже великие, должны быть вместе и мыслителями, иначе не поможет и талант... Наука, живая, современная наука сделалась теперь пестуном искусства и без нее — немощно вдохновение, бессилен талант». Смутное сознание этой истины и определяет попытку изучать Маркса и Ленина. Писатели начинают задумываться над своей судьбой и понимать, что, не изучив законов развития общества, рабочего класса, его великих исторических задач и путей, трудно быть истинным писателем, хотя бы на-лицо был и талант. Конечно, головное изучение не может заменить классового пролетарского сознания и психологии, выросших на определенных экономических отношениях, а марксизмом лишь оформленных, приведенных в стройность, все же и головное изучение кое-что даст. Одним оно внедрит в сознание, что «нападать на поэзию, что она о з е м л я е т идеи, — все равно, что нападать на математику за то, что она исчисляет и измеряет». Других оно научит, что сущность поэзии в том, «чтобы бесплотной идее дать живой, чувственный и прекрасный образ», как писал все тот же бессмертный Белинский. Оно научит всех, что всякое искусство прежде всего должно быть проникнуто основной идеей времени. Современная же идея — идея пролетарская, идея коммунизма. Поэтому каждое литературное произведение и должно расцениваться в зависимости от разрешения указанной задачи.

И когда попадает в руки «Железный поток» Серафимовича, прежде всего из груди вырывается невольный вздох радости. Лишний раз хочется пробежать прочитанные страницы, отбрасывая общие и частные недочеты повести. Вот первый и значительный успех пролетарской литературы, и обусловлен он строго выдержанной классовой идеей пролетариата.

Чем же нам, однако, дорога и близка повесть Серафимовича!

Когда читаешь «В тупике», в сознании остается осадок горечи и досады, что Иван Ильич ничего вообще не видит и не понимает, а Катя беспомощно шатается из стороны в сторону, не зная, что делать, куда пристать. Вересаев кончил свой роман кратким послесловием: «Катя похоронила Ивана Ильича, распродала мебель, лишние вещи, и однажды утром, ни с кем не простившись, уехала из поселка неизвестно куда». Это замечательный конец. Он символизирует тот факт, что беспомощная интеллигенция, «распродав мебель, лишние вещи», т.-е. растеряв то, чем жила, как-то незаметно исчезает с исторической сцены. Это трагедия русской интеллигенции. А между тем теперь, свидетель этому недавно закончившийся всесоюзный с'езд учителей, интеллигенция не убегает в неизвестность, а идет к пролетариату и крестьянству, идет ожившая, радостная; хотя и смутно, но уже ощущая новую дорогу жизни и ступая по ней тверже, не взирая на набросанные глыбы и рытвины.

В «Железном потоке», «в дико шумящем потоке идут и идут демобилизованные из царской армии и мобилизованные Советской властью, идут добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремеслен-

ники — бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры, и особенно много рыбаков. Все это перебивавшиеся с хлеба на квас... все это трудовой люд, для которого приход Советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью, — вдруг почуялось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств сплошь».

Среди этой «отрепанной, босой орды» — Кожух. Он «кость от кости, плоть от плоти ее». Это не Иван Ильич, свысока смотрящий на народ, которого он согласен обучать, если он будет послушен, он не шамкает со злобой на революцию, когда бедняки, выживая буржуев, взяли у него какое-то барахло. Он не думает: посмотрим, что у вас выйдет. Кожух рван, голоден, необразен, с трудом выражает свои мысли и настроения, но в нем железная воля, он твердо знает, чего хочет и что надо «итить» вперед без останова, иначе смерть, прежняя кабала. И он идет к новой жизни, ломится, ощущая ее своим классовым нутром, преодолевая неслыханные и невиданные препятствия. Кожух, а с ним и вся «орда», вырастает в великих героев нашей революции.

Вот бабо Горпино. Скребет она себя и причитает: «Що таке буде, солодкий мий. Ой, горя-несчастья выпьемо. Чуе мое сердце. Як выезжалы, перше кошка дорогу перебигла, така здорова, та брюхата, а писля того — заяц як стрикае, боже ты мий милосердый! Що ж таке балшевики думають: усе добро оставили. Як замуж мене за старика отдавали, мамо и каже: от тоби самовар, береги его, як свой глаз; будешь помирать, щоб детям твоим и внукам. Як Анку буду выдавать, ей отдам. А теперь все бросили. Що балшевики думають? — и що буде совитска власть робиты? Та нихай ция власть подохне, як пропаде мий самовар!.. Яка ж вона совитска власть, як не може ничого для нас робиты. Кобелю власть».

Это — не Катя, воспитанная в высоко интеллигентской семье и получившая образование из кучи ученых социалистических книг, она не работает в отделе народного образования, не убивает геройски махновца, она даже не знает, кто такие большевики... «А откуда уни балшевики взялись? Кажуть, у Москви народились, а которые кажуть у Германии, — германьский царь породил та на Россию наслал». Зато она хорошо понимает, что большевики дали народу землю, взяв ее у помещиков и кулаков. И бабо Горпино, неустанно думающая о самоваре, вспоминает свою жизнь: «Ой трудно. Жилы все повытягала за свою долгую жизнь — шестой десяток пошел. И старик, и сыновья — хребтина трещала от работы. А на кого работали? На казаков та на ихних генералов, ахвицеров». У ней «аж поджилки затряслись, страшно стало, как услыхала, что царя спихнули. А потом так и надо — кобель и кобель. Эта Горпино не распродает вещей, не бежит «неизвестно куда», а тянет мученическую дорогу, бережет самовар и барахло, думает, как бы остаться живой, освободиться от восставших казаков, от кадетов и вздохнуть свободной жизнью.

Кате все ясно в книгах и все темно в действительной жизни. Она прекрасно разбирается в сложных проблемах, в книжной премудрости, но не

понимает идеи и законы революции. Бабе все темно в книгах, самовар закрыл всю действительность и в то же время ей ясно: бейся с казаком, кадетом, сзади смерть, собачья жизнь, впереди тоже, может быть, смерть, а может и спасенье, счастье. И она идет к этому счастью дорогою, полной нечеловеческих страданий и бедствий.

Искренняя, мятущаяся, незнающая, где бросить якорь, Катя вызывает досаду, а бабо Горпино со своим самоваром — радость, умиленье. Она вот осознала правду жизни. Темная, но поняла ее своим проснувшимся нутром. Она вызывает в читателе поток самых глубоких, самых искренних, самых теплых чувств. Живая, взятая прямо из своей хаты, она овладевает вниманием читателя; он радуется, когда встречается с ней на дальнейших страницах повести и видит, как собирает остатки своих сил и идет дальше за теми, кто повалил царя, офицеров, помещиков, кто против войны.

С одной стороны ученый Иван Ильич, образованная Катя, с другой — Кожух и бабо Горпино.

С одной стороны образование, жалобы, стоны, проклятье и упреки новому, революции, полное непонимание совершающегося и растерянность; с другой — серота, темнота, дикость, непреклонная воля и сила, все сметающая на революционном пути, проклятие и ненависть прошлому, жадный взгляд в будущее, великая надежда на избавление от собачьей жизни. В то время, как Катя не может отступить от принципов буржуазной демократии, бабо Горпино в надежде на избавление молится за большевиков, приговаривая: «дай им, господи, здоровья, даром, что в бога не верють»... «стало быть, знают, свое делают».

Серафимович подошел к грандиозным событиям с марксистским пролетарским анализом. Это помогло ему разобраться в противоречиво-многогранной действительности, понять, что к чему, и отвлеченную идею облечь в живые, яркие, глубоко правдивые образы.

Вересаев претендовал на огромное полотнище, но вышло у него нечто искривленное. Серафимович хотел дать небольшое, один только эпизод из величайшей в истории эпопеи, а вышло у него, может быть сверх ожидания, нечто большое и сильное. Не все отделано, не все краски верно налажены, не все пропорции соблюдены и не все части подогнаны, но данные художником контуры останавливают внимание читателя, заставляют вдумываться, от повести переноситься к живой действительности, ею дополнять недорисованное и недосказанное художником и чувствовать, как данные куски жизни правдивы, ярки, увлекательны и поучительны для современников и историков.

Вересаев показал нам отдельных лиц. Серафимович развернул нам лицо народного коллектива, на фоне которого Кожух и бабо Горпино только детали. В этом отношении «Железный поток» напоминает «Партизаны» и «Бронепоезд» В. Иванова, лучшие его вещи, в котором так прекрасно выявлено лицо того же народного коллектива, но в других условиях, при иной обстановке. Эти вещи друг друга дополняют в выяснении того революционного порыва, которым была охвачена в годы гражданской войны трудовая беднота.

Вересаев показал нам натуры глубоко индивидуалистические, сильные духом и волею в отдельности каждая, но вместе беспомощные и слабые, вдобавок, нередко, низкие в нравственном отношении. Серафимович провел пред читателем длинной дорогой орду неумытых, непричесанных, смутно выражающих свои мысли и настроения, людей слабых в отдельности, но сильных в коллективе, знающих свою дорогу и своих классовых врагов. Это из этой «орды» по адресу грузинского офицера раздались возгласы: «Та ты хто такий?! Господарь?! Мы бьемся с кадетами, а грузины чого под ногами путаются. Просили их сюда? Мы не на живот, на смерть бьемся с казаками, третий не приставай. А хто вставит нос в щель, оттяпаем совсим с головой». В этой простой и грубой форме выражена великая историческая идея, проникнутая и вызванная глубоким классовым чутьем.

Роман Вересаева выражает «ложное состояние переходного поколения» и скоро умрет, повесть Серафимовича — яркий сгусток жизни, победившей и развертывающейся в новых условиях; она надолго переживет все «тупики», потому что открывает широкий путь к прекрасному будущему.

Опыт трудового народа, победившей революции нам ближе и дороже, чем опыт растерянной интеллигенции и свирепствующей контр-революции.

Мы крепко держимся взгляда, что литература, как писал В. И. Ленин, должна быть «колесиком и винтиком» общепролетарской, коммунистической работы. И естественно, что мы прежде всего интересуемся, чей и какой опыт художник отобразил в своем художественном мышлении. Опыт трудовых революционных масс нам, революционерам, интереснее, понятнее, поучительнее, он больше, он увлекает и сильнее захватывает. Вересаев дал опыт интеллигенции, Серафимович — восставших против гнета и эксплоатации трудовых народных масс: бондарей, парикмахеров, лудильщиков, крестьян, людей, перебивающихся с хлеба на квас. Это, конечно, не опыт гегемона революции — пролетариата; опыт его всего интереснее нам, как глубже отражающий революционную фазу исторического развития. Однако и опыт трудовой бедноты имеет колоссальное жизненное значение, поскольку пролетариат с многочисленными Кожухами, Горпинами и другими завоевал и творит новую жизнь, красоту и величие которой мы еще не в состоянии и представить конкретно. Этих своих ближайших союзников рабочий класс должен знать всесторонне, дорога еще не окончена и она длинна, и Серафимович сумел поставить «орду» в такое положение, что она видна вдумчивому читателю со всех сторон, со всем своим внутренним содержанием и внешним поведением. Опыт интеллигенции тоже нужен. Пролетариат хочет использовать накопленный опыт прошлой культуры, он хочет привлечь интеллигенцию на свою сторону, но не только как ментора, но и как исполнителя воли коммунистической революции. Не только хочет, но успешно свое желание осуществляет. Вересаев же ставит интеллигенцию в такое положение к революции, что опыт этот для данного времени уже утерял свое значение и тем самым обесценился

самый роман. Опыт, отображенный в романе, кратковременен и имеет малую значимость, — опыт, взятый для повести, не утрачивающий своего значения, вечно увлекающий революционное сознание.

Не мало этому способствует и то, что в повести Серафимовича чувствуется сконцентрированная пролетарская революционная воля, воплощенная в молчаливом Кожухе, хотя он и не является потомственным почетным пролетарием. Мать его не дышала машинным маслом и гарью горна, сердце ее не стучало среди грохота машин и шума приводных ремней, сам он не пережил радостей совместной борьбы и не прошел тяжелого подпольного пути. «Кожух с шести лет — общественный пастушенок. Степь, балки, овцы, лес, облака бегут, а по низу бегут тени — вот его учоба. Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке, — потихоньку и грамоте выучился, потом в солдаты; война, турецкий фронт. Он — великолепный пулеметчик». За храбрость его послали в школу прапорщиков. «Офицеры покатывались над ним: мужик, растопыра, грязная сволочь!..» И все-таки он добился звания прапорщика, «спокойно, каменно, глубоко запрятанно ненавидев начальство». А потом на фронте сошелся с фабричными, «и все покачнулось». Точно треснуло пространство, и развернулось невиданно-чудовищное, — невиданное, но всегда жившее тайно в тайниках, в глубине, не называемое, но, когда сделалось явным, простое, ясное, неизбежное». «Забила вековая ненависть, вековая угнетенность, возмутившееся вековое рабство. И затем все пошло согласно своему жизненному логическому развитию. Когда Кожух вернулся домой и увидел, что беднота, искореняя буржуазию, забрало его барахло, он махнул рукой и «в рваной куртке, в старой обвислой соломенной шляпе, в опорках... весь переполненный одним ощущением, одной упорной мыслью», ушел из дому и стал вождем бедноты.

Если бы мы были сентиментальны или, по крайней мере, жили в период первых рассказов М. Горького, сколь трогательных и до сегодня небесполезных картин мы могли бы написать на тему, что и под рваной одеждой, под грязным бельем бьется благородное революционное сердце.

Кожухов много, имена их неизвестны, не опубликованы, но они способствовали победе революции, не щадя ни крови, ни головы своей. Это люди, которые делают великое дело, не зная и не замечая, что они герои и творцы жизни. Литература должна их выдвинуть на первый план и показать современникам и грядущим поколениям, показать, что не Иван Ильич, не Катя фундамент новой жизни, а Кожух и те, что с ним, спаянные пролетарским делом, пролетарской кровью. Кожух — наш брат, наш друг, наш соратник, камень, на котором строится новая жизнь, цемент революции. Мы его любим. Радуемся его радостями, печалимся его печалями, вместе с ним улыбаемся, вместе с ним хмуримся. Катя же, Иван Ильич нам чужие, совсем чужие, хотя и знакомые, близко знакомые. Цепляющиеся за прошлое, уходящее, умирающее, разлагающееся, отравленное культурой прошлого. Они вызывают в нас тревогу, беспокойство, опасение. А Кожух — молодой, жаждущий новой жизни, творящий ее, в опорках, с желваками, с надвинутым на

глаза черепом, но внутренне ясный, светлый, цельный, без колебаний. Как мы верим ему! И как охотно вместе с ним бьемся за счастье человечества!

Есть критики и писатели, которые по сегодня, не замечая, что они сами стоят на определенно классовой буржуазной точке зрения, повторяют настойчиво, что марксистская классовая критика убивает искусство, вносит тенденциозность, искажает жизнь, подгоняя ее под коммунистический шаблон. Как это глубоко неверно! Какая темнота! Повесть Серафимовича, несмотря на отдельные промахи, может служить блестящим опровержением буржуазных благоглупостей.

Кто осмелится сказать, что автор идеализировал революционную обстановку, среду, людей, нравы их, подгоняя Кожуха, бабу Горпину и других под коммунистический шаблон? Все они самые настоящие, живые люди, а не выдуманные, выписанные художником согласно требованиям программы РКП... Они настолько люди, настолько им не чуждо все человеческое, все земное, и так близка им всероссийская «мать», которая слышится ежеминутно и на каждом шагу длинного пути, что с трепетом ожидаешь, что они не вынесут нечеловеческих страданий пути, страшного и грозного. Им не чужды низкие инстинкты, они не прочь пограбить, они дорожат собственностью и мечтают по-своему о личном мещанском счастье в темную ночь под повозкой, они равнодушны к чужим страданиям и даже своей смерти, но с каждой страницей повести все это куда-то исчезает, становится понятным и не таким уже низким, как это выходит у тех, кто пишет и писал о «грядущем хаме». «Рваная орда» становится все роднее и роднее, и не столько досадуешь на нее, сколько негодуешь и проклинаешь тех, которые не дали возможности жить ей человеческой жизнью, помешали развернуться их умственным и нравственным качествам. Одних сожалеешь, других проклинаешь.

Художник ничего не скрыл, все показал без прикрас. Голые, рваные, с блохами, вшами, матерщиной идут они с криками: «смерть!» и крушат направо и налево черепа противников, не раздумывая над тем, что «человек— звучит гордо». Некогда им думать над этим. Встало вековое рабство, и оно — беспощадно. Ради конечной великой цели движение не останавливается перед кровью и спокойной жестокостью. Победа или смерть! Это решает методы борьбы. Недаром тов. Ленин говорит, что «революция — не для слабонервных».

Под всеми внутренними и внешними грубостями, под низкой культурой прошлого, среди всего этого художник высмотрел и выявил в этой «дикой орде» такие черты, которые все темное отодвигают куда-то взад, в угол.

Вот мать нежно, нежно ласкает своего ребенка. — «Та що ж ты, мое квиточко, мой увиточек? Та покушай же. Ну, на, на! Та що ж ты не берешь. От як мы умием — головой вертеть, та языком геть мамкину сиську. — Не хочешь? Що ж ты, мое шишечко? Ой якый сердитый! Як мамкину сиську тискае рученятами. А ноготки, як бумага папироcна... Дай, поцалую кажный пальчик: раз, тай ще два, тай три! О-о, яки велики пузыри пускае! Великий

чоловик буде. А мамка буде старенька, тай беззуба, а сыну скаже: ну, стара, садись до стола, буду тебе кашей тай саломатой годуваты».

А вот другая картина: «У ребенка открыт иссохший почернелый ротик, глядят неподвижно васильковые глазки. Мать в отчаянии: — «Та нэма ж молока, мое сердце, мое ридно, моя квиточка», она безумно целует свое дитя, свою жизнь, свою последнюю радость. А глаза сухи. Неподвижен почернелый ротик; неподвижно смотрят остановившиеся молочно-подернутые глазки... «Доню моя, ридна, нэ будешь мучиться, в муках ждаты своей смерти». — Разрывает щебень, кладет туда свое сокровище, снимает с шеи нательный крест, надевает через отяжелевшую холодную головенку пропотелый гайтан, зарывает и крестит, и крестит без конца края. Мимо, не глядя, идут и идут»...

Сколько во всем этом простой сердечной ласки и премудрого молчания идущих мимо масс, боящихся своим вниманием, своим соболезнованием растравить сердечную боль матери, а сколько неслыханной стойкости в этой мученице «собачьей жизни».

«Железный поток» крушит своих врагов, но крушит без особого ожесточения, без всякого утонченного самодовольства. Он готов по своей доброте и наивности оставить врага в спокойствии, если он не будет преграждать пути и тревожить налетами.

«Разбойная орда», как выражается Кожух, после победы грабит город: «На базарах, в лавках, в магазинах идет мелькающая озабоченная работа; разбивают ящики, рвут штуки сукна, сдергивают с полок белье, одеяла, галстуки, очки, юбки... Суетились солдаты в невероятных отрепьях, с черными босыми полопавшимися ногами, забирали ситец, полотно, парусину для баб и детей... — Треба штанив... — Развернул, прицелился, опять хмыкнул: — Чудно! Штани не штани, а дуже тонко. Хведор, що таке?.. Магазин дрогнул от хохота: — Та це ж бабьи портки!!... А що ж, баба не человик? — Як же ты будешь шагать, — разризано, усе видать и тонина... Вытащил из коробки все, что там было, и стал молча одевать одни за другим, — шесть штук надел; кружева болтаются пышным валом повыше колена». Искал брюк, другие забрали, надел спокойно женские кальсоны.

И опять-таки во всем этом нет озлобления, зверства, забота прикрыть свое голое тело, жену и ребят, прикрыть, чем попало, крахмальной сорочкой, фраком, лишь бы прикрыть. Нет тут и жадности, глупого хапанья, лишь бы что-нибудь для себя урвать. Все идет спокойно, озабоченно и даже не считается за грабеж. Когда же настигает наказание, все молча стоят, понуря голову, потом молча же все награбленное складывают «в общий котел», покорно, с сознанием нарушения порядка, выходят вперед и покорно ложатся под плети. А когда Кожух простил их, все радостно поднялись и «стали одеваться в крахмальные рубахи, в кофточки, а правофланговый опять напялил фрак и надернул шесть штук панталон. А ведь вся эта масса могла поднять Кожуха на штыки, но как велика оказалась в ней сила дисциплины, сознание, что Кожух прав. Во всем этом эпизоде выявились хорошо всем знакомые черты русского народа. Это хорошо изобразил и Вересаев в том месте романа, где судят двух вымогателей, прикрывшихся именем революции.

Неподражаемо просто, правдиво, жизненно, без всякой натяжки и тенденциозности описаны похороны. Протестуют: — «Як скотину хороним, без креста, без ладана». Пригнали силою попа, дьякона и дьячка. — «Ну, слава богу, як треба похоронють»... Дьякон устало, слегка забасил, а дьячок слабо всплыл скороговоркой, гундося в нос. Кубанец обиделся: — «ты м-мать твою, колы будэшь, як некормленая свинья, усю шкуру»... Поп залился тенором... дьячок пустил фистулу, — в ушах зазвенело... — Со-о свя-а-ты-ми у-у-по-ко-о... Все закрестились и закланялись... И бабы, сморкаясь и вытирая набрякшие глаза, говорили: — Дуже хорошо служил батюшка — душевно.

И в другой раз хотят попа, а не оркестр: «Що ж оркестр. Оркестр — медные трубы, а у попа жива глотка. — Та на якого биса его глотка? Як зареве, аж у животи болить. А оркестр — воинска часть».

Народная религиозность изображена с поразительной точностью. И не скоро разберешься в этих путаных мыслях и настроениях, не скоро поймешь, что к чему.

Остановимся еще на одном примере. «Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала все обыскали, — нет его. Тогда стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один из рубивших укоризненно сказал: — Чего ж кричишь, як ризаная. От у мене аккурат, як твоя, дочка-трехлетка... в щебень закопали там, у горах, — та я же кричав. Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери».

Вряд ли кто и из врагов скажет, что художник идеализирует «разбойную орду». Но художник-враг так бы это размазал, такими бы варварами, разбойниками изобразил этих страдальцев, чтобы возбудить против злобу, месть, а Серафимович просто рассказал их, показав не злодеев, не хамов, а темных, грубых, но по-своему справедливых людей. Убивает спокойно, без злобы, лишь памятуя о своих несчастиях. Так же спокойно впопыхах они до полусмерти избивают друг друга, а потом добродушно разговаривают, кто кого и как изуродовал...

А сколько проявляется неслыханного героизма, когда берут мост, вышибают из перевала грузин, врукопашную выбивают казаков.

Не скрыл художник и момента шкурничества, пьянства, эгоизма, разброда, неразберихи, тщеславия, знаменитого русского «авось» и многих других черт.

Словом, все говорит за то, что марксистская и строго классовая пролетарская точка зрения не помешала художнику дать настоящий кусок жизни, дать живых людей, не подгоняя ничего под коммунистический шаблон и никому не льстя.

Серафимович один только раз сорвался, когда он изображает грузинских офицеров. Не было никакой нужды изображать их от'явленными шкурниками, трусами, готовыми на все унижения, лишь бы сохранить жизнь. Не было особой нужды одевать их в блестящие сапожки и новенькие костюмы. Конечно, среди белых таких было много, но среди них были и глубоко идейные противники, которые боролись с красными героически, самоотверженно,

по-своему честно. Серафимович дал белого офицера внешне, он его не показал нам, а описал. Читателю приходится верить художнику на слово, так как он не видит и не знает, во имя чего, как работает его мысль, куда влекут чувства. Нужно было вскрыть классовую сущность этой категории людей через их поступки и мысли. Художник под влиянием своих классовых симпатий, а от них никто не свободен, опустил целый ряд фактов внутреннего характера, и потому его обобщения вышли деланными, мертвыми, односторонними. Художник не нашел нужных линий, красок и пропорций.

Думаем мы, что этой однобокостью страдают и фигуры матросов, которые ведут контр-революционную агитацию против большевиков, Кожуха, разлагают «орду», безобразничают, выдавая себя за истинных революционеров и устраивая покушения. Потом они каются. Во всем этом немало одностороннего освещения. Художественный момент уступил место агитации, тенденциозности, а может быть, самый замысел художника требовал определенных персонажей. В этом случае следовало дать их при другом повороте.

Все же эти отдельные недочеты, досадные и неприятные, не закрывают основного достоинства повести, ее свежести, правдивости, искренности, теплой любви к обездоленному, голодному, темному люду. Повесть должна иметь большое значение, она должна многим открыть глаза и примирить их с тем, что раньше казалось бессмыслицей, ужасом, разбоем, разрушением, кончиной мира. Серафимович своей повестью оказал великую услугу революции.

* * *

Классовая точка зрения не только не помешала «об'ективности» художника,— наоборот, помогла ей. Классовый, марксистский взгляд на развернувшуюся гражданскую войну избавил художника от всяких высоких, агитационных фраз о революции, о победоносном пролетариате, о высоких началах братства, справедливости и равенства и прочих отвлеченных высоких материях. В повести все развертывается просто, даже обыденно. Беднота получила от революции землю, увидела «краешек» иной, лучшей жизни. Она от этого отказаться не хочет и бьется за это на-смерть. Бьется не во имя отвлеченных принципов коммунизма, а за определенный клочек земли, за определенный кусок хлеба. Трезвость классового подхода к революции дала людей земляных, с кровью и плотью, а не вымученных идеально настроенным художником. Художник в повести, пожалуй, даже и не виден. Мимо вас идет, тянется людской поток, и вы наблюдаете, изучаете, как он живет и что думает.

В целом совершенно правильно отображен ход революции. Во главе — Кожух, символ пролетарской сознательности и силы воли; за ним широкая масса, еще не оформившаяся, не окрепшая в своих устремлениях, не устойчивая, могущая сделать так и совершенно иное под влиянием случайных обстоятельств. Прекрасно соблюдены в Кожухе и в людском потоке пропорции классового сознания и классового инстинкта. Конечно, в живой действительности мы видим тысячи различных соотношений, но в общем художник нашел верное соотношение.

Это в свою очередь определило и другие стороны его повести. Серафимович искусно развернул психологию действующих лиц со всеми светлыми и теневыми сторонами. Он не впал в идеализацию, но и не представил «железный поток», как поток извергов рода человеческого. Свет и тени наложены правильно. Черной краски много, но и она — в отсвете красных огней революции. Все то, что в людях есть человеческого, высокого и что задавлено было «собачьей жизнью», художник выявил, четко наложил яркие светлые пятна. Среди элементов прошлого, под мусором и пеплом он нашел драгоценности, показал тлеющуюся искру великой человечности, элементы психики, которым принадлежит настоящее и грядущее.

Серафимович взял опыт широких трудовых масс, опыт революционного времени и обработал взятый материал марксистским методом, с пролетарско-революционной точки зрения.

Часто у художника бывает разлад между сюжетом, темой и идеей произведения. В повести все это гармонично, друг друга обусловливая и дополняя.

* * *

Написана повесть в прекрасных реалистических тонах, хорошим языком, без всяких вычуров, свойственных футуризму, имажинизму и всяким лефам. Лаконичны, скупы, но хороши описания моря, ночи, стоянок. Скупость эта чрезмерна. Художник мог с большей пользой для повести сократить сюжетную сторону, — устранились бы длинноты, повторения, и просто лишние детали и мелочи, — и вместо этого следовало шире и глубже использовать пейзаж, — конечно, приспособив его к характеру повести, к ее красочному и музыкальному тонам.

Указанные и неуказанные недочеты, несомненно, умаляют достоинство повести. И все же она может быть признана прекрасным вкладом в пролетарскую литературу нашего времени.

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

Вера Инбер. Цель и путь. Стихи. Госиздат. 1925 г.

Среди привычного обилия стихов — стихи Веры Инбер обращают на себя внимание. Ее маленькие повести и рассказы о рубашке, о Бобе с веснушками, о падении германской марки, о китайце, осмелившемся войти в посольский квартал в Пекине,— заключенные в легкую, точную и остроумную форму, были интересны и говорили о талантливости автора.

Нехватало общей перспективы, которая бы увязала творчество Веры Инбер с общим развитием современной поэзии.

Теперь Госиздат, собрав в книгу стихи Веры Инбер за последние два года, дает такой внешний повод уже для более серьезной литературно-общественной оценки ее работ.

Книжка называется „Цель и путь" и в ней собраны пятнадцать стихотворений. В этих пятнадцати стихах есть путь, ибо есть цель.

На обложке стоит —„4-я книга стихов"— но ее читаешь, как первую книгу, ибо вся книга отмечена знаком переходничества, творческого перелома поэтессы. Но это не о манере письма.

Вера Инбер проходит трудный путь смены своего жанра. Инбер написала три книжки стихов: „Печальное вино", Горькая услада" и „Бренные слова". Это были книжки интеллигентского романса, веселых и печальных ариеток о бренной земле. Они подошли к революции и оступились.

Этот жанр не мог бы теперь иметь никакого будущего. Все „печальное", „горькое" и „бренное" в Советской России потеряло всякий вкус. Это поняла Вера Инбер.

И она сделала большее, на что может решиться поэт — переписать себя наново.

Вера Инбер стала искать себя и путей для своего творчества. Эти искания и новизна тем определили „Цель и путь". Вот почему так пестры темы: „Собачий экзамен" и „Два Петра", „Сороконожки" и „Восток и мы". На теме переломился жанр.

Я бы тематически разделил теперешние стихи Веры Инбер на две группы: 1) нейтральные темы (стихи о необязательных предметах, — напр., о собаках) и темы, которые в поэтессе уже вырастила революция. В последнем, в разработке этих тем, уже явственно влияние конструктивизма. И только один-два осколка прежней Веры Инбер: „Уж своею Францию...", „Поцелуй же напоследок".

Но что может нас радовать на этом пути Веры Инбер — что этот путь не проделывается для нее нажимом коленом на тюбик с красной краской. Это отнюдь не „линянье", в которое впали некоторые „известные, маститые поэты". У Инбер нет агиток, ибо у нее есть простые и искренние слова:

> И пять ночей в Москве не спали
> Из-за того, что он уснул.
> И был торжественно печален
> Луны почетный караул.

Интересно, что и в художественном отношении „эти" стихи Веры Инбер не ниже, а часто выше многих „нейтральных". Вспомним хотя бы „Восток и мы" — лучшее стихотворение сборника.

В области техники стиха Вера Инбер тоже прошла вперед и дала ряд мастерски сделанных поэтических работ. Особенно ей удаются детские стихотворения,—напр., превосходные „Сороконожки", изданные отдельно „Радугой".

В такого рода вещах особенно удачен излюбленный прием Веры Инбер — формальная неожиданность сюжетной мотивировки, необычность сюжетного поворота.

Например, в стихотворении „События в Красном море“ — красное оправдывается... подводной революцией.

Вот так произошел переворот.
И с этих пор (и это очень ясно)
И рыба лучшая зовется красной,
И красным наилучший в мире флот.

Этот прием, употребленный в ряде стихотворений, строится на выделении и смещении смысла отдельных сюжетных кусков. Но на функциональной же проработке сюжета строится также и общее конструктивное единство стиха, его подобранность, художественная сжатость. Это достигается, главным образом, тем, что называют „локальным принципом“. Эпитеты, характеристики — централизуют художественное зрение, а не уводят его в сторону.

У Веры Инбер мы найдем широкое пользование также и этим приемом. Так, напр., Инбер говорит: „Луны почетный караул“ (у гроба Ленина), в „земле Московской“ — „царя тишайшие тебя на части крошили словно просфору“; в „Востоке и мы“, где говорится о Китае: „льет луна золотой лак“. Таких примеров в книге много.

И можно сказать, что читательский успех Веры Инбер — это победа также культуры стиха. Популярность Инбер не случайна и свидетельствует о высвобождении поэзии от „детской болезни“ Крученыха и имажинистской безответственности образа.

Темы и художественные идеи, на которые хочет опереть свое творчество Вера Инбер, были для нее „целью“, творческой предпосылкой книги.

Путь же налево, который теперь совершает Инбер — судьба не ее одной. Ее пример типичен и благодаря ее большому художественному дарованию вырастает в общественно-значимое явление.

Вера Инбер — талантливый и мастерский поэт и стоит на верном пути. Таков итог ее новой книги.

Корнелий Зелинский.

Недра. Литературно - художественные сборники. Книга шестая. Издательство „Недра“. Москва 1925.

Сборники „Недра“, как привычный добрый знакомый. Встретишься, поговоришь с ним, досады на первый взгляд не почувствуешь. А ушел от тебя этот привычный гость — не пожалеешь.

Прочтет читатель и данный сборник,—посетовать, казалось бы, и не на что, задуматься тоже особенно не над чем, — и положит книгу повыше на полку — аккуратно, уютно, чувствуя, что не попросится эта книга снова на его стол.

Таково первое впечатление от прозы данного сборника „Недр“.

В самом деле — разве плохо пишут Н. Никандров и А. Яковлев? Этого не скажешь. Но почему после прочтения их рассказов в душе остается „непоправимо белая страница“.

Никандров написал рассказ „Всем утешение“.

Он взял личность шестилетка Димки и ею, как рефлектором, осветил нам кусочки людской жизни, их быта, показал на протяжении одного дня целый ряд людей, ограбленных жизнью — холостых, бездетных, бесплодных во всех смыслах.

Здесь мы видим прачку, мать Димки, видим курсисток, чиновников - пьяниц и старосветски - современных супругов. Показаны они неплохо; писатель изображает их со своей обычной манерой иронического пафоса, идущего от Гоголя, от знаменитой бекеши Ивана Ивановича Перерепенко.

Писатель с достаточной натуралистической убедительностью показал читателю, как этот Димка фактом своего детского существования скрашивает тусклое человеческое бытие, дает „всем утешение“. День кончился. Димка, а с ним и все остальные персонажи рассказа засыпают.

„Димочка, всем утешение, итак, значит, до завтра!“ — такой фразой кончается рассказ.

Ну, а дальше что?

Об этом, впрочем, спрашиваю я — рецензент, а читатель не спросит. Дальше — ничего. Дальше то же самое серое, нудное человеческое существование.

А. Яковлев написал рассказ „Болото“. Тут уже нет никакого „утешения“. Он рассказал нам своей честной реалистической манерой историю девушки „тети Сони“ — сельской учительницы, которая в тяжелые голодные годы революции вынуждена была поступить чернорабочей по осушке болот. Мрачно зарисованы картины жизни девушек - работниц, безнадежно мрачно. „Бо-

лото" высасывает из них все человеческое, грабит их с беспредельной суровостью, оставляя им одно — беспорядочную, бестолковую, бесцельную половую жизнь. Даже не жизнь, а сплошной безлюбовный разврат. Жертвой этого разврата делается и „тетя Соня".

Рассказ кончается сценой драки, избиения учительницы другой девкой, драки из-за самца-парня.

Так именно, а не иначе изображает жизнь А. Яковлев.

Исхода нет у людей. Будущего нет.

И читатель не спросит даже: „А дальше что?". Чувствуется, что этого „дальше" нет у самих писателей.

Здесь — не только изображение быта, но сама литература превращена в бытовое, будничное явление. Рассказ воспринимается как обычное, знакомое всем происшествие.

В самом деле, разве мы не читали этого „каждый день" в прошлом. Об учительницах и учителях мы ту же самую историю, с теми же подробностями читали у Муйжеля („Учительница", „Нюрочка"), у Елеонского („Машенька"), у Сергеева-Ценского („Погост"), Коцюбинского („Куколка"), у Потапенко („Генеральская дочка"), Арцыбашева („Ужас"), А. Чехова („На подводе"), у С.-Щедрина, Гусева-Оренбургского, Бунина („Тарантелла"), Неверова и т. д. Я сейчас вспомнил, по крайней мере, до двадцати рассказов на эти темы, не говорю вообще о повестях, где рассказываются подобные безнадежные истории. А у большого обывательского писателя А. Куприна, помимо его „Мелюзги", есть даже повесть „Болото".

И, когда вспомнишь эти бесконечные писательские художнические „чаепития", вдумаешься поглубже, то скоро поймешь, какое в сущности обывательское жизнеотношение в большинстве случаев диктует писателям подобный подход к жизни. Нельзя так фотографически - поверхностно давать читателю жизнь. Особенно в наше время. Жизнь никогда не была этой поверхностью. Этот бытовой нигилизм художественно является вопиющей ложью на жизнь человеческую.

Жизнь богаче, она глубже у каждой из этих девушек, которых засекает А. Яковлев.

Приходится констатировать поразительный факт: ч и т а т е л ь в м а с с е с в о е й ж и з н ь о щ у щ а е т г л у б ж е п и с[а]т е л я.

Писатель-бытовик наших дней впада[ет] в ужасающее „бескультурье"; он не хоч[ет] сказать до конца — во имя чего такой бе[з]надежный, беззубый пессимизм. Даже у об[ы]вателя Куприна найдешь страницы рад[о]сти, радости ощущения бытия, — здесь это угасает.

И в Никандровском утешении нет ник[а]кого утешения. У самого Димки нет буд[у]щего, как оно есть у Неверовского Мишк[и,] ездившего в Ташкент за хлебом. И б[ы]т в этих двух рассказах по существу не жи[]вой, он взят вообще, без отношения к те[н]денциям нашей эпохи, без оживляющи[х] штрихов современного дня. Чеховское бе[з]дорожье было знамением своего времен[и] именно в силу того, что обнажены был[и] живые нити быта, спадающие с черно[го] балахона реакционного катафалка 900-х го[]дов,—здесь нет этих нитей, и рассказ делаются безличными, неубедительным[и,] по существу — лживыми, неискренними безвкусными для читателя.

У Никандрова этого не было в его чуде[с]нейшей книге „Береговой ветер", у Як[о]влева этого не было в „Порыве", в „П[о]вольниках". Надо писателям это поглубж[е] осознать и понять, чтобы победить в себ[е] эту мрачную струю.

Поистине рассказ о Тригоринском облак[е,] похожем на рояль из чеховской „Чайки"

С интересом читается повесть М. Булга[]кова „Роковые яйца". Написана повест[ь] определенно хорошо. Сюжет сам по себ[е] задуман очень остро и любопытно. Про[]фессор Персиков открыл „луч новой жизни" который оказывает разительное влияние н[а] рождающиеся организмы, увеличивая и[х] до гигантских размеров. Профессор н[е] успел окончить своих опытов, не успе[л] еще получить заказанных им для опыто[в] в Германии змеиных яиц, как к нему явля[]ется советский человек с большим манда[]том, товарищ Рокк, и увозит его препарат[ы] для разведения кур в совхозе „Красны[й] луч".

По недоразумению яйца змей, выписан[]ные профессором, попадают в совхоз, и и[з] этих яиц, с помощью изобретения профес[]сора, т. Рокк производит массу гигантски[х] змей. Змеи пожирают людей, опустошаю[т] землю. Начинается война. Понадобилас[ь]

помощь Красной армии. И только мороз убивает змей и спасает Россию. Персикова убивает толпа, считая его виновником бедствия. Все это изображено живо, остро, но уже ко второй половине повести читателя начинает одолевать досада. В чем дело? Повесть написана бесспорно в сатирических тонах. Сперва думаешь, что автор смеется над профессором, затем к концу кажется, что автор устремляет жало своей сатиры против невежества т. Рокка, взявшегося не за свое дело. Но прочитываешь последние строки повести — и недоумеваешь, сетуешь на то, как автор затушевывает, притупляет всю повесть, запутывает все концы, — выстрел оказывается холостым. В чем дело? Или автор сам не почувствовал, не охватил до конца своей темы, или испугался „контр-революционности“ своей сатиры. По существу ее, конечно, в данном сюжете нет: современная цензура в широком смысле этого слова, конечно, не встала бы на защиту атаки и ноздревских приемов боевого головотяпства, мечтающего отнять секрет науки у профессора Персикова. Надо было суметь это головотяпство со всей жизненной яркостью показать, художнически доказать, но этого автор не попытался сделать: бедствие в повести рождается в силу случайности (перемешали яйца), а не вытекает с необходимостью из развития повести и характера действующих лиц. Булгаков повторяет упорно свои ошибки: так раньше, на подобном же анекдоте построил он свой рассказ „Дьяволиада“ („Недра“ книга 4).

В сборнике есть и стихи: поэма Н. Тихонова „Лицом к лицу“, два стихотворения В. Брюсова и фрагменты неоконченной поэмы М. Волошина „Россия“.

Поэма Н. Тихонова совершенно неудобочитаема. Стих уродлив, коряв. Конечно, мало найдется даже спецов от литературы, кто сумеет осилить поэму. Читатель ее не прочтет. Не раз приходилось уже говорить, что Н. Тихонов „спутился“ на Пастернаке. Куда он идет? И к чему печатает свои „ученические“ упражнения, абсолютно никому не нужные и никчемные. Если это — болезнь роста, то не надо свою временную анемию демонстрировать перед читателем. Это совершенно бесполезно и для самого поэта, и для читателя. Как этого не может понять сам Н. Тихонов, о прекрасных эпических произведениях которого с такой тоской приходится вспоминать при мучительном „чтиве“ данной безобразной поэмы?

Стихи В. Брюсова „Не память“ (1923) и „Шарманка“ (1924) не принадлежат к лучшим стихам покойного мастера и в некоторых строфах словесно не доработаны.

Поэма М. Волошина представляет собой историко-философский трактат, написанный густыми и тяжеловатыми крепкими словами. Волошин субъективен: его космический национализм с безликим и глухим духом истории объективно далеко не обязателен. Он — лишь свидетельство об яркой поэтической разновидности человеческой особи, социально довольно безразличной.

В конце сборника М. Гофман и Л. Гроссман на тридцати пяти страницах ведут ученый спор о том, кому принадлежит пушкинское стихотворение под названием „Чаадаеву“, начинающееся: „Любви, надежды тихой смывы“), — Пушкину или Рылееву. Гофман доказывает, что Рылееву, Гроссман—Пушкину. Гофман играет в данном случае свою азартную шахматную партию без единой фигуры, и естественно, что Гроссман его легко побеждает.

Но право же игра не стоит свеч,—тридцати пяти страниц. Во всяком случае „академики“ могли бы сговориться мирно в своих кабинетах, а не выносить свою пышную ученость на свет: она мало любопытна серьезному читателю.

В. Правдухин.

Франц Меринг. Мировая литература и пролетариат. Сб. статей. Перевод с немецкого Е. А. Гурвич, под редакц. А. С. Мартынова. Предисловие Э. Цобеля. Госиздат, Москва 1925 г. Стр. 360.

Из теоретиков марксизма, работавших в области изучения искусства, Франц Меринг является, после Плеханова, несомненно, самым выдающимся. Между тем, его статьи и исследования по вопросам художественной литературы известны у нас недостаточно, уже по одному тому, что только меньшая часть их переведена на русский язык. Интерес же к вопросам искусства, а вместе с ним и потребность в их марксистском освещении, у нас в последнее время все возрастает, особенно среди моло-

дежи (об этом говорят хотя бы многочисленные дискуссии последних месяцев). Потому нельзя не признать выход в свет сборника историко-литературных статей Меринга своевременным и нужным.

Можно, правда, возразить кое-что против принципа, по которому производился подбор статей, или, вернее, против отсутствия такого принципа. Судя по предисловию тов. Цобеля, уклон сборника намечался теоретический, т.-е. редакция как будто старалась брать те статьи Меринга, которые бы обрисовывали возможно полнее его теоретические положения в деле исследования искусства, научной эстетики, литературной критики. Но тогда непонятно отсутствие его статьи об эстетике Канта и включение в книгу ряда мелких статей о Геббеле, Гауптмане, Ибсене, Гейне (при чем некоторые из них дублируют, повторяют одна другую. Это вполне понятно, так как Меринг многие статьи писал специально к юбилеям, но редакция должна была бы избегать такого повторения). Но если добросовестность редакции доходит до того, что она помещает даже статьи, повторяющие друг друга, то непонятно, почему она не включила в сборник ряда небольших, но интересных работ Меринга, посвященных Клопштоку, Гердеру? Потому что эти работы были раньше переведены и изданы? Но в состав рецензируемого сборника входят не только статьи, даваемые впервые в русском переводе; достаточно назвать отрывки из „Легенды о Лессинге", „Шиллер и великие социалисты", „Гервег, Фрейлиграт и Гейне". Наконец, некоторые статьи были бы уместны только в полном собрании сочинений Меринга. Например, о Геббеле: писатель этот так мало известен в России, что историко-литературный очерк, посвященный ему, вряд ли может быть интересен русскому читателю.

Переходя теперь к работам Меринга по существу, мы можем отметить, что значение их несколько иное, чем значение работ Плеханова. Плеханов дает очень много в отношении метода исследования. Он прокладывает большую дорогу марксистского искусствоведения. Он показывает и учит, как применять марксистский метод к явлениям искусства. И вот этот-то методологический характер работ Плеханова придает им то огромное значение, ту ценность, которую они имеют не только для читателя марксиста, интересующегося искусством, но и для критика марксиста, для искусствоведа. Когда будет построено здание диалектико-материалистической науки об искусстве, то окажется, что фундамент его заложен Плехановым.

Вопросов методологии Меринг касался мало. Его работы носят преимущественно историко-литературный характер. Это несколько суживает их теоретическое значение. Впрочем, мы здесь выражаемся не совсем точно: суживает теоретическое значение работ Меринга не столько тот факт, что они являются историко-литературными исследованиями, сколько то, что Меринг крайне редко пытается проследить, как „среда", классово-исторический момент определяет, обуславливает не только идеологию, но и форму художественного произведения. Это — недостаток, свойственный многим критикам-марксистам. Плеханов и здесь имеет крупное преимущество перед Мерингом: в своей работе о французской драматургии и живописи XVIII века он вплотную подошел к вопросу о зависимости между общественной средой и формой и показал, как его надо решать, показал, правда, в общих чертах, но на основе того, что он сказал, нетрудно анализ довести до деталей. Заслуги Меринга в области марксистской науки об искусстве иного рода. Во-первых, никто из критиков-марксистов не исследовал с такой тщательностью и полнотой общественно-историческую среду, породившую и окружающую художника, никто не анализировал так тонко, никто не устанавливал так подробно и обстоятельно связь и взаимоотношения между художником и средой, как это делал Меринг. В этом смысле „Легенда о Лессинге" занимает в марксистской критике совершенно исключительное положение. Это — образец научного исследования в самом лучшем и строгом смысле этого слова. Правда, выше мы уже отметили, что исследование Меринга останавливается у порога формы, редко и случайно переступая его. Не то, чтобы он вовсе не касался формы, но он это делает с несравненно меньшей конкретностью (и глубиной), чем мы это видим у Плеханова. Анализ идеологии и содержания у него явно перевешивает. Но ведь этот анализ является важнейшей ча-

стью исследования (по крайней мере в глазах марксиста). Из двух задач критика-марксиста, о которых говорит Плеханов, первая — нахождение „социологического эквивалента" — разрешена Мерингом блестяще.

Другой заслугой Меринга в деле изучения литературы является, по справедливому утверждению Э. Цобеля, то, что он сумел „вовлечь в сферу исследования не только поэтов и литературные произведения, но и нетворческих носителей эстетического вкуса — читателей, публику". Он дает на-ряду с историей художественных произведений также историю читателя. „Историко-литературные работы Меринга,— пишет Э. Цобель, — трактуют литературу не с той стороны, как она написана, а с той точки зрения, как она живет и жила, и именно жила не в личности поэтов, а в массах читателей, в публике, т.-е. в истории классов, наций, общества, чей жизненный процесс определяется материальными средствами производства" Впрочем, высказав правильную мысль, Цобель тут же ее утрировал. Верно, конечно, что для „историко-материалистической историографии" важна литература в ее „действии и историческом влиянии на людей", в ее „связи с реальной человеческой историей", но из этого не следует, что исследователь должен пренебрегать изучением литературы „с той стороны, как она написана", и Меринг этого вовсе не делал. Для марксиста, изучающего искусство, одинаково важны как связь литературного произведения с читателем, так и это произведение само по себе. Меринг обращал больше внимания на идеологию, чем на форму произведения, но это не значит, что он игнорировал „литературу саму по себе".

Меринг, на-ряду с изучением классиков, занимался очень много и современной ему текущей литературой. В этой области ему пришлось столкнуться с целым рядом проблем, не потерявших значения и в настоящее время. Таким был, прежде всего, вопрос об отношении пролетариата к современному искусству. Меринг ставил это искусство не высоко и считал, что в равнодушии пролетариата к нему сказывается не его неразвитость, не его неспособность „понять его возвышенные тайны", но то, что это искусство „даже отдаленно не соприкасается с историческим величием пролетарской освободительной борьбы". „Как может, — спрашивает Меринг, — восторгаться пролетариат искусством, которое тенденциозно ничего не хочет знать о том, что составляет его самую важную и самобытную жизнь? Почему он должен быть смиреннее буржуазии, которая в дни своего величия не признавала искусства, если только оно не было рождено ее духом?" (стр. 19). Однако Меринг остерегается от огульного отрицания современного искусства. Он указывает, что было бы несправедливо совершенно отвергать его „или даже не признавать, что внутри буржуазного общества оно во всяком случае является прогрессом" (стр. 21). Меринг считал, что пролетариату классическое искусство, созданное периодом подъема буржуазии (Лессинг, Шиллер, Гёте), гораздо ближе и больше говорит, чем искусство „модерна". Он утверждал, что пролетариат является в такой же мере наследником классической буржуазной литературы, как и классической философии. Гёте представлялся ему писателем будущего. Только социалистическое, бесклассовое общество, в котором искусство будет играть огромную роль, сумеет как следует понять и оценить такого гармоничного поэта.

Меринг не считал возможным появление классовой литературы пролетариата. У пролетариата „мысль и воля находятся в таком беспрестанном напряжении", что „эстетическое отношение к вещам должно относительно отступить на задний план. Здесь оправдывается поговорка: пока звенит оружие, молчат музы". Расцвет искусства наступит лишь в социалистическом бесклассовом обществе. „Чем невероятнее, однако, чтобы из классовой борьбы пролетариата могла развиться новая эпоха искусства, тем несомненнее то, что победа пролетариата приведет к новой эпохе в искусстве, более благородной, великой и прекрасной, чем все виденное до сих пор людьми. Если эстетическое удовольствие состоит в свободном и спокойном созерцании вещей, то своего наиболее чистого и высокого развития оно достигнет тогда, когда исчезнут „постыдные следы рабства", оставленные в „нашей искалеченной природе" рабским трудом нескольких тысячелетий, когда человеческий род сможет „снять путы со свободного роста его человечности" (стр 356 .

На этом мы закончим наш разбор книги Меринга, хотя мы далеко не исчерпали всего богатства его мысли. В заключение несколько слов о предисловии Э. Цобеля. Оно составлено умно и толково, но заключает, на наш взгляд, несколько неверных положений. Одно из них мы отметили выше. Другое находится в самом начале его статьи. „В марксистской литературе Меринг является единственным (курсив мой. *А. Л.*) выдающимся эстетом и литературным критиком на протяжении от 1891 года до мировой войны". Это неверно. Достаточно назвать Плеханова. „Другие марксисты,— продолжает Цобель, — так же писали об эстетических, историко-литературных вопросах, но писали только случайно, рассматривая их в большинстве случаев с литературно-политической точки зрения (курсив мой. *А. Л.*)". Опять неверно. Опять можно назвать Плеханова, да и не его одного.

Перевод книги сделан тяжеловато.

А. Лежнев.

А. В. Луначарский. Искусство и революция. Изд. „Новая Москва". 1924 г. Стр. 230.

А. В. Луначарский. Литературные силуэты. Госиздат. Москва — Ленинград 1925 г. Стр. 198.

Печать некоторой конспективности лежит на обеих этих книгах, которые почти целиком созданы на-ходу, в процессе государственной работы тов. Луначарского, за семь лет революции неутомимо выступавшего на многих съездах и собраниях по всем насущным вопросам нашего культурного фронта, также и за письменным своим столом намечавшего и разрешавшего, в порядке боевой поспешности, основные вопросы культурных нужд России.

Тем не менее обе эти книги являются ценнейшим вкладом в нашу литературу, крайне бедную глубоким марксистским анализом вопросов искусства, идущим бок-о-бок с подлинной любовью к культуре.

Книга первая по преимуществу книга теоретическая, экстрактная сущность которой может быть приведена к следующим положениям, высказанным тов. Луначарским:

„Мы до сих пор не имеем установившегося, ортодоксального взгляда на искусство. Только путем дальнейших дискуссий установится и социология и теория искусства".

Значит ли это, что рядом с марксистским отношением к искусству возможны и другие, более ясные взгляды на него? Нет. Иного кроме глубоко реального и мужественного марксистского подхода к явлениям искусства тов. Луначарский не мыслит. Но коль скоро метод этот сравнительно новый, не следует, в угоду своему ограниченному теоретическому знанию, упростить сложную и прекрасную сущность искусства, взять под подозрение Аполлона Бельведерского или хрупкий вальс Шопена лишь потому, что пока, скажем, не найдена непреложная связь этих продуктов искусства с эпохой и классом, их породившими, и не выяснена степень их нужности современной России. Некоторые из вульгаризаторов современности говорят, что искусство должно быть производством исключительно полезных вещей. Не отрицая этого частично, имея в виду инженерию, тов. Луначарский отбрасывает такой ханжествующий утилитаризм от искусства вообще:

„...нелепо требовать какой-то машинообразной конструкции от гимна или от статуи, так же тупо спрашивать, что, собственно, значит какой-нибудь орнамент на глиняном блюде".

„В первом искусстве (инженерии. *Ф. Ж.*) все должно значить, все имеет свою огромную социально-психологическую ценность. Во втором искусстве, художественно-промышленном, ни элементы, ни комбинации его ничего не значат, а просто дают радость, как сахар сладок и ничего не значит".

И тут же добавляет тов. Луначарский, что высказанная им мысль относится не только к художественно-промышленному производству, но и к искусству в целом, с которым следует знакомить трудовые массы не по рецептам отщепенцев интеллигенции, являющихся инициаторами „нарочитого варваризма" в отношении к искусству, демагогически бездушно сортируя его на ценности, полезные и вредные для народа

„Я совершенно убежден, — говорит автор, — и этому учит меня мой опыт, что вожди, выходящие из самих масс, никогда не проявляют этого высокомерного опекун-

-ского к ним отношения. Все это — отрыжка культуртрегерства, только навыворот... Нет! Искусство прошлого целиком должно принадлежать рабочим и крестьянам"...

Отсюда не следует, что ко всем произведениям искусства должно быть установлено одинаковое отношение. Осторожный и чуткий отбор неизбежен, но:

„...нет такого произведения истинного искусства, т.-е. действительно отражавшего в соответственной форме те или другие человеческие переживания, которое могло бы быть выброшено из человеческой памяти и должно было бы рассматриваться, как запретное для трудового человека, наследника старой культуры".

Тов. Луначарский твердо верит, что в глубине трудовых масс таятся большие творческие способности, которые со временем дадут значительные художественные ценности, некоторые успехи уже на-лицо, но если все художественные запросы рабочих и крестьян мы захотели бы удовлетворить одной лишь пролетарской продукцией, мы попали бы в тупик:

„...наличность уже выявленного социалистического искусства пока ничтожна, и художественное просвещение масс поставлено было бы весьма непрочно, если бы мы свели все искусство к этому минимуму"...

Но в целом все же мы должны ориентироваться на того художника, который глубоко проникнут нашим мировоззрением, который радостно, а не пугливо ощущает нашу революционную эпоху:

„Опереться можно лишь на таких художников, у которых есть, что сказать, которые могли бы создать искусство от сердца".

Очевидно, этой опорой не могут быть художники ультра-левого фланга нашего искусства, которые „в деле деформации занимаемого ими у природы материала зашли так далеко, что пролетарии и крестьяне, которые вместе с величайшими художниками всех времен требуют прежде всего ясности в искусстве, — только руками разводят перед этим продуктом западно-европейского позднего вечера культуры".

Не пригодны также для этой цели и беспредметники - формалисты, которые мыслят искусство лишь как цепь „приемов" без наполнения — пусть и прекрасного — хрусталя формы живительной влагой глубокого и стоющего содержания:

„Кто не является своеобразным мыслителем в образах, кто не является человеком ярких переживаний, выливаемых в образах, тот — не художник. Он может быть только мастером в том смысле, что творит некоторые комбинации, которыми смогут воспользоваться другие художники".

И вывод отсюда таков, что художником этим, этой надежной опорой для широких трудовых масс может быть лишь художник-реалист, который сумеет сочетать значительное содержание с не менее значительной формой.

Пусть не боятся эстеты потери своей индивидуальности в эпоху грандиозных революционных масштабов.

С одной стороны:

„Полная свобода самоопределения за художественной личностью, за художественным коллективом вот принципы, которые единственно могут отвечать тем перспективам, которые открываются здесь перед искусством".

А с другой стороны:

„Социалистическое общество может дать бесконечно бо́льшее внутреннее содержание жизни художнику, чем то общество, в котором он жил до сих пор. Относительно всего, что имеет характер широкий, монументальный, стихийный, вечный, грандиозный, — тут не может быть никакого спора".

Остаются, следовательно, не оговоренными шопотные мысли и настроения личности, как таковой. Но автор, не оспаривая права художника вполне автономно воздыхать в те моменты, когда он замкнут в себе, полагает, что социалистические перспективы устроения жизни все реже и реже будут отвлекать художника от общих задач, радостно им ощутимых, в маленький мирок индивидуализма.

Красноречивым подтверждением широких взглядов на искусство тов. Луначарского является его вторая книга — „Литературные силуэты", в которую вошли статьи и речи автора о Радищеве, Герцене, Пушкине, Некрасове, Толстом, Островском, Горьком, Чехове и Брюсове.

О всех этих писателях и поэтах мы имеем немало историко-литературных работ, но с точки зрения живой современности (исключается, конечно, здравствующий

и работающий до сих пор Максим Горький) о них говорится почти впервые:

„Мы в России должны пересмотреть наше культурное достояние под углом зрения интересов пролетариата, широко понимаемых".

И переоценка эта в отношении упомянутых художников сделана так блестяще широко, что под нею с готовностью подпишется и подлинный марксист, и подлинный ценитель культурных ценностей страны.

Мы не имеем, к сожалению, возможности в данное время подробно остановиться на разборе „Силуэтов", которые так же, как и „Искусство и революция", заслуживают со стороны читателя самого пристального и глубокого внимания.

Федор Жиц.

К. Талес. Парижская Коммуна 1871 года. Перевод с французского. Рабочее издательство „Прибой". Ленинград. 1925 г. Тираж 10.000. Стр. 160.

А. Слуцкий. Парижская Коммуна. Издание Коммунистич. у-та им. Я. М. Свердлова. Москва 1925 г. Тираж 10.000. Стр. 156

В. Мотылев. Парижская Коммуна. (18 марта 1871 г.). 2-е издание. Издательство „Буревестник". Ростов-Дон 1925 г. Тираж 11.500. Стр. 35.

Марксистской литературой о Парижской Коммуне на русском языке мы не бедны. Кроме того, мы располагаем рядом переводных работ, посвященных Коммуне Лиссагарэ, Арну, Дюбрейль, В. Либкнехт и др.). Тем не менее, к 54-й годовщине книжный рынок пополнился значительным количеством изданий на эту тему, при чем одно из них — книга француза Талеса, впервые вышедшая в Париже в 1923 г., удостоилась перевода сразу двумя издательствами („Прибой" и „Пролетарий") и будто бы подготовляется к печати двумя другими издательствами. Поэтому начнем наш небольшой обзор с этой работы, привлекшей столь большое издательское внимание.

Первую главу своей книги (13—37) Талес посвящает характеристике общественных течений и настроений во Франции в период 1830—1871 г.г. Пытаясь нарисовать картину Франции накануне Парижской Коммуны, автор с невероятной калейдоскопической (местами, кинематографической) быстротой мчится по охватываемому им периоду, при чем крупные факты и эпизоды мелькают у него, точно верстовые столбы. Таким образом, у него все сливается, множится и незаметно проскальзывает. По этой причине „Пруссия оказывала настойчивое сопротивление" (16) войне, которой добивалась „императорская дипломатия", Парижская секция Интернационала превращается „в многочисленные секции", „Базельский конгресс призывал... к созданию на развалинах современного строя международного государства рабочих" (17) и т. д. Настоящего же исторического обзора Талес не дает.

Еще большими недостатками характеризуется 2 глава (38—49), половина которой уделена многочисленным, совершенно ненужным деталям из биографии Тьера.

Наибольшего внимания заслуживают 3-я и 4-я главы (50—123). Здесь автор обнаруживает большие фельетонные способности (вся работа написана в духе „хлесткого" фельетона), но вместе с тем и незнание многих фактов из истории рабочего движения. Например, прудонисты Бабик, Пенди, Франкель и др. мечтали „о социальном перевороте... с оружием в виде экономической стачки" (76) и потому чувствовали себя „не совсем ловко в этой революции". Приверженность членов Коммуны — интернационалистов к идеям Прудона, „прудоновский идеал социальной революции" (77) значительно способствовали поражению Коммуны; все члены Комиссии труда и обмена были „революционными социалистами" (10?). Не меньшей „оригинальностью" веет от характеристики, даваемой Талесом самой Коммуне. Эта „тощая Коммуна" (96), „набитая отвлеченными принципами и благоговеющая перед свободой личности" (104), занимавшаяся „безответственной словесной трескотней" (84), то и делала, что подражала всем, „подражала усиленно и с каким-то суеверием..., с чрезвычайной энергией воскрешала покойников" (85) и в этом увлечении дошла даже до „подражания наполеоновскому правительству" (97), до „старания восстановить механизм императорской полиции" (105).

Социальные мероприятия Коммуны, по Талесу, были вызваны требованиями „традиций парижской диктатуры" (97); „Комиссия общественной безопасности не скупилась на аресты" (131); „в толпе (коммунаров. *И. Б.*)... до крайности клокочет жажда крови" (134) и т. д., и т. п. — вот „блестки" неправдоподобной истории Парижской Коммуны, преподносимой Талесом. Мы обрываем на этом нашу характеристику рецензируемой книги, полагая, что читателю картина ясна. О „заключении" Талеса, совершенно игнорирующего блестящий анализ Коммуны, данный Марксом и глубоко развитый В. И. Лениным, вряд ли следует говорить, ибо и в этой части работы автор продолжает свой неверный, немарксистский образ Парижской Коммуны. Дальнейшая рекомендация книги Талеса вытекает из всего сказанного выше.

Книга А. Слуцкого „Парижская Коммуна" является, действительно, марксистской работой. Основная цель ее — дать анализ положительных и отрицательных сторон Коммуны, изучение которых, по правильному замечанию автора, дало бы мировому пролетариату наших дней возможность „почерпнуть там новое оружие в своей борьбе, чтобы лучше узреть путь к своей окончательной победе" (5), А. Слуцким безусловно достигнута.

Первые две главы (6—54) посвящены характеристике рабочего движения Франции накануне Парижской Коммуны и событий, предшествовавших провозглашению ее. Эти главы по своему содержанию являются своеобразным введением, на основе которого автор в дальнейшем развертывает свой критический анализ деятельности и существа Коммуны, которому уделены 4, 5 и 6 главы рецензируемой книги. Наибольшего внимания, однако, заслуживают последние две главы 8 — „Уроки Коммуны" и „II Интернационал" и 9 — „В. И. Ленин и Парижская Коммуна". Совершенно прав автор, подчеркивая, что д. я Второго Интернационала Коммуна была отрицательной формой борьбы рабочего класса, порождением „заговорщическо-революционных методов бланкизма", совершенно несовместимых с „тактикой и стратегией" пролетариата. В эпоху „бернштейнианства", углубленной ревизии революционной теории" Маркса, тщательного обтачивания „острых" углов классовой борьбы, в эпоху мирного, органического характера этой борьбы, когда, по выражению тов. Слуцкого, „рабочий класс стал жить на два этажа" (118), с верхами в первом и бесконечно эксплоатируемыми пролетариями в подвальном этаже, в эту эпоху заветы Коммуны оказались совершенно забытыми, как была забыта вся теория революционного марксизма. Суммируя взгляды вождей II Интернационала, обобщая их воедино, автор дает интереснейшую главу, заслуживающую особого внимания читателя. То же самое следует сказать и о 9 главе, в которой даны непревзойденные характеристики В. И. Ленина роли и исторического значения Парижской Коммуны. Удачно построенная, с большим числом цитат из статей Ленина за период 1905 — 1922 г.г., она завершает рецензируемую книгу.

Несколько фактических замечаний по поводу этой работы: фраза „я больше боюсь восстания, вызванного недостатком хлеба, чем битвы против 200.000 человек" (11) принадлежит Наполеону I, а не Наполеону III, как сообщает автор; Паскаль Груссе, никогда не был бланкистом (89), точно так же, как в Коммуне не было „уполномоченного по внутренним делам" (93). Эти замечания, однако, нисколько не умаляют больших достоинств рецензируемой книги.

Брошюра В. Мотылева является, собственно говоря, статьей, напечатанной в 1922 г. в „Спутнике Коммуниста". Назначение ее должно быть признано весьма ограниченным: небольшое агит-пособие для ознакомления с отдельными моментами Парижской Коммуны. Но, и в таком виде, она вызывает несколько существенных возражений. Вряд ли можно удовлетворить даже нетребовательного читателя только сообщением, что прудонисты представляли собой „разновидность мирных анархистов" (7). Это — очень слабое, ничего не говорящее определение. Не соответствует действительности сообщение, что „некоторые группы Центрального Комитета Национальной гвардии... организовали три раз — 8 и 31 октября и 22 января — попытки свержения правительства для захвата власти" (13). Эти выступления были делом ре-

волюционных клубов Парижа во главе с „Кордери". Декрет Коммуны о пенсиях законным и незаконным женам убитых коммунаров, отличался, — по мнению автора, — большим пролетарским радикализмом" (24), точно также, как „в правительственной деятельности Коммуны есть несколько ярких следов пролетарского происхождения и характера революции" (24). Если под правительственной деятельностью Коммуны следует понимать ее политическую деятельность, то вышеприведенная оценка противоречит давно установившимся марксистским взглядам на роль и значение Коммуны.

Отсутствует характеристика таких моментов, как отношение Коммуны к государству и государственной машине, нет никаких указаний на экономическое положение Франции накануне Коммуны, равно как абсолютно не выявлены причины франко-прусской войны, явившейся непосредственным толчком к революции 18 марта.

И. Браславский.

А. Вилла. Религия в свете науки. Перевод с итальянского Анны Гольдфарб под ред. и со вступит. статьей Герм. Сандомирского. Издание 2-е, исправленное. Госиздат. М.—Л. 1925. Стр. 204.

Автор начинает с попытки анализа религиозного явления, при чем после очень неубедительного очерка развития религиозной мысли выдвигает утверждение о существовании религиозного чувства у животных и останавливается на учении о бессмертии души. Дальнейшее содержание книги А. Вилла состоит в описании некоторых, довольно случайно выбранных религиозных заблуждений — идолопоклонства, священной проституции, аскетизма, теофагии (пожирания богов), татуировки, принесения в жертву волос, магии и религиозной морали. Последняя глава — „Победа науки над религией".

В работе молодого итальянского автора имеется ряд правильных, правда, общеизвестных положений и неплохих описаний отдельных религиозных явлений. Более удачны страницы посвященные характеристике и выявлению истинной природы и подоплеки христианских догматов и ритуалов. Значительно менее удовлетворительна эта работа в части, касающейся низших форм религиозных представлений и культов, где автор весьма поверхностно аргументирует и описывает, пользуясь преимущественно плохим и часто сумбурным набором фактов и утверждений.

В особенности ненаучно использован этнографический материал, ряд примеров совершенно несистематически высыпается, как из мешка: в этой манере автор отстал от современных этнологических методов лет на сорок. К тому же приводимый автором этнографический материал взят, очевидно, не из первоисточников, а из вторых или третьих рук, устаревших компиляций. Не использована ни одна из новых этнографических работ, лишь случайно упоминаются наиболее компетентные, хотя бы в подборе материала, Эндрю Лэнг и Фрэзер. Незнакома, очевидно, автору и капитальная „Энциклопедия религии и этики" Hastings'а, которая могла бы дать автору богатейший, во всяком случае систематизированный материал вместо случайного набора цитат и ссылок на миссионеров и старинных путешественников. Малоосведомленность и неразборчивость автора в выборе этнографического материала приводит его к ряду нелепых утверждений, как, например, общему заявлению, что у негров Африки людоедство „является главным обрядом их религии".

Но самый существенный недостаток всей книги составляет отсутствие вообще какого бы то ни было серьезного научного метода. В частности, автор совершенно не дает ни генетической, ни эволюционной трактовки религиозных явлений, не показывает ни происхождения отдельных догматов и культов, ни их развития в содержании и форме, наконец, только мимоходом намечает, как примитивные, образовавшиеся на низших ступенях развития религиозной мысли, идеи и культы вошли в состав или, вернее, преобразовались в догматы и ритуалы современных господствующих и воинствующих религий. А это последнее, — конечно, самое важное для той цели, которую, по заявлению редактора перевода, ставит себе издание, — служить пособием и руководством для антирелигиозной пропаганды.

Останавливаться на ряде спорных или неудачно освещенных вопросов, затраги-

ваемых настоящей работой, значило бы выйти из пределов полагающегося рецензии размера. Нельзя только оставить без решительного возражения ответа автора на поставленный им, как он выражается, „научный вопрос о биологическом и патологическом (?) происхождении религиозного чувства в царстве животных". В таком вопросе, во всяком случае, нельзя основываться на всяческих анекдотах и цитатах, заимствованных из самых разнообразных источников, и прибегать к авторитету не только Мих. Бакунина, но даже совершенно несерьезного Романеса, при наличии игнорируемой автором новейшей громадной и замечательной по своим достоинствам литературы по зоопсихологии. Нельзя утверждать существование религиозного чувства у животных, аргументируя такой, например, ссылкой: „В 1866 г. в газете сообщалось о самоубийстве одной собаки, которая сознательно лишила себя жизни, благодаря (??) плохому с ней обращению".

Весьма неприятной чертой автора является обилие безвкусно-патетических, не свободных и от пошлости, отступлений. Зачем понадобилось автору предпослать описанию обычая принесения в жертву волос такое излияние (стр. 122):

„Нет большей радости и наслаждения, как прикосновение наших уст к волосам любимого существа: белокурым волосам нашего ребенка или белым, почтенным сединам матери. Красивая шевелюра придает человеку совершенно иной вид... На волосы любимой мы кладем свои сладчайшие и нежные поцелуи. Сон кажется нам прекраснее, если привидится в нем дорогой образ, обрамленный любимой прической; сама жизнь кажется нам ярче и милее, если мы смотрим на нее „сквозь призму" привычной, благоухающей головки"...

Особенно безвкусен, к сожалению, стиль главы, посвященной науке. Чего стоит, например, следующая тирада о пользе наркоза, над которой потрудились и автор и переводчик (стр. 199):

„Та физическая боль, которая вырывала дикие крики у страдающего под ножом хирурга больного; боль, от которой извивается, как змея, несчастное существо, когда холодное лезвее врача режет на куски его истекающее кровью тело, — эта боль, бывшая одним из позорнейших фактов человеческого невежества, больше не существует. Ужасный враг побежден наукой. Несколько капель бесцветной жидкости, прозрачной и быстротекущей действует с чудодейственной и страшной силой (по известному выражению Флуранса), достаточно, чтобы мирно усыпить больного, когда его физическое здоровье — и часто все его существование — требует хирургической операции".

Не менее, чем подобные отступления способны только утомить внимание читателя бесконечные цитаты и ссылки в тексте и в примечаниях на различных, преимущественно мало известных или незнакомых русскому читателю, авторов, в частности, итальянских, если это даже „мудрый профессор Маркезини".

Засоряют разбираемую книгу и неудачные ссылки на этнографические источники. „Дж. Фогель, — пишет, например, автор,— в книге „Путешествие по Восточной Индии" говорит так: „Готтентоты ничего не знали о боге" и т. д. Почему сведения о готтентотах, обитающих, как известно, в Южной Африке, заимствуются из сочинения о Вост. Индии совершенно неизвестного, кстати сказать, Дж. Фогеля? Что говорят такие этногеографические наименования, как „туземцы Гайона", „конды из Ориса", „туземцы Гоа" и проч. Уже не без содействия переводчика наплодились доселе неизвестные этнографии племена — различные „сандеи", „маангияне", „воловенкан", „амголисы" и т. д. Правда, читатель наш не искушен в этнографических познаниях, но засорять его память этими несуществующими именами не следует.

В общем, книга Вилла оставляет неприятное и досадное впечатление. Указанные недостатки ее, да еще и обилие иностранных слов делают ее и ненаучной, и непопулярной.

Перевод в целом исполнен и отредактирован хорошо. Очень хороша краткая вступительная статья Герм. Сандомирского: „Особенности антирелигиозной пропаганды".

Появление книги Вилла вторым изданием, как правильно заключает редакция, можно объяснить успехами антирелигиозной пропаганды в СССР. Однако это нельзя все-таки считать „успехом" книги, а следует приписать только большой потребности в книгах, дающих научное разоблачение

религии. Это последнее обстоятельство заставляет нас не согласиться с точкой зрения редактора, которому видны были недостатки книги А. Вилла. „При огромном недостатке руководств по антирелигиозной пропаганде не приходится быть слишком разборчивым“, говорит Г. Сандомирский. На наш взгляд, именно столь большой спрос со стороны читателей на антирелигиозную литературу должен был заставить предъявить больше требований к книге, которой уже по заглавию обеспечено широкое распространение. Тем более, что, как подчеркивает редактор, антирелигиозная пропаганда — задача сложная и наиболее ответственная.

М. Косвен.

Редакционная коллегия: А. Воронский.
В. Сорин.
Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Маросейка, Б. Успенский пер., 5, кв. 36. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ.

За рубежом

От земли и городов

Литературные края

Библиография

Объявления